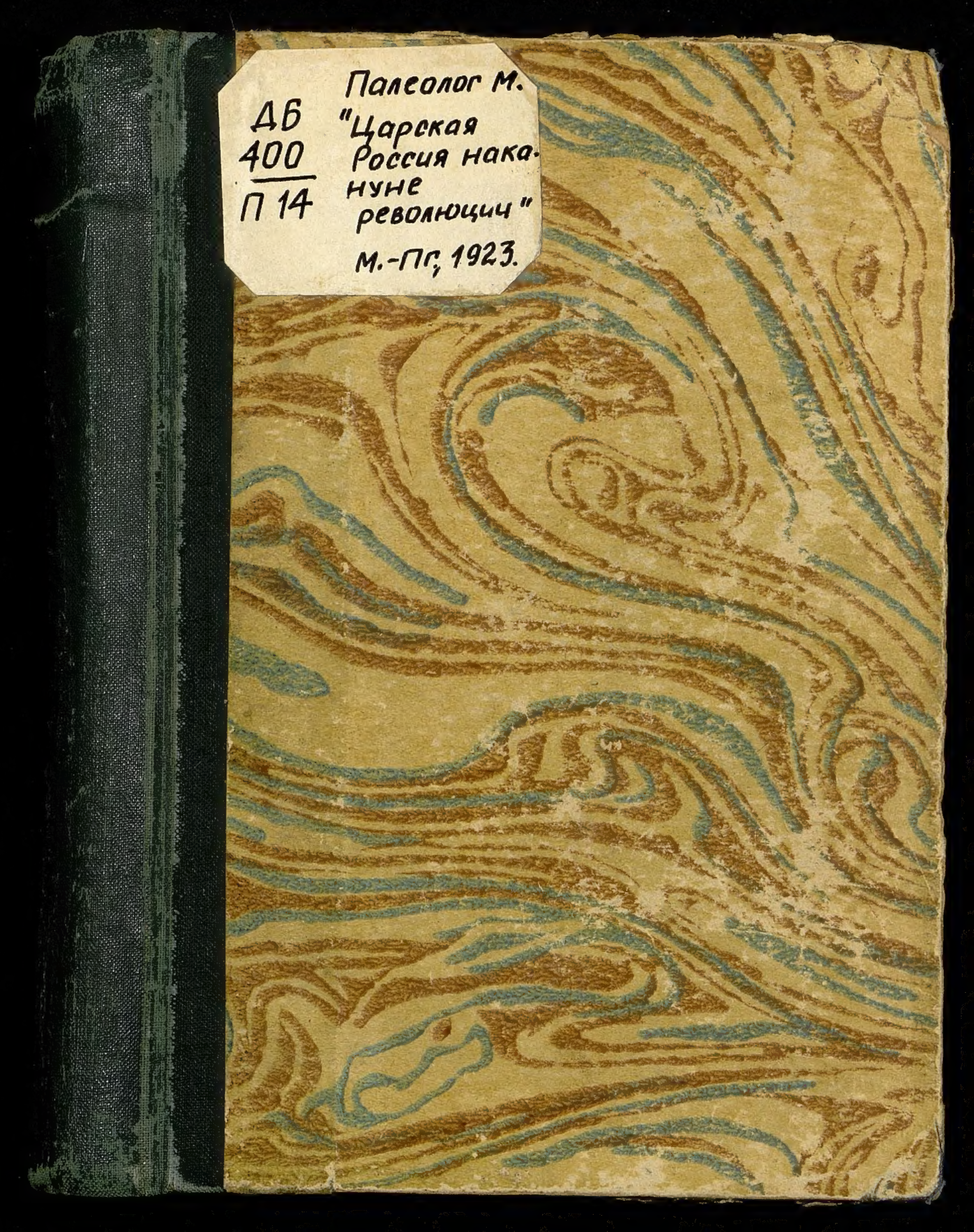
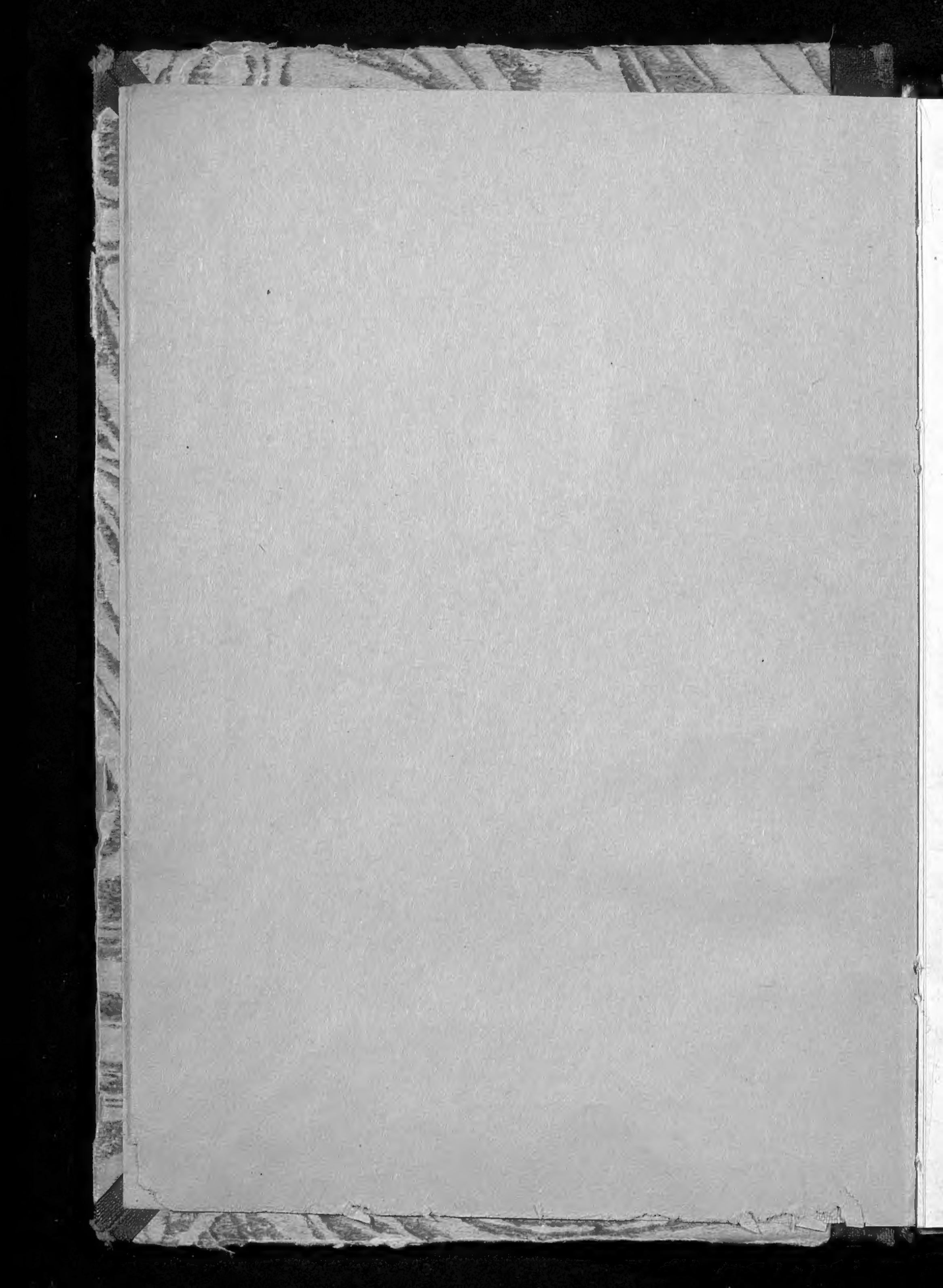
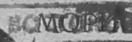

ДБ
400
П 14
Палеолог М.
"Царская
Россия нака-
нуне
революции"
М.-Пг, 1923.




МОРИС ПАЛЕОЛОГ
Бывший французский посол

# ЦАРСКАЯ РОССИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
Д. ПРОТОПОПОВА и Ф. ГЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
М. ПАВЛОВИЧА






ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1923 г. — ПЕТРОГРАД

Петрооблит № 3127. Гиз № 4742. Тираж 16.500.

Военная Типография Штаба Р.-К. К. А. (пл. Урицкого, 10).

## I. Отступление сербской армии.

*Суббота, 1 января 1916 г.*

Сербский посол Спалайкович был у меня сегодня; у него измученное лицо; глаза лихорадочно блестят и полны слез. Совершенно обессиленный, он падает в кресло, которое я ему предлагаю.

— Вы знаете,—говорит он,—чем кончилось наше отступление? Вы слышали подробности? Это ведь было сплошное мученичество. Я получил сегодня утром известия о трагическом отступлении сербской армии через снежные Албанские горы; армия шла без пищи, без крова, под снежными бурями, измученная страданиями, изнуренная усталостью, усеивая путь трупами. И когда, наконец, она достигла Сан-Джиованни ди-Медуа на Адриатическом море, то здесь ее настигли голод и тиф.

По карте, которую я развертываю перед ним, он показывает мне путь, пройденный этой гибельной „геджрой“.

— Посмотрите, мы снова прошли все этапы нашей истории... Отступление началось от Белграда, где Петр Карагеоргиевич заставил турок признать его владыкой Сербии в 1806 г. Затем от Крагуеваца, резиденции князя Милоша Обреновича, в первые годы сербской

самостоятельности; потом Ниш, этот оплот христианства при великом короле Стефане, который в XII веке освободил Сербию от византийского владычества; дальше Кружевац, столица царя-мученика Лазаря Бранковича, обезглавленного в 1389 г. на поле битвы под Коссовым, на глазах у умиравшего султана Мурата; затем Краниево, где в XIII в. св. Саввой была основана автокефальная сербская церковь; потом Рашка, колыбель сербского народа и древняя вотчина Немани; дальше Искюб, где знаменитый Душан венчался в 1346 г. „царем и самодержцем сербов, греков, айданцев и болгар"; вот Ипек, патриархат которого в долгие годы турецкого ига был прибежищем национального самосознания; одним словом, все святые места сербского патриотизма.

Спалайкович прибавляет:

— Подумайте, что это было за отступление; не забудьте тысячи беженцев, следовавших за армией. Подумайте, что̀ это было!

И голосом, прерывающимся от волнения, он рассказывает мне, как престарелый король Петр, больной при смерти, не захотел оставить своих войск и следовал за ними на повозке, запряженной быками; старика воеводу Путника, тоже больного при смерти, несли на носилках; за ними шли длинные ряды монахов, несших на руках церковные святыни; они шли день и ночь по снегу, со свечами в руках и с пением молитв.

— Но ведь это эпопея,—говорю я—это из средневековых chansons de geste.

*Вторник, 4 января.*

Праздник георгиевских кавалеров дал императору повод еще раз подтвердить свою решимость продолжать войну; он обратился к армии с воззванием, которое оканчивается так:

„Будьте твердо уверены, что, как я уже сказал в начале войны, я не заключу мира, пока последний враг не будет изгнан из нашей земли. Я заключу мир лишь в согласии с союзниками, с которыми мы связаны не только договором, но и узами истинной дружбы и кровного родства. Да хранит вас бог“.

Это самый лучший ответ на предложение о мире со стороны Германии, переданное через посредничество герцога Гессенского и графа Эйленбурга.

*Четверг, 6 января.*

По словам моего информатора, у которого есть связи с охранным отделением, вожди социалистических групп тайно собрались недели две тому назад в Петрограде (раньше они собирались в июле прошлого года); на этом совещании председательствовал трудовик Керенский. Главным вопросом являлось обсуждение программы революционных действий, которую „максималист“ Ленин, эмигрант, живущий в Швейцарии, недавно защищал на социалистическом интернациональном конгрессе в Цимервальде.

Прения, открытые Керенским, повидимому, привели к единогласному принятию следующих положений: 1) Постоянные неудачи русской армии, беспорядок и нерадивость в управлении, ужасающие легенды об императрице, наконец, скандальное поведение Распутина окончательно уронили царскую власть в глазах

народа. 2) Народ очень против войны, причины и цели которой он более не понимает. Запасные все неохотнее идут на фронт; таким образом, боевое значение армии все слабеет. С другой стороны, экономические затруднения растут с каждым днем. 3) Поэтому очень вероятно, что в ближайшем будущем России придется выйти из союза и заключить сепаратный мир. Тем хуже для союзников. 4) Если мир этот будет заключать царское правительство, то он будет, конечно, миром реакционным и монархическим. А во что бы то ни стало нужно, чтобы мир был демократический, социалистический. Керенский резюмировал, будто бы, прения таким практическим выводом: „Когда наступит последний час войны, мы должны будем свергнуть царизм, взять власть в свои руки и установить социалистическую диктатуру".

*Пятница, 7 января.*

Упорные бои с большими потерями у Чарторыйска, близ Пинских болот. Все атаки русских отбиты.

Дальше к югу, в Западной Галиции, против Черновиц, австрийцы немного ослабели.

Полковник Нарышкин, ад'ютант императора, видящий его ежедневно, говорит мне:

„Его величество очень огорчен поражением сербской армии; он беспрестанно спрашивает известий об агонии этой несчастной армии".

*Суббота, 8 января.*

Благодаря влиянию Распутина и его клики, нравственный авторитет русского духовенства падает с каждым днем.

Одним из недавних событий, особенно оскорбивших чувства верующих, было столкновение между архиепи-

скопом Варнавой и святейшим синодом, имевшее место прошлой осенью по поводу причтения к лику святых архиепископа Иоанна Тобольского.

Еще два года тому назад Варнава был просто невежественный и разгульный монах, но Распутин, с которым они вместе росли в Покровском, вздумал его сделать архиереем. Это назначение, против которого упорно боролся синод, открыло эру крупных церковных скандалов.

Едва достигнув столь высокого сана, Варнава задумал устроить в своей епархии центр для паломников, что было бы полезно для церкви и выгодно для него самого. За чудесами дело не стало бы, а приток богомольцев повлек бы за собой и приток даяний. Распутин сразу почуял, какие блестящие результаты могло бы дать это благочестивое предприятие. Но он решил, что необходимо обрести мощи какого-нибудь нового святого; еще лучше было бы—мощи специально канонизированного святого; он заметил, что новые святые особенно любят проявлять свои чудотворные силы, а старые и прославленные уже не находят в этом никакого удовольствия. Такие новые мощи как раз оказались под рукой: это был архиепископ Иоанн Максимович, в бозе почивший в Тобольске в 1715 г. Варнава тотчас начал дело о сопричтении его к лику святых; но синод, зная подкладку этого предприятия, приказал отсрочить исполнение этого ходатайства. Варнаву это не остановило, и он, собственной властью, нарушая все церковные правила, об'явил о канонизации архиепископа Иоанна; затем он испросил непосредственно согласие государя, что является необходимым при всякой канонизации. Император снова уступил императрице и Распутину:

он собственноручно подписал телеграмму Варнаве с высочайшим согласием.

В святейшем синоде клика Распутина ликовала. Но большинство членов синода решили не допускать такого грубого нарушения церковных правил. Обер-прокурор Самарин, человек честный и смелый, который, по настоянию московского дворянства, сменил презренного Саблера, поддерживал всеми силами протестующих членов синода. Не обращаясь к императору, он вызвал из Тобольска Варнаву и предписал ему отменить свое постановление. Архиепископ дерзко и решительно отказался это сделать: „Все, что скажет или будет думать святейший синод, мне совершенно безразлично. Мне достаточно телеграммы с согласием императора". Тогда, по инициативе Самарина, синод постановил отрешить Варнаву от должности и заточить в монастырь, как нарушителя церковных правил. Но на это нужно было высочайшее утверждение. Самарин твердо решил убедить императора; он пустил в ход все свое красноречие, всю энергию, всю преданность. Николай II выслушал его с недовольным видом и сказал: „Телеграмма моя архиепископу действительно была, быть может, несовсем корректна. Но что сделано, то сделано. И я сумею заставить всякого уважать мою волю".

Через неделю обер-прокурора Самарина заменил низкопоклонный и ничтожный, но близкий к Распутину Александр Волжин. Вскоре председатель синода, митрополит Владимир, который во время конфликта держался очень достойно, должен был уступить высшую духовную должность в Империи креатуре Распутина, архиепископу владикавказскому Питириму.

*Воскресенье, 9 января.*

Одним из признаков того, что постоянно занимает мысль русских людей, является страсть их литераторов к описаниям жизни в тюрьме, на каторге, в ссылке. Тема эта встречается у всех писателей; каждый считает себя обязанным написать что-нибудь, касающееся тюрьмы или сибирской каторги.

Начало положил Достоевский, излагая свои личные воспоминания в книге, которая, по моему, является лучшим его произведением, в „Записках из Мертвого Дома". Толстой в „Воскресении" подробно рисует пред нами с своим беспощадным реализмом тюрьму и ссылку с материальной, административной и нравственной стороны; Короленко, Горький, Чехов, Вересаев, Дымов и др. также делают свои вклады в этот музей ужасов; картины развертываются на фоне Петропавловской крепости, Шлиссельбурга, гиблых мест Туруханска и Якутска, холодных берегов Сахалина. Вероятно, многие русские читатели этих рассказов думают про себя: „Может быть, и я туда когда-нибудь попаду".

*Вторник, 11 января.*

Несмотря на сильные морозы и трудность сообщений, русские войска в Галиции полны инициативы и под'ема.

Князь Станислав Радзивилл, недавно приехавший из тех мест, рассказывал мне, что взятый на той неделе в плен немецкий офицер, услышав, что он говорит по-польски, шепнул ему на ухо тоже по-польски:

„Немцам пришел конец. Держитесь! Да здравствует Польша"!

*Среда, 12 января.*

Английские и французские войска благополучно окончили эвакуацию галлипольского полуострова.

Неудача полная, но катастрофы избежали.

Турки отныне направят свои удары на Месопотамию, Армению и Македонию.

*Четверг, 13 января.*

Следуя своим принципам и своему строю, царизм вынужден быть безгрешным, никогда не ошибающимся и совершенным. Никакому другому правительству не нужны в такой степени интеллигентность, честность, мудрость, дух порядка, предвидение, талант; дело в том, что вне царского строя, т. е. вне его административной олигархии, ничего нет: ни контролирующего механизма, ни автономных ячеек, ни прочно установленных партий, ни социальных группировок, никакой легальной или бытовой организации общественной воли.

Поэтому если при этом строе случается ошибка, то ее замечают слишком поздно и некому ее исправить.

*Пятница, 14 января.*

Император, по случаю русского Нового Года, обратился к армии со следующими словами:

„Доблестные воины мои, шлю вам накануне 1916 года мои поздравления. Сердцем и помышлениями я с вами, в боях и в окопах... Помните: наша возлюбленная Россия не может утвердить своей независимости и своих прав без решительной победы над врагом. Проникнитесь мыслью, что не может быть мира без победы. Каких бы усилий и жертв эта победа нам ни стоила, мы должны ее добыть нашей родине“.

*Суббота, 15 января.*

Третьего дня австрийцы заняли Цетинье: черногорцы очень любезно сдали им этот город.

Генерал Б., сообщивший мне эту новость, заметил: „Вот отступление, от которого пахнет изменой“.

*Воскресенье, 16 января.*

Оставление Галлиполи английскими и французскими войсками оказывает подавляющее действие на русское общественное мнение. Со всех сторон я слышу одно: „Ну, теперь вопрос решен—нам никогда не видать Константинополя... Из-за чего же дальше воевать“?...

*Среда, 19 января.*

Дело снабжения русской армии ружьями, благодаря настойчивости генерала Алексеева, заметно улучшается. Вот цифры ружейных запасов:

1. Ружей в деле, на фронтах—1.200.000;
2. Ружей, разгруженных в Архангельске,—155.700;
3. Ружей, разгруженных в Александровске,—530.000;
4. Ружей, готовых к отправке из Англии,—113.100.

Доставка в Белом море производится при помощи ледоколов, с громадными трудностями. В районе Александровска организован на широкую ногу транспорт на оленях. А от Мурманска до Петрозаводска не меньше 1000 килом. пути.

До конца апреля ожидают прибытия 850.000 ружей, как максимального количества.

К несчастью, русская армия в Галиции понесла недавно ужасные потери: 60.000 человек. Под одним Чарторыйском 11.500 чел., ослепленные снежной вьюгой, были в несколько минут скошены немецкой артиллерией.

*Пятница, 21 января.*

На бессарабском фронте, на северо-восток от Черновиц, русские предприняли новое и упорное наступление, благодаря чему им удалось захватить целый сектор австрийских позиций. Этот результат очень дорого обошелся русским: 70.000 убитых и раненых и 5.000 попавших в плен. К сожалению, русское общественное мнение стало гораздо более чувствительным к потерям, чем к успехам.

*Понедельник, 24 января.*

Постоянные увертки Братиано ставят Румынию в опасное положение. Германские государства уже начинают принимать по отношению к ней угрожающий тон.

Русский посол в Букаресте, Поклевский, стал настаивать, чтобы Братиано открыл свои карты. Тогда Братиано ему ответил: „Я колеблюсь между двумя решениями. Либо тон немецких и австро-венгерских агентов свидетельствует только о дурном настроении духа их правительств, вызванном вопросом о румынской пшенице. Если это так, то мне легко будет дать Германии и Австро-Венгрии какое-нибудь удовлетворение. Либо этот тон есть прелюдия ультиматума, который потребует, например, немедленной демобилизации нашей армии. В таком случае, я надеюсь оставаться хозяином нашего общественного мнения и я отвергну ультиматум“.

„Если вы предвидите последний исход“, ответил Поклевский, „то ваш главный штаб должен был бы немедленно вступить в сношения с нашим главным штабом. Нельзя терять ни одного дня“.

Братиано согласился с этим и сказал: „Скорое прибытие русской армии в устья Дуная нам было бы необходимо, чтобы иметь защиту против нападения болгар на Добруджу“.

Сазонов, передавший эти подробности, попросил ген. Алексеева незамедлительно заняться этим вопросом.

Задняя мысль Братиано совершенно ясна. Он хотел бы возложить на Россию задачу задержки болгар, чтобы быть в состоянии направить весь удар румынской армии на Трансильванию, на этот предмет национальных вожделений Румынии.

Но сможет ли русский главный штаб снова сконцентрировать армию в Бессарабии? Я в этом сомневаюсь, судя по телефонному разговору, который происходил между Сазоновым и военным министром еще до упомянутой беседы Сазонова со мной. Ген. Поливанов не думает, чтобы можно было снять с фронта армию в 150.000 или в 200.000 чел., чтобы перебросить ее в Молдавию; у буковинской и галицийских армий очень трудная задача; нельзя допустить их отвода назад, на 600 километров от их нынешней базы.

*Среда, 25 января.*

Я позвал сегодня к завтраку румынского посланника, Диаманди, и снова указал ему на опасность того двусмысленного образа действия, который так по душе его приятелю Братиано:

— Неужели Братиано не понимает, что его политика может привести к самым печальным неудачам? Имея дело с русскими, нельзя быть достаточно определенными, предвидящими, точными. Вся ваша политика мне кажется чистым безумием, так как я вижу, что вы теперь, несмотря на грозящий ультиматум со

стороны Германии, даже не пытались заключить военной конвенции с русским главным штабом.

— Вы знаете, что Братиано очень не доверяет русским. Он оттягивает вступление с ними в обязательные сношения до последнего часа. Он хочет сам определить наступление этого часа.

— Но разве в нынешнем громадном, стихийном кризисе кто-нибудь вообще может распоряжаться каким-либо часом?.. И неужели вы думаете, что можно, в последнюю минуту, импровизировать план кампании, продовольственную базу, наскоро наладить транспорт?.. Недоверчивое отношение Братиано к русским правильно лишь в одном отношении—русские, действительно, неспособны к организации. Но из этого только тот вывод, что следует возможно заблаговременно выработать практическую программу сотрудничества и втайне подготовлять его осуществление. Куда бы ни двинуть русские войска, в Молдавию или в Добруджу, одна задача их продовольствования является вопросом громадной трудности; на это понадобились бы, может быть, целые месяцы. Не забывайте, что у русских и румынских жел. дорог колеи разные и что их смычка ограничивается веткой на Унгени; линия Кишинев — Рени доходит только до Дунайской дельты. Пока это проблема не будет разрешена, пока не будет установлена линия русско-румынского сотрудничества, до тех пор Румыния будет предоставлена своим силам и будет, я боюсь, открыта для вторжения врага.

Диаманди, довольно смущенный, ответил:

— Да, положение может стать критическим—имея 500.000 чел. войска, мы не можем оборонять сразу линию в 500 километров по Дунаю и линию в 700 километров по Карпатам. Поэтому нам непременно нужно

русское прикрытие со стороны Добруджи, против наступления со стороны болгар.

— Я не знаю, какое решение примет высшее русское командование, но я слышал от ген. Поливанова, что, при нынешнем состоянии железных дорог, продовольствование русской армии, расположенной на юг от Дуная, является, повидимому, невыполнимой задачей.

В течение нескольких дней, немцы ведут усиленные атаки в Двинском районе. Русские им дают хороший отпор и иногда даже имеют успех.

*Среда, 26 января.*

Когда я размышляю о всем, что в русском социальном и политическом строе есть архаического, отсталого, примитивного и себя пережившего, я часто говорю себе: „Такой же была бы и Европа, если бы у нас, в свое время, не было возрождения, реформации и французской революции!...“

*Четверг, 27 января.*

Ген. Алексеев рассмотрел различные способы, которыми Россия располагает для поддержки Румынии. Он пришел, при этом, к следующим выводам:

1. Можно было бы выделить армию в десять дивизий для поддержки Румынии.

2. Расстояния, трудность транспорта, состояние румынских железных дорог—все это препятствует отправке этой армии на Дунай, именно в область, наиболее угрожаемую со стороны болгар—на юг от Бухареста.

3. Эта вспомогательная армия должна бы быть сконцентрирована в Сев. Молдавии, являясь, таким образом, угрозой правому флангу австро-германской

армии. Эту концентрацию можно было бы произвести достаточно быстро.

4. Немедленно можно было бы предпринять наступление в сев.-восточном направлении, в связи с операциями, начатыми на главном фронте.

5. Благодаря этому, румынская армия могла бы напрячь все свои силы для отражения болгарского наступления с юга и для прикрытия границы со стороны Трансильвании.

6. Офицер румынского главного штаба должен быть немедленно командирован в ставку для переговоров об основах военной конвенции.

*Пятница, 28 января.*

Фердинанд Кобургский, царь болгарский, превзошел себя в низости. Qualis artifex (какой лицедей)!

Десять дней тому назад Вильгельм посетил Ниш: Фердинанд устроил там в его честь блестящий завтрак. Конечно, встреча была торжественная и выбор Ниша, „города, где родился Константин Великий“, подчеркивал историческое значение этой встречи. Для меня поэтому неудивительно, что Фердинанд, столь чувствительный к престижу прошлого и к историческим инсценировкам, дал полный выход своему болезненному тщеславию.

Но почему же монарх, который, как я сам от него слышал, так гордился тем, что он внук Людовика-Филиппа, что он прямой потомок Людовика Святого, Генриха IV и Людовика XIV, не смог исполнить, вполне добросовестно и до конца, своего политического и национального долга, не прибегая к оскорблению той страны, откуда он происходит?

Вот начало его тоста:

„Государь,

Сегодняшний день имеет великое историческое значение: двести пятнадцать лет тому назад, Фридрих I, ваш великий предок, властной рукой возложил на свою голову королевскую корону Пруссии. 18 января 1871 г., при вашем прадеде, зародилась новая германская империя. Вильгельм Великий обновил в Версале императорскую германскую славу. Ныне, 18 января 1916 г., его прославленный внук, твердая решимость которого одолела все препятствия, посещает северо-западную часть Балканского полуострова и вступает, стезею побед, в древний римский лагерь Нисса“ и т. д.

Что сказала бы мать Фердинанда, принцесса Клементина, его дядья, Жуанвиль, д'Омаль, Монпансье, если бы они услышали его, вспоминающего, в присутствии германского императора, самое тягостное из всех исторических переживаний Франции, — провозглашение в Версале германской империи,—и упивающегося таким выступлением в то время, как враг занимает французскую землю, а германская армия стоит в 80 верстах от Парижа?!

По части измен и отступничества, Фердинанд меня ничем удивить не может. Поэтому это оскорбление по адресу Франции меня и не поражает. Но меня несколько смущает произнесение им имени Версаля. Я думал, что отсутствие достоинства и совести в нем компенсируются наличностью некоторого художественного вкуса. А никто, как он, вероятно, лучше не испытал всей прелести Версаля. В каждый свой приезд во Францию, он подолгу там жил. Более двадцати раз говорил он со мной о Версале, обнаруживая преклонение столь же интеллигентное, сколь и восторженное, и верное понимание красоты и поэтичности Версаля!

Заботясь, вероятно, о мнении грядущих составителей анналов и эпиграфов, болгарский монарх окончил свой тост латинской фразой в лапидарном стиле:

„Привет тебе, император, цезарь и король, победитель, славой венчанный. Из древнего Наисса (Ниша), тебя приветствуют все народы Востока, тебя, избавителя, угнетенным несущего благоденствие и спасение. Многие лета!“

Раз Фердинанд уже теперь заботится о подготовке материалов для памятника себе и для своей славы, то я не могу скрывать от его биографов некоторых документов, которые проливают яркий свет на его высокие душевные качества. Мы видели, каким рыцарем он выступает, когда ему везет счастье; сейчас увидим, на какую ,высоту бесстрашия, благородства и великодушия он может подыматься в несчастьи.

Дело было летом 1913. Вторая балканская война, вызванная безумным честолюбием Кобургского принца, кончилась страшным поражением. Потеряв все плоды прежних побед, болгарская армия делала чудеса, чтобы спасти, по крайней мере, национальную независимость. Вся энергия нации напрягалась из последних сил в борьбе с катастрофой, столь же губительной, сколь нежданной. Какое же было, в этот грозный и великий час, настроение болгарского царя? Конечно, сердце его билось так же, как сердце его народа, столь же сильно, интенсивно, но ровно... Увы, только не знающий его мог бы это предполагать!

Документы, мною вскользь упомянутые, им подписанные, рисуют Фердинанда, в то время обезумевшего от страха, раздавленного бременем своей ответственности, дрожащего за свою жизнь, перелагающего тяжесть им сделанных ошибок на болгарских государственных

деятелей, на генералов, на дипломатов, на всех тех, кто не были в состоянии постигнуть его великих замыслов: мы видим его, внезапно решающегося на бегство, „тайком укладывающего чемоданы, чтобы скрыться в свои любезные Карпаты“; видим его, изрыгающего весь запас злобы и трусости, имеющейся в его напыщенной и испорченной душе. И в то же время эти отвратительные документы написаны пером художника. Его стиль, агрессивная и оскорбительная буйность его образов напоминают Шекспира и Сан-Симона; но вообще все эти его писания вызывают величайшее отвращение...

Но, кто знает, не будет ли последнее слово, которое будущее произнесет о Фердинанде Кобургском, выражением жалости к нему. Он теперь торжествует. Но каков будет его конец? Вместе с меланхолическим героем шекспировского „Как вам угодно“, я скажу: „Какова-то будет последняя сцена, которая закончит эту странную повесть, столь богатую событиями“?

*Воскресенье, 30 января.*

Армия Николая Николаевича творит чудеса в Сев. Армении. Среди хаоса крутых и обледенелых гор она гонит пред собой турок и быстро приближается к Эрзеруму.

*Понедельник, 31 января.*

Никогда ни в какой стране не была раньше так задавлена свобода слова, как в России; и сейчас дело обстоит так же. За последние 20 лет, правда, немного смягчились суровые полицейские меры по отношению к печати. Но сохранилась традиция беспощадной жестокости по отношению к ораторской трибуне, к до-

кладам и обсуждениям. Со своей точки зрения, русская полиция права: русские несравненно больше поддаются действию живого слова, чем печати. Это потому, что прежде всего русский народ отличается впечатлительностью и легко увлекается образами: русским непременно нужно слышать и видеть тех, кто к ним обращается. Затем $^9/_{10}$ населения не умеет читать. Кроме того, долгие зимние вечера и участие в мирских сходках приучили, в течение веков, русского крестьянина к словесным упражнениям. Пять—семь месяцев в году, смотря по области, в России нельзя работать в поле. Крестьяне отсиживаются долгую зиму в тесных избах и прерывают свою спячку только для того, чтобы бесконечно рассуждать [1]). Мирские сходки, где производят переделы земли и пастбищ, где определяют пользование реками, прудами и т. д., дают крестьянину частые поводы упражняться в словесных выступлениях. Этим об'ясняется громадное значение, которое имели ораторы из крестьян во всех русских аграрных восстаниях. Так было и при Пугачеве, и во время длинного ряда местных бунтов, которые предшествовали освобождению крестьян от крепостной зависимости. В более трагической форме проявилась эта черта во время движений 1905 года. Снова будут иметь место те же явления—это уже потому, что русские сельские массы стремятся сомкнуться с социалистическим и революционным пролетариатом.

---

[1]) А кто зимой извозничает? Кто зимой валит и вывозит деревья? Кто охотится и ловит рыбу? Кто, не разгибаясь, работает в кустарной светелке? Все тот же „мужик".

*Примечание переводчика.*

*Среда, 1 февраля.*

Русских часто упрекают в отсутствии предусмотрительности. Действительно, им постоянно приходится бывать захваченными врасплох последствиями их собственных поступков, запутываться в тупиках, больно ушибаться о жесткую логику событий. И в то же время нельзя сказать про русских, чтобы они были беззаботны относительно будущего; думать о нем—они много думают, но не умеют его предвидеть, потому что они его не видят. Воображение русских так устроено, что оно им никогда отчетливо не рисует самых очертаний. Русский видит впереди только далекие убегающие горизонты, туманные, смутные дали. Понимание реальности в настоящем и грядущем доступно русским лишь при помощи грез. И в этом я вижу последствие климата и географических условий. Разве можно, едучи по степи в снежную погоду, не сбиваться беспрестанно с дороги, когда зги перед собой не видать?

*Четверг, 2 февраля.*

Отставлен по болезни председатель совета министров Горемыкин. Заменен Борисом Владимировичем Штюрмером, членом Гос. Совета, церемониймейстером двора, бывшим ярославским губернатором и прочая, и прочая.

Горемыкин действительно устарел (ему 87 лет), и если у него еще сохранились наблюдательность, критическая способность, осторожность, то у него совсем не хватало воли к управлению и активности. Он, конечно, не мог бы выступать в Гос. Думе, созыв которой близок и которая хотела повести поход именно против Горемыкина за его реакционную политику.

Я, пожалуй, сожалел бы об уходе этого скептического и лукавого старика. В глубине души он, вероятно, не очень-то сочувствовал государственному строю союзников; не нравились ему близкие и продолжительные сношения России с демократическими государствами Запада. Судя по тем тонким вопросам, которые он мне порой задавал,—делая вид, что он их не задает,—я полагаю, что он не преувеличивал ни сил России, ни изнурения наших врагов, ни вероятных плодов победы. Но он не делал практических выводов из своего настроения к Антанте, и я никогда не слышал, чтобы он в чем-либо мешал лойяльной деятельности министра иностранных дел.

Поэтому мне сегодня утром показалось, что Сазонов, не ладивший с Горемыкиным по вопросам внутренней политики, был очень недоволен его отставкой. Банально и чисто-официально похвалив Штюрмера, он подчеркнул русское основное положение, согласно которому руководство внешней политикой поручается министру иностранных дел и только ему. Несколько сухим тоном он так резюмировал свое мнение:

— Министр иностранных дел обязан докладом одному государю; дипломатические вопросы никогда не обсуждаются в совете министров; председателя совета они совершенно не касаются.

Я улыбнулся и спросил его:

— Так зачем же вы заседаете в совете министров?

— Чтобы там высказываться по вопросам компетенции совета, к каковым относятся дела, общие нескольким министерствам, и дела, которые государь специально передает на суждение совета; но к этим вопросам не принадлежат дела военные и дипломатические.

Стараюсь выведать от него более подробные сведения о Штюрмере, но он переводит разговор, показывая мне телеграмму, которую он сегодня утром получил из Букареста.

— Братиано—говорит он,—заявил, что удовлетворен сообщением, которое ему, от имени ген. Алексеева, сделал Поклевский. Братиано видит в этом подходящую основу для начатия переговоров. Но он не согласен на командировку румынского офицера в ставку, боясь, что Германия об этом проведает. Он хочет начать переговоры в Букаресте, с нашим военным аташе. В сущности, Братиано хочет лично вести переговоры. Боюсь только, как бы это не было для него способом затянуть дело!

*Четверг, 3 февраля.*

Вслед за увольнением председателя совета министров Горемыкина, та же участь постигла и министра внутренних дел, А. Н. Хвостова. Обе должности унаследовал Штюрмер.

Отставка Хвостова дело рук Распутина. В течение некоторого времени между этими двумя лицами шла борьба не на живот, а на смерть. По этому поводу по городу ходят самые странные, самые фантастические слухи. Говорят, будто Хвостов хотел убить Гришку через преданного ему агента, Бориса Ржевского; Хвостов при этом действовал в союзе с прежним приятелем Распутина, ставшим затем его злейшим врагом, с монахом Иллиодором, живущим теперь в Христиании. Но директор департамента полиции Белецкий, креатура Распутина, напал на след заговора и донес непосредственно императору. Отсюда внезапная отставка Хвостова.

*Суббота, 5 февраля.*

Три дня всюду собирал сведения о новом председателе совета министров. То, что я узнал, меня не радует.

Штюрмеру 67 лет. Человек он ниже среднего уровня. Ума небольшого; мелочен; души низкой; честности подозрительной; никакого государственного опыта и никакого делового размаха. В то же время с хитрецой и умеет льстить.

Происхождения он немецкого, как видно по фамилии. Он внучатый племянник того барона Штюрмера, который был комиссаром австрийского правительства по наблюдению за Наполеоном на острове св. Елены.

Ни личные качества Штюрмера, ни его прошлая административная карьера, ни его социальное положение не предназначали его для высокой роли, ныне выпавшей ему. Все удивляются этому назначению. Но оно становится понятным, если допустить, что он должен быть лишь чужим орудием; тогда его ничтожество и раболепность окажутся очень кстати. Назначение Штюрмера дело рук камарильи при императрице; за него пред императором хлопотал Распутин, с которым Штюрмер близко сошелся. Недурное будущее все это нам готовит!

*Воскресенье, 6 февраля.*

Полковник Татаринов, военный аташе в Букаресте, завтра уезжает из Петрограда к месту службы.

Совещание с начальником главного штаба и с министром иностранных дел дают ему возможность точно ознакомить румынский главный штаб с мерами, которые Россия может предпринять для помощи Румынии.

Что касается заключения военной конвенции, акта, прежде всего, правительственного, то нужно, чтобы Братиано определенно высказался о готовности вступить в переговоры о конвенции, что ему и предлагал Сазонов.

Но до сих пор румынский посол, этот официальный и естественный выразитель мнений своего правительства, не получал никаких инструкций. На вопрос Сазонова о намерениях Братиано, он должен был ответить:

„Мне о них ровно ничего неизвестно"...

*Понедельник, 7 февраля.*

Штюрмер назначил управляющим своей канцелярией Манасевича-Мануйлова. Назначение скандальное и знаменательное.

Я немного знаком с Мануйловым, что приводит в отчаяние честного Сазонова. Но могу ли я не знаться с главным информатором „Нового Времени", этой самой влиятельной газеты? Но я его знал и до моего назначения посланником. Я с ним виделся около 1900 года в Париже, где он работал как агент охранного отделения, под руководством Рачковского, известного начальника русской полиции во Франции.

Мануйлов—суб'ект интересный. Он еврей по происхождению; ум у него быстрый и изворотливый; он любитель широко пожить, жуир и ценитель художественных вещей; совести у него ни следа. Он в одно время и шпион, и сыщик, и пройдоха, и жулик, и шулер, и подделыватель, и развратник—странная смесь Панурга, Жиль Блаза, Казановы, Робера Макэра и Видока. „А вообще,—милейший человек".

В последнее время он принимал участие в подвигах охранного отделения; у этого прирожденного пирата

есть страсть к приключениям и нет недостатка в мужестве. В январе 1905 г. он, вместе с Гапоном, был одним из главных инициаторов рабочей демонстрации, использованной властями для кровавой расправы на Дворцовой площади. Несколько месяцев спустя, он оказался одним из подготовителей погромов, пронесшихся над еврейскими кварталами Киева, Александровска и Одессы. Он же, как говорят, брался в 1906 г. за организацию убийства Гапона, болтовня которого становилась неудобной для охранного отделения. Сколько, действительно, у этого человека прав на доверие Штюрмера!..

*Вторник, 8 февраля.*

Мануйлов сегодня явился ко мне с визитом. Затянут в прекрасно сшитый сюртук; голова напомажена; осанка внушительная. Лицо этого прохвоста светится ликованием и важностью. Принимаю его со всем почетом, довлеющим его новому званию.

Он говорит со мною о своей новой роли при Штюрмере. Перечисляет свои полномочия, чтобы дать мне почувствовать их значение, которое, и без того, очень велико. Приняв важный вид, он изрекает такой афоризм:

— В самодержавном государстве со 180 миллионами населения, управляющий канцелярией председателя совета министров, и в то же время министра внутренних дел, совершенно естественно является значительной фигурой.

— Совершенно естественно!

Затем он пускается в восторженные похвалы своего начальника.

Штюрмер человек высокого ума: в нем есть качества крупного государственного человека; на сто

голов выше ставлю я его против разных Горемыкиных и Сазоновых; он восстановит традиции Нессельроде и Горчаковых. Будьте уверены, что он оставит имя в истории.

Не желая казаться совсем в дураках, я замечаю:

— Что касается оставления следа в истории, то на это есть, ведь много разных способов.

— Ах! Способ Штюрмера будет хороший... Вы в этом не станете сомневаться, когда ближе познакомитесь с ним. И это будет вскоре, так как Штюрмер с нетерпением хочет вступить в сношения с вашим превосходительством; он надеется, что эти сношения станут совершенно сердечными и тесными. Нужно ли говорить, как этого желаю я?

Окончив эти излияния, он встает. Провожаю его до двери и тут вдруг воскресает предо мною тот Мануйлов, которого я знал раньше. Он останавливается и говорит мне вполголоса:

— Если вам, что нибудь только понадобится, дайте мне знать. У Штюрмера ко мне доверие полное, никогда он ни в чем мне не откажет... Итак, я к вашим услугам!

Долго не забуду выражение его глаз в эту минуту, его взгляда, в то же время и увертливого, и жестокого, и циничного, и хитрого. Я видел пред собою олицетворение всей мерзости охранного отделения.

*Среда, 9 февраля.*

Вот точное изложение таинственных событий, приведших к опале министра внутренних дел Хвостова. Печальный бросают они свет на состояние низов нынешнего режима.

Назначение в октябре 1915 г. Хвостова министром внутренних дел было императору не подсказано Распутиным и Вырубовой, а прямо навязано. В этом деле крупную роль сыграл мошенник высшего полета, некий князь Мих. Андронников; это приспешник старца, его обычный прихвостень, главный исполнитель его поручений. Назначение Хвостова было, таким образом, победой камарильи при императрице.

Но вскоре возгорелся личный конфликт между новым министром и его товарищем, пройдохой Белецким, директором департамента полиции. В этом мире низких интриг, завистливого соревнования, тайной вражды, недоверие бывает взаимным, а вражда—постоянным явлением. Поэтому Хвостов вскоре оказался на ножах со всей шайкой, которая его же провела к власти. Почувствовав, что дело его плохо, он тайно повернул фронт. А так как его честолюбие соткано из цинизма, дерзости и тщеславия, то он сразу решил создать себе громкую славу избавлением России от Распутина.

Он проведал, что Илиодор, из поклонников „старца" ставший его смертельным врагом, живет в изгнании в Христиании, где он написал книгу, полную скандальных разоблачений об его отношениях со двором и с Гришкой. Хвостов решил достать эту рукопись, в которой он полагал найти талисман, при помощи которого можно было бы заставить императора прогнать Распутина и даже, быть может, удалить от себя императрицу. Естественно не доверяя подчиненной ему официальной полиции, он решил послать в Христианию своего личного агента Бориса Ржевского, темного литератора, не раз приговоренного судом. Пока Ржевский готовился к поездке в Норвегию через Финляндию, его жена, в отместку за его жестокое обращение,

донесла Распутину о замысле; „старец“ немедленно обратился к своему другу Белецкому. Это—прирожденный полицейский, очень находчивый и ловкий человек, без всяких правил, руководящийся только служебными соображениями, способный на что угодно, только бы сохранить царское к себе благоволение. Быстрый на решения, он немедленно решил поставить западню своему министру. Сделать это надо было тонко. Белецкий поручил дело одному из своих лучших исполнителей, жандармскому полковнику Тюфяеву, служившему на ст. Белоостров. Ржевский, доехав до этой станции, устремился в буфет. Тюфяев загородил ему дорогу, затем сделал вид, будто Ржевский его толкнул, потерял как будто равновесие и, что есть мочи, наступил Ржевскому на ногу. Тот вскрикнул от боли. Тюфяев притворно принял его крик за дерзость по своему адресу. Два заранее поставленные жандарма схватили Ржевского и повели его в станционное жандармское управление. У него потребовали паспорт; его обыскали; он сперва ссылался на то, что он едет по поручению министра внутренних дел, по делу, известному только министру. Жандармерия делала вид, что ему не верит; его прижали к стенке строгим допросом—как это умеют делать в охранном отделении. Ему небо с овчинку показалось; он перетрусил, но вскоре догадался, чего от него хотят—он признался, что получил от Хвостова поручение организовать, вместе с Илиодором, убийство Распутина. Был составлен протокол его допроса и доставлен директору департамента полиции, который его немедленно представил в Царское Село. На следующий день Хвостов был уволен.

*Четверг, 10 февраля.*

Проезжая около четырех часов по Литейному, я заглянул в антикварную торговлю Соловьева. Я стал рассматривать, в глубине безлюдного магазина, прекрасные французские издания XVIII века. В это время входит стройная дама лет тридцати и садится за столик, на который для нее кладут папку с гравюрами.

Она прелестна. Ее туалет свидетельствует о простом, индивидуальном и утонченном вкусе. Из-под растегнутой шеншиловой шубки видно платье из серебристо-серого шелка, отделанное кружевами. Шапочка светлого меха очень идет к ее пепельным волосам. Выражение лица гордое и чистое; черты прелестны; глаза бархатистые. На шее, при свете зажженной люстры, сверкает ожерелье из чудного жемчуга. С большим вниманием разглядывает она каждую гравюру; иногда она от напряжения мигает и приближает лицо к гравюре. По временам она наклоняется направо, где около нее поставлена табуретка с другой папкой гравюр. Малейшее ее движение отдает медленной, волнистой, нежащей грацией...

Выйдя на улицу, вижу за своим автомобилем другую элегантную машину. Мой выездной, который все знает, спрашивает меня:

— Ваше превосходительство, вы не узнаете эту даму?

— Нет. Кто это?

— Графиня Брасова, супруга его высочества великого князя Михаила Александровича.

Я еще ни разу не встречал ее до войны—она жила за границей, а затем почти всегда в Гатчине.

Ее романические приключения, наделавшие много скандала, свойства довольно заурядного. Ее девичья

фамилия была Шереметевская. Дочь московского адвоката и польки, Наталия Сергеевна вышла в 1902 г. замуж за московского купца Мамонтова. Через три года она с ним развелась и вышла замуж за гвардейского ротмистра Вульферта. Полком синих кирасир, где служил ее новый муж, командовал великий князь Михаил Александрович, брат государя. Она немедленно стала его любовницей, всецело завладев им; с тех пор он стал послушным орудием ее замыслов.

Михаил был человек в высшей степени слабый в смысле воли и ума. Но в то же время он был сама доброта и скромность и очень привязчив. Несколько лет перед тем он увлекся фрейлиной своей сестры, великой княгини Ольги Александровны, г-жей Косиковской, которой он легко вскружил голову обещанием жениться. Но когда он сообщил об этом матери, которой он очень боялся, она подняла шум, упрекала его, делала сцены. Так из этой идиллии ничего и не вышло.

Г-жа Вульферт, особа интеллигентная, ловкая и энергичная, повела дело необычайно искусно. Прежде всего, она развелась с Вульфертом. Потом она родила. Тогда великий князь об'явил о своем решении вступить с ней в брак, несмотря на крайнее недовольство государя. В мае 1913 г. любовники поселились в Берхтесгадене, на границе Верхней Баварии и Тироля. В одно прекрасное утро они выехали в Вену, куда раньше отправился их доверенный. В Вене была православная церковь, устроенная сербским правительством для своих подданных. Настоятель этой церкви за тысячу крон наскоро тайно обвенчал высокую чету.

Извещенный об этом браке, Николай страшно прогневался. Он издал торжественный манифест, лишавший своего брата права условного регентства, которое он

ему даровал по случаю рождения наследника. Кроме того, он учредил над ним, по сенатскому указу, опеку, как это делается над несовершеннолетними или слабоумными. В'езд в Россию ему был воспрещен.

Но пришлось, все-таки, считаться с некоторыми последствиями совершившегося факта. Нужно было, например, придумать фамилию для той, которая отныне стала законной супругой великого князя Михаила. Брак ее был морганатический, и стать особой императорской фамилии, носить имя Романовых—она не могла; поэтому она приняла титул графини Брасовой, по имению, принадлежавшему великому князю; было даже получено высочайшее согласие на титул графа Брасова для ее сына.

Супруги-изгнанники вели самый приятный образ жизни—то в Париже, то в Лондоне, то в Энгадине и в Канн. Сбылось то, чего желала Наталия Сергеевна.

После об'явления войны, им было дозволено вернуться в Россию. Великий князь был назначен командиром казачьей бригады. Он проявил боевое мужество. Но его слабое здоровье скоро расстроилось и ему пришлось оставить полевую службу и получить какие-то неопределенные обязанности по инспекторской части; он жил то в Гатчине, то в Петрограде.

Говорят, что графиня Брасова старается выдвинуть своего супруга в новой роли. Снедаемая честолюбием, ловкая, совершенно беспринципная, она теперь ударилась в либерализм. Ее салон, хотя и замкнутый, часто раскрывает двери перед левыми депутатами. В придворных кругах ее уже обвиняют в измене царизму, а она очень рада этим слухам, создающим ей определенную репутацию и популярность. Она все больше

эмансипируется; она говорит вещи, за которые другой отведал бы лет двадцать Сибири...

*Воскресенье, 13 февраля.*

Распутинская клика в синоде ликует в виду растущего расположения императрицы к Штюрмеру и доверия, оказываемого ему Николаем. Митрополит Питирим и архиереи Варнава и Исидор уже чувствуют себя главами церковной иерархии; они говорят о предстоящей радикальной чистке высшего духовенства; это означает изгнание всех игумнов и архимандритов, которые еще не преклонились перед покровским эротоманом-мистиком, и считают его антихристом. Несколько дней, как по рукам ходят списки расстригаемых и увольняемых, и даже списки намоченных к ссылке в те дальние сибирские монастыри, откуда нет возврата.

Ликуют и в кругах „церковных матушек"—у графини И... и г-жи Г...

Отставной министр Кривошеин говорил мне вчера с отчаянием и с отвращением: „Делаются и готовятся вещи отвратительные. Никогда не падал синод так низко... Если кто-нибудь хотел бы уничтожить в народе всякое уважение к религии, всякую веру, он лучше не мог бы сделать... Что вскоре останется от православной церкви? Когда царизм, почуяв опасность, захочет на нее опереться, вместо церкви окажется пустое место... Право, я сам порой начинаю верить, что Распутин антихрист"...

*Вторник, 15 февраля.*

Несколько дней тому назад великая княгиня Мария Павловна сообщила мне, что она хотела бы „интимно"

отобедать у меня в посольстве; я просил ее пожаловать сегодня. Я позвал супругов Сазоновых, сэра Джорджа и лэди Джорджину Бьюкенен, генерала Николаева, князя Константина Радзивила, Димитрия Бенкендорфа; были и чины моего посольства.

Согласно здешнему придворному этикету, я поджидаю великую княгиню в вестибюле. Предлагаю ей руку. Пока мы поднимаемся, она мне говорит: „Я рада быть во французском посольстве, т. е. на французской территории. Уже давно я научилась любить Францию. И с той поры во мне живет вера в нее... А теперь у меня к вашей родине не только любовь, но и восторженное уважение".

После нескольких фраз, обмененных с другими приглашенными, мы направляемся в столовую. Дружеским тоном и опираясь на мою руку, великая княгиня говорит мне вполголоса: „Очень вам благодарна за приглашение таких гостей. В обществе Сазонова, Бьюкенена и вашем я чувствую себя среди лиц, которым могу доверять. А мне так нужны люди, которым я могу доверять!... Я уверена, что проведу прелестный вечер".

За столом мы касаемся различных современных тем, за исключением политики. Великая княгиня рассказывает мне про свое участие в деле помощи раненых. Тут и госпиталя, и санитарные поезда, и убежища для беженцев, и профессиональные школы для слепых и калек и т. д. Она отдается этому делу, вкладывая в него энергию, умение и сердечность. Она мне сообщает проект, исходящий от нее, как президента академии художеств: „Я хотела бы, по окончании войны, устроить в Париже выставку русского искусства. В наших церквах множество редких произведе-

ний живописи и ювелирного искусства, о которых и не подозревают. Я могла бы показать вам средневековые иконы, столь же прекрасные и трогательные, как фрески Джотто. На этой выставке были бы и художественные работы наших крестьян, „кустарные вещи“, которые свидетельствуют об оригинальном и глубоком художественном вкусе, присущем русскому народу. Пока я не выступаю с этим проектом; он, к тому же, еще не вполне разработан. Но через некоторое время я пущу эту идею и в оборот. Злые языки, конечно, скажут, что дело затеяно слишком рано; зато это будет доказывать, что я в нашей победе не сомневаюсь“...

После обеда она долго беседует á part с Бьюкененом; потом она подзывает Сазонова, который присаживается около нее.

Сазонов уважает Марию Павловну и симпатизирует ей. Он находит у нее решительность, энергию, ясность мысли; он считает, что ей никогда не представлялось возможности проявить ее качества; нарушения же ею седьмой заповеди он об'ясняет тем, что ее постоянно оттирали на второй план. Как-то раз Сазонов мне даже сказал: „Вот кому бы быть у нас царицей! Сначала она, пожалуй, была бы посредственна в этой роли, но затем она вошла бы во вкус, освоилась бы с новыми обязанностями и постепенно стала бы совершенствоваться“.

Я наблюдаю издалека за беседой Сазонова с Марией Павловной. Она его слушает с глубоким вниманием, скрашиваемым, на миг, деланной улыбкой. Сазонов, человек нервный и очень искренний в своих словах, не умеет себя сдерживать. По одному блеску его глаз, по сведенным чертам его лица, по постукиванию

пальцами по коленям, я угадываю, что он изливает перед великой княгиней всю горечь, накопившуюся у него на душе.

Место Сазонова занимает лэди Джорджина Бьюкенен; тем временем появляется певица Бриан, у которой очень чистый и приятного тембра сопрано. Она поет нам из Балакирева, Массене, Форэ, Дебюсси. В антрактах идет оживленный разговор вокруг великой княгини.

Подают чай; я подхожу к ее высочеству; под предлогом полюбоваться гобелэнами, она просит провести ее по залам посольства. Она останавливается перед Торжеством Мардохея, бесподобным творением Труа.

— Сядемте здесь,—печально говорит она мне,—все, что мне сейчас говорил Сазонов, ужасно—императрица сумасшедшая, а государь слеп; ни он, ни она не видят, не хотят видеть, куда их влекут.

— Но разве нет способа открыть им глаза?

— Никакого способа нет.

— А через вдовствующую императрицу?.

— Два битых часа я на-днях провела с Марией Федоровной. И мы только изливали друг другу наши горести.

— Отчего не поговорит она с государем?

— Дело не за решимостью и желанием с ее стороны. Но лучше ей не обращаться к нему... Она слишком искренна и откровенна. Как только она принимается увещевать сына, она сразу раздражается. Она ему иногда говорит как раз то, что ему не следовало бы говорить; она его оскорбляет; она его унижает. Тогда он становится на дыбы; он напоминает матери, что он император. И оба расстаются поссорившимися.

— А Распутин все на верху величия?

— Более, чем когда-либо.

— Думаете ли вы, чтобы Антанте что-нибудь грозило?

— Ничего не грозит. Я ручаюсь за государя— он всегда останется верен Антанте. Но я боюсь, что на нас надвигаются серьезные внутренние осложнения. И это естественно отзовется на нашей боевой энергии.

— Другими словами, Россия, не снимая определенно своей подписи, не исполнит, однако, всех своих обязательств перед союзниками. Если она поступит так, то на какие же выгоды от этой войны может она рассчитывать? Условия мира, ведь, будут естественно зависеть от результатов войны. Если русская армия не будет напрягаться до конца с величайшей энергией, то прахом пойдут все громадные жертвы, которые в течение двадцати месяцев приносит русский народ. Не видать тогда России Константинополя; она, кроме того, утратит и Польшу, и другие земли.

— Об этом мне Сазонов только что говорил.

— Каково, по вашему впечатлению, его настроение?

— По-моему, он опечален, очень раздражен тем противодействием, которое ему оказывают некоторые его коллеги. Но, слава Богу, я не приметила в нем никакого упадка духа. Он, напротив, проникнут энергией и решимостью.

— Он человек высокой души и благороднейший.

— В свою очередь, он, могу вас уверить, расположен очень дружественно к Бьюкенену и к вам. Ему так хорошо работать с вами обоими... Но, милейший посол, уже поздно,—пойду, прощусь с вашими гостями.

После прощаний, я подаю ей руку, чтобы проводить ее до выхода. Она замедляет шаг, чтобы сказать мне:

— Мы, очевидно, вступаем теперь в неблагодарную и даже опасную полосу, наступление которой я давно предчувствовала. Мое влияние невелико; по многим причинам, я держусь очень в стороне. Но я вижу не мало лиц, из которых одни знают, как нужно себя заставить слушать, а другие и умеют этого достигать. В меру моих сил, я буду вам всячески содействовать. Расчитывайте же на меня.

— Искренно благодарю ваше императорское высочество.

*Среда, 16 февраля.*

Среди многих проблем, ставящихся в области внутренней политики перед русскими государственными людьми, нет вопросов, более срочных, более сложных и важных, чем вопросы аграрный и рабочий. Я говорил о них, за эти последние дни, с людьми, сведущими в них и принадлежащими к разным лагерям: с бывшим министром земледелия Кривошеиным, с Коковцовым, с крупным землевладельцем гр. Алексеем Бобринским, с Родзянко, с крупным металлическим заводчиком и финансистом Путиловым, с кадетским депутатом Шингаревым и с другими. Вот основные выводы, которые получились у меня в результате этих бесед.

Аграрная реформа, возвещенная известным указом 22 (9) ноября 1906 г., довольно удачно наметила путь ликвидации старого земельного строя, вред которого становился с каждым днем все более вопиющим. Творец этой реформы, Столыпин, видел в мирском укладе основную причину физического и морального

убожества и невежества, в которых живет русский крестьянин. Нельзя себе, действительно, представить порядка пользования землей и ее обработки, более противного агрономии и менее поощряющего индивидуальную энергию и инициативу. Столыпинская программа ставила себе целью отмену общинного пользования землей, закрепление земли за бывшими общинниками и создание, таким путем, чего-то вроде крестьянского третьего сословия. Раньше сторонники самодержавия смотрели на мирское землепользование, как на непреложный догмат, как на оплот против революции, как на одного из китов, на которых держится социальный строй. Аграрные волнения 1905 г. рассеяли эту иллюзию. Но начало общинного пользования, на котором зиждется мирское устройство, породило у крестьян, в течение столетий, твердое убеждение, что земля ничья или, вернее, что бог наделяет ею тех, кто ее обрабатывает. Кроме того, уравнительное начало при периодических переделах вызвало у крестьян сознание недостаточности размеров их наделов; отсюда вывод, что государство обязано прирезать им земли путем принудительного выкупа помещичьих угодий, и путем бесплатного отвода церковных и казенных земель. Можно себе представить, что могут разыгрывать на этой струнке вожди аграрного социализма—Черновы, Ленины, Рожковы, Керенские! Я смотрю так: если ход событий и исход войны позволят продолжать осуществлять земельную реформу 1906 г. еще в продолжение лет десяти; если финансы страны дадут возможность широко развить операции крестьянского банка, являющегося посредником между барином-продавцем и крестьянином-покупателем; если, наконец, при помощи некоторых фискальных мер, крупные собственники бу-

дут поощряться к добровольной продаже части их земель, — если все это окажется возможным, то, в таком случае, крупная и средняя собственность будут спасены. В противном случае социалистические утопии все больше будут овладевать упрощенным крестьянским мышлением. Много уже придумано способов создания крестьянского благополучия. У фракции трудовиков имеется такой проект: образовать из всех земель национальный земельный фонд, подлежащий распределению между всеми земледельцами, живущими трудами рук своих. Нескольких цифр достаточно, чтобы оценить практическое значение этого плана. Для одной Европейской России, национальный фонд составил бы около 200 миллионов десятин; распределять этот фонд пришлось бы приблизительно между 25 миллионами домохозяев; понадобился бы постоянный штат из 300.000 землемеров для составления земельного кадастра и размежевания участков; геодезические работы потребовали бы не менее 15 лет времени, так как снежный покров и распутица прекращают в России всякие измерительные работы в течение 5—6 месяцев в году; за 15-летний период, в силу естественного прироста населения, число домохозяев достигло бы около 30 миллионов: но тогда пришлось бы совершенно наново переделывать первоначальные основания для распределения земли. Такой коренной передел всех земель не может привести ни к чему другому, как к невыразимой путанице, к грабежам, разрушениям и анархии.

Положение рабочего вопроса не менее острое. Русская промышленность развивалась с необычайной быстротой. Считают, что до 1861 г. в России было всего 4300 заводов и фабрик, а в 1900 г. их было уже 15.000; теперь их более 25.000. Положение рабочих

материальное и моральное очень отсталое. Во-первых, почти все они совершенно неграмотны, что отзывается на производительности их труда. Затем число крестьян, уходящих в города в поисках работы, растет с каждым днем. Отсюда низкий уровень заработной платы, которой обыкновенно не хватает на покрытие прожиточного минимума. Распространение машин, с другой стороны, позволяет заменять мужской труд трудом женщин и детей. Отсюда распад семейной жизни, так как все члены семьи заняты вне дома. Это и само по себе тяжелое положение еще ухудшается ошибками и несправедливостями, постоянно допускаемыми царской бюрократией по отношению к рабочим. Русское рабочее законодательство принципом и идеалом ставит государственную охрану рабочего. А в действительности получается одно полицейское вмешательство. Представители царской власти считают себя естественными и непогрешимыми судьями в случаях конфликтов между капиталом и трудом. Приемы их при этом таковы, что в рабочей среде накопляются открытое раздражение, постоянное стремление к борьбе и революционное и разрушительное настроение. Ни в какой другой стране нет столь частых и столь бурно протекающих забастовок. Специфической для России является провокаторская роль полиции при забастовках; это едва ли не самое позорное пятно, лежащее на нынешнем режиме. Эта провокация применяется давно. Но особенно пышно расцвела она только за последний десяток лѐт, со времени Плеве, убитого в 1904 г. Гнусные охранные отделения содержат в промышленных центрах многочисленных агентов, не для наблюдения за революционными элементами, а для того, чтобы их держать в руках, их поддерживать и позволять им выступать, когда охрана

считает это нужным. Стоит „конституционалистам демократам“ возвысить голос в обществе или в Гос. Думе, или царю проявить какой-нибудь робкий уклон в сторону либерализма, как немедленно где-нибудь происходит бурная забастовка. На небе появляется призрак революции, источающей кровавые лучи, как вестник дня страшного суда. Но казаки тут как тут. Порядок восстановлен. Еще раз охранное отделение спасло самодержавие и общество... чтобы, в конце концов, их бесповоротно погубить...

*Пятница, 18 февраля.*

Сазонов, вид у которого печальный и лицо которого отражает невралгические страдания, дает мне понять, как он удручен тем духом реакции и мелкой придирчивости, которым с переходом власти к Штюрмеру, проникнута вся внутренняя политика. Желая получить более точные указания, я его спрашиваю:

— Вы так преданы царскому режиму—как же, по вашему мнению, может император согласовать свое самодержавие с принципами конституционной монархии. сторонником которой вы являетесь?

Он с жаром об‘ясняет:

— Но сам же император установил пределы своего самодержавия и ограничил его, издав в 1906 г. основные законы.. Во-первых, надо разобраться в сущности титула самодержца. Иоанн III, в конце XV века, принял титул царя-самодержца для того, чтобы показать, что великое княжество московское отныне стало суверенным и независимым, свободным от платежа дани татарскому хану... Впоследствии титул самодержавного царя включил в себя идею абсолютного неограниченного полновластия, полного и бесконтрольного деспо-

тизма. Так смотрели на свою власть Петр Великий и Николай I; такой взгляд, к сожалению, внушили благороднейшему Александру III Катков и Победоносцев; этот взгляд перешел по наследству и к Николаю II. Отражение этого учения мы видим в 4 ст. основных законов, гласящей, что „император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти... сам бог повелевает“. Но статья 7 смягчает это положение указанием, что император осуществляет законодательную власть в согласии с Гос. Советом и с Гос. Думой“. Вы видите последствия этих изменений: русский народ сам стал одним из органов, управляющих государством, а царский режим, оставаясь при божественном своем происхождении, приблизился к правовому строю современных государств.

— Если я правильно понимаю вашу мысль, то выходит так, что основные законы сохранили за императором титул самодержца лишь для того, чтобы соблюсти престиж верховной власти и сохранить преемственную связь с прошлым?

— Да, приблизительно так... Я говорю: приблизительно так, потому что я очень далек от того, чтобы видеть в титуле самодержца только историческое переживание, только канцелярское выражение. Я полагаю, что в России, в виду наших традиций, в виду нашего уровня культуры и свойств национального характера, верховная власть должна быть очень твердой; я готов предоставить ей все способы подчинения и принуждения. Но я хотел бы, чтобы над властью был бы контроль и, что еще важнее, чтобы она была просвещенной. Между тем, теперь над нею нет контроля; а кто пользуется правом монопольного ее просвещения, вы сами хорошо знаете.

Помолчав немного, я снова говорю:

— Раз мы уже коснулись столь деликатной темы, позвольте вам задать один дружеский вопрос.

— Ах! боюсь, что я догадываюсь о том, что вы хотите мне сказать... Но делать нечего! Я вас слушаю.

— Нельзя ли мне оказать осторожно воздействие в духе ваших идей?

— Бога ради, не делайте этого! Вам особенно нельзя выступать, вам, представителю республики!... Даже на меня косятся—я-де олицетворяю союз с западными демократиями! В какое же положение попали бы вы, если был бы малейший предлог обвинять вас во вмешательстве в нашу внутреннюю политику!...

*Воскресенье, 20 февраля.*

И национальный, и частный характер русских глубоко проникнут непостоянством. Война, которая держит нервы русских людей в постоянном напряжении, еще более усилила это свойство; мне постоянно приходится считаться с этой особенностью.

Русские живут исключительно впечатлениями и мыслями текущего момента. То, что они вчера чувствовали и думали, сегодня для них более не существует. Их настоящее настроение порой уничтожает в них самое воспоминание об их прежних взглядах.

Разумеется, эволюция является общим законом как моральной, так и органической жизни, и мы перестаем изменяться только тогда, когда умираем. Но у здоровых рас изменения всегда отмечены прогрессом; противоречивые тенденции более или менее сглаживаются; нет резкого внутреннего разлада; самые быстрые и полные изменения связаны с переходными периодами, с возвратами к старому, с постепенными переходами.

В России чашка весов не колеблется—она сразу получает решительное движение. Все разом рушится, все—образы, помыслы, страсти, идеи, верования, все здание. Для большинства русских верхом счастья является постоянная смена декораций.

Эти мысли пришли мне на днях в голову, когда я смотрел в Мариинском театре поэтический балет Чайковского „Спящая красавица". Весь театр расцвел радостью, когда на сцене пруд, покрытый туманом, по которому плывет очарованная ладья, внезапно превращается в сияющий огнями дворец.

И я сказал себе, что и русская ладья тоже несется по водам, над которыми навис туман. Но я боюсь, что, когда произойдет смена декораций, мы увидим перед собой что-то совсем другое, только не залитый огнями дворец...

*Понедельник, 21 февраля.*

Вчера великий князь Николай Николаевич вступил в Эрзерум, встреченный там ген. Юденичем.

В Эрзеруме турки потеряли 40.000 убитых и раненых, 13.000 пленных, 325 пушек и 9 знамен.

Русские теперь хозяева Армении. В Персии, на юг от Курдистана, предстоящее занятие Керманшаха открывает перед ними дорогу на Багдад.

*Вторник, 22 февраля.*

Гос. Дума сегодня возобновила свои занятия. Сессия Думы столько раз откладывалась Горемыкиным, что создалось опасное общее недовольство.

Государь это понял и присущий ему мудрый инстинкт, заменяющий у него политическое чутье, побу-

дил его на удачный жест. Он лично явился в Таврический дворец на открытие сессии.

Это решение он принял вчера и держал втайне до последней минуты. Только в 12 часов дня сегодня было по телефону передано приглашение союзным послам пожаловать в Таврический дворец ровно в два часа, без указания цели приглашения.

Государь посетил Думу впервые после установления в России представительного строя. Раньше депутаты являлись на поклон к царю в Зимний дворец.

Приезжаю в Думу в одно время с придворными экипажами.

В обширной зале с колоннами, где некогда Потемкин восхищал Екатерину своими великолепными празднествами, поставлен аналой для молебна. Депутаты стоят кругом тесными рядами. Публика, покинувшая трибуны, теснится на лестнице, выходящей в колонный зал.

Император подходит к аналою; начинается служба; дивные песнопения, то широкие и могучие, то нежные и эфирные, выражающие лучше всяких слов безбрежные устремления православной мистики и славянской чувствительности.

Большой под'ем настроения в зале. Реакционеры, поборники неограниченного самодержавия, обмениваются взглядами, полными раздражения или отчаяния—как будто царь, избранник и помазанник божий, совершает святотатство. Левые, напротив, исполнены бурной ликующей радости. У многих слезы на глазах. Сазонов, стоящий возле меня, усердно молится; он сделал много для сегодняшнего дня. Военный министр, ген. Поливанов, человек либерального направления, говорит мне вполголоса:

— Сознаете ли вы все значение, всю красоту этого зрелища?.. Это минута громадной важности для России; начинается новая эра в нашей истории.

На два шага впереди меня стоит император. За ним его брат, великий князь Михаил Александрович; дальше стоят министр двора, граф Фредерикс, дежурный флигель-ад'ютант, полк. Свечин, дворцовый комендант, ген. Воейков.

Император слушает службу со свойственным ему умилением. Он страшно бледен. Рот его ежеминутно подергивается, как будто он делает усилия, чтобы проглотить. Более десяти раз трогает он правой рукой ворот—это его обычный тик; левая рука, в которой перчатка и фуражка, то и дело сжимается. Видно, что он сильно взволнован. Когда 10 мая (27 апреля) 1906 г. он открывал сессию первой Думы, то думали, что он лишится чувств—такое было у него бледное и встревоженное лицо.

Но вот отслужили молебен; духовенство удаляется.

Император произносит речь в духе патриотизма и об'единения:

„Я счастлив быть среди вас, среди моего народа, представителями которого вы являетесь. Призываю божье благословение на ваши труды. Твердо верю, что вы вложите в ваш труд, за который вы ответственны перед родиной и мною, весь ваш опыт, все ваше знание местных условий и всю вашу любовь к стране, руководствуясь единой этой любовью, которая да будет вашей путеводной звездой. От всего сердца желаю Гос. Думе благотворной работы и полного успеха“.

Тяжело смотреть на Николая, во время произнесения этой речи. Слова с трудом вылетают из его сдавленного горла. Он останавливается, запинается после

каждого слова. Левая рука лихорадочно дрожит; правая судорожно уцепилась за пояс. Последнюю фразу он произносит, совсем задыхаясь.

Громовое „ура“ раздается в зале. Раскатистым и глубоким басом отвечает Родзянко:

„Ваше величество, мы глубоко тронуты выслушанными нами знаменательными словами. Мы исполнены радостью видеть среди нас нашего царя. В это трудное время вы сегодня утвердили ту связь с вашим народом, которая указует нам путь к победе. Ура нашему царю! Ура!“.

Все присутствующие громко кричат ура. Молчат одни крайние правые. В течение нескольких минут потемкинский дворец дрожит от возгласов восторга. Император сразу оправился; к нему вернулось его обычное обаяние; он жмет руки; он расточает улыбки. Затем уезжает, пройдя через зал заседаний.

*Среда, 23 февраля.*

Заезжаю, как всегда, около 12 часов к Сазонову. Он в восторге от вчерашнего торжества, отклик которого скажется во всей стране.

— Вот,—говорит он,—здравая политика. Вот настоящий либерализм. Чем теснее будет контакт между императором и его народом, тем легче сможет император противиться влиянию крайних партий.

Я спрашиваю Сазонова:

— Это вам пришла мысль устроить посещение государем Думы?

— К сожалению, не мне. Инициатор—вы не догадаетесь, кто—это Фредерикс, министр двора.

— Как, Фредерикс, этот консерватор, реакционер, этот живой обломок старины?

— Он самый... Его преданность государю помогла ему понять тот шаг, к которому положение вещей обязывало государя; он поднял этот вопрос перед государем и пред председателем совета министров. Император немедленно согласился; Штюрмер не посмел противоречить; решение было тут же принято. Не скрою от вас, что император опасался сцены со стороны императрицы; он готовился к целому потоку упреков. Она, правда, высказалась против, но без вспышки; она проявила то холодное и сдержанное недовольство, которое у нее является часто самым сильным выражением неодобрения.

*Четверг, 24 февраля.*

Сегодня у меня обедала княгиня П. Присутствовали еще итальянский посол, маркиз Карлотти, и еще человек двадцать, в том числе ген. Н. Врангель, ад'ютант великого князя Михаила.

Главная тема обеденных разговоров—открытие думской сессии. Княгиня П. очень одобряет посещение государем Думы.

— Я вас не удивлю, — замечает она, — если скажу, что этот либеральный жест не пришелся по вкусу императрице, которая все еще от него не пришла в себя.

— А Распутин?.

— „Божий человек“ очень недоволен и предрекает всякие беды.

Ген. Врангель, человек тонкого ума и скептик, придает царскому посещению небольшое значение. Он говорит:

— Поверьте мне, самодержавие всегда останется для его величества непреложным догматом.

## II. Время Верденских боев.

*Пятница, 25 февраля.*

Вот уже пять дней, как армии кронпринца атакуют Верден с возрастающим упорством. Линия их наступления занимает фронт в 40 килом.; бомбардировка неслыханной силы.

Это самый трагический, самый, быть может, решительный момент войны со времени битвы на Марне.

*Суббота, 26 февраля.*

Назначение Питирима петроградским митрополитом повело к тому, что Распутин стал полным хозяином в церковных делах.

Так, он только что заставил капитулировать пред собой святейший синод, который должен был утвердить канонизацию „раба Божьего", Иоанна Тобольского.

Приятель Распутина, циничный архиерей Варнава, не рассчитывал на столь скорую и блестящую победу. Для полноты картины, этот Варнава будет посвящен в архиереи [1]).

*Воскресенье, 27 февраля.*

Если признавать, что здоровье не есть что-нибудь иное, как гармония всех функций, как дружная работа

---

[1]) См. запись в дневнике от 10 янв. 1916 г.

всех органов, совместная энергия всех жизненных сил, то придется притти к выводу, что русский исполин опасно болен. Ибо социальный строй России проявляет симптомы грозного расстройства и распада.

Один из самых тревожных симптомов—это тот глубокий ров, та пропасть, которая отделяет высшие классы русского общества от масс. Никакой связи между этими двумя группами; их как бы разделяют столетия. Эта особенность более всего сказывается в сношениях чиновников с крестьянами. Вот пример:

В 1897 г. правительство приступило к общей переписи населения, по всем правилам современной статистики. Впервые было предпринято мероприятие, столь широко поставленное и методичное. До того времени ограничивались областными сводками, приблизительными и суммарными. Агенты переписи встретили всюду крайнее к себе недоверие, а зачастую и прямое противодействие. Пошли нелепые слухи; народ верил разным выдумкам: говорили, что чиновники затевают повышение военных налогов, хлебные поборы, увеличение податей, земельную ревизию в пользу помещиков, вплоть до восстановления крепостного права. Крестьяне подозрительно переглядывались, твердя друг другу: „Быть большой беде.. Добра от этого не жди... Дьявольская эта затея“. А чиновники, пользуясь этими детскими страхами, брали взятки. Все это вело к еще большему углублению пропасти между двумя классами.

Повесть Короленко „На затмении“ дает яркую картину злобного и подозрительного недоверия русского крестьянина к представителям высших классов и вообще ко всем, кто стоят выше его по общественному или имущественному положению, по образованию или воспитанию. Дело происходит в городке на Волге. Астро-

номы приезжают туда наблюдать солнечное затмение. Присутствие этих иностранцев, их таинственные приготовления, их невиданные приборы очень волнуют жителей города. Появляется слух, что приезжие колдуны, слуги дьявола и антихриста. Их обступает недоверчивая, возбужденная толпа; с трудом охраняют они свои телескопы. Но вот наступает затмение; солнце темнеет. Тут вспыхивает гнев толпы. Одни вопят о безбожии астрономов, которые смеют исследовать небо: „Вот пошлет господь на них свой гром". Другие, потеряв голову, кричат: „Пришел конец мира; началось светопредставление! Господи, смилуйся над нами!" Но вот солнце снова выглянуло и толпа успокоилась; все благодарят бога за избавление от опасности.

Не менее показательны народные волнения, сопутствующие эпидемии и голодовке, столь частым в России. При каждом голоде появляется обычный слух: „Это господа и чиновники припрятали хлеб" или же „чиновники и господа нарочно хотят извести народ, чтобы захватить себе землю". При эпидемиях ненависть толпы всегда обращена против врачей, являющихся в их глазах представителями власти. „Говорят они непонятные вещи, чудят и разводят холеру, отправляя, по приказанию начальства, крестьян на тот свет". Толпа сжигает больницу, громит лабораторию и иногда убивает врача.

Писатель Вересаев, дающий столь яркие картины русской жизни, нисколько не грешит против истины, описывая печальный конец доктора Чекьянова; пылкий доктор решил посвятить свою жизнь служению народу; во время холерной эпидемии он проявляет чудеса самопожертвования; и все же невежественная толпа обвинила его в отравлении, всячески оскорбляла его и, на-

конец, избила до полусмерти. Чуть живой от побоев, он не только не винит своих мучителей, но чувствует к ним безграничную жалость; он пишет в своем дневнике: „Я хотел помочь народу, хотел отдать ему свои знания и силы, а он избил меня, как последнюю собаку. Только теперь я понимаю, как я любил народ; но я не сумел заслужить его доверие. Крестьяне уже начали чувствовать ко мне доверие,—но появилась четверть водки, и дикий примитивный инстинкт взял верх. Я чувствую, что умираю. Но ради кого я боролся? Во имя чего я умираю? Видно, так суждено было: народ всегда видел в нас чужих. Мы сами высокомерно отодвигались от него, не хотели его знать; непроходимая пропасть отделяет нас от него“.

*Понедельник, 28 февраля.*

В течение последних месяцев у русских замечается стремление преуменьшать значение военного содействия Франции. Несмотря на все наши усилия, путем газет, докладов и кинематографических лент, доказать интенсивность борьбы на западном фронте, здесь ее недооценивают. Мне не раз приходилось обращать внимание Сазонова, Горемыкина и генерала Сухомлинова на неправильную и даже недоброжелательную оценку событий в некоторых газетах.

Бои под Верденом все изменили. Теперь только оценили здесь героизм наших войск, искусство и выдержку нашего командования, громадное количество наших военных запасов и стойкий под'ем нашего общественного мнения.

Председатель Государственной Думы Родзянко приезжал ко мне сегодня передать поздравление с победой от лица членов Государственной Думы.

На улицах перед выставленными в окнах газетными сводками, мне не раз пришлось слышать разговоры „мужиков“ о боях под „Вердуном“.

*Вторник, 1 марта.*

Для ознакомления с положением вещей, в Петроград приехал бывший военный румынский министр Филиппеско, член франкофильской партии в Букаресте.

Он встретил наилучший прием у императора и Сазонова, но не высказал ничего, кроме общих мест, заявив о расположении Румынии к союзникам. Он сообщил мне через Диаманди о своем желании повидаться со мной и о том, что он сам уже был бы у меня, если бы не простуда, приковавшая его к постели.

*Пятница, 3 марта.*

Русское правительство по-прежнему обходит молчанием вопрос о восстановлении Польши. Это беспокоит Париж, где польский комитет, находящийся в Швейцарии, ведет умелую и деятельную пропаганду.

Я всеми силами стараюсь убедить здешнее правительство в том, что оно совершает крупную ошибку, задерживая об'явление полной автономии Польши: германские державы могут опередить его в этом. Мне приходится быть очень сдержанным в польском вопросе, так как у русских националистов слишком живо еще воспоминание о событиях 1863 года. Всего чаще и откровеннее говорил я об этом с Сазоновым. Я не скрываю от него, что принимаю в посольстве своих польских друзей: графа Маврикия Замойского, графа Владислава Велепольского, брата его Сигизмунда, графа Константина Платер-Зибера, Романа Скирмунта, графа Иосифа Потоцкого, Рембиеленского, Корвин-Милевского

и др.; делаю это уже потому, что все равно грозная „охрана“ извещает Сазонова о малейшем моем поступке. Посещения эти слегка беспокоят его за меня. Он сказал мне вчера: „Будьте осторожны. Польша—скользкая почва для французского посла“.

Я ответил ему, слегка изменив место из Рюи Блаза: „Польша и король ее грозят многими опасностями“.

Сдержанность, которую я должен проявлять по отношению к русскому правительству в польском вопросе—это еще меньшая из трудностей. Главным препятствием для немедленного его разрешения является разногласие, существующее в самом русском обществе по польскому вопросу.

Лично император, несомненно, не является противником либеральной автономии для Польши; он готов сделать большие уступки для ее сохранения под скипетром Романовых. Сазонов смотрить на дело так же и настойчиво убеждает императора не сходить с этого пути.

Зато русское общественное мнение, в общем, против выделения Польши из Российской империи. Враждебным отношением к Польше проникнуты не только национальные и бюрократические круги; оно проявляется и в Государственной Думе, и во всех партиях. Отсюда невозможность провести автономию Польши законодательным порядком. Разрешение этого вопроса кажется мне возможным только motu proprio императора, чем-то вроде coup d'état.

Меня уверяют, что таково мнение Сазонова и что он внушил эту мысль государю, но Штюрмер и „потсдамский двор“ этого не хотят; они видят в польском вопросе ловкий ход для примирения с Германией.

*Суббота, 4 марта.*

Я вел сегодня долгую беседу с Филиппеско, принявшим меня в румынской миссии, так как нездоровье не позволило ему побывать у меня.

Несмотря на недомогание, он с первых же слов заговорил с жаром и убеждением.

Предупредив меня, что он не облечен никакой специальной миссией и путешествует частным образом для ознакомления с положением вещей, он сказал мне следующее:

— Вы знаете, что для меня Франция вторая родина; вам известно, с каким нетерпением я жду выступления нашей армии. Я не скрываю от вас, что не являюсь сторонником нашего председателя совета министров; тем не менее, я согласен с Братиано в его нежелании вступать в войну ранее наступления часа общего действия союзников и ранее занятия Добруджи русской армией. Посылка русской армии на юг от Дуная нам необходима не только стратегически, она необходима для окончательного бесповоротного разрыва между Россией и Болгарией. Лишь только наши условия будут исполнены, мы немедленно займем Трансильванию. Но я сильно сомневаюсь, чтобы русское правительство и верховное командование смотрели на вещи так же, как мы.

Я отвечаю ему решительным тоном:

— У меня нет оснований предполагать, чтобы русское верховное командование не согласилось послать армию для занятия Добруджи. Что же касается вопроса, должны или не должны румынские войска поддерживать там русское наступление, то это касается оперативного плана. Ро всяком случае, могу вас уверить

что русское правительство не намерено церемониться с Болгарией. Россия—совершенно лойальная союзница. Поскольку французская и английская армии будут продолжать вести военные действия против Болгарии на Солунском фронте, постольку Россия будет беспощадна к Болгарии, ручаюсь вам за это.

Мне кажется, что ясность моих доводов подействовала на Филиппеско. Он несколько раз вопросительно взглядывает на Диаманди, молча присутствующего при нашей беседе; тот каждый раз утвердительно кивает ему. Тогда я задаю Филиппеско решительный вопрос:

— Отчего Братиано отказывается от всяких переговоров?

Он делает гневный жест и отвечает:

— Потому, что политика его мелочная; никакой договор ему никогда не кажется достаточно выгодным; поэтому он упускает лучшие возможности, откладывая решение, которого требует вся Румыния; он доведет нас до того, что мы сделаемся вассалами Германии.

Возвращаясь к основному вопросу о заключении военного договора, я указываю Филиппеско на опасность, которой Братиано подвергает свою страну, затягивая окончательное выяснение условий помощи, которой он ожидает от России. Такая политика не соответствует заветной национальной мечте. Я продолжаю:

— Возможно, что решающий момент наступит раньше, чем предполагает Братиано. Между тем, заключение военной конвенции всегда требует времени—пройдет не менее двух-трех недель. Кроме того, требуется известный срок для ее осуществления; потребуется время на смычку железнодорожных линий и на постановку транспортных средств, организацию дела снабжения и т. д. При слабых организаторских способностях

русских, при слабо развитых у них представлениях о времени и пространстве, подобная задача потребует больше времени и будет затруднительнее, чем в какой-либо другой стране. В том случае, если бы Германия внезапно пред'явила ультиматум Румынии, Братиано оказался бы виновным в преступной непредусмотрительности. Мне, пожалуй, понятно, что он не решается назначить определенный срок об'явления войны. Но я не понимаю его нерешительности в заключении конвенции между верховным командованием России и Румынии, не требующей исполнения впредь до ратификации ее обоими правительствами. Неужели его удерживает боязнь разглашения конвенции? Но отношения между Германией и Румынией давно испорчены соглашением, заключенным ею с союзниками по трансильванскому вопросу. Разве это соглашение уже не получило огласки?

Филиппеско отвечает после продолжительной паузы:

— Задаю себе вопрос, не следует ли мне поторопиться с возвращением в Бухарест.

*Воскресенье, 5 марта.*

Когда Филиппеско передал Сазонову нашу вчерашнюю беседу, тот сказал ему: „Я совершенно согласен с мнением Палеолога".

Филиппеско немедленно по выздоровлении уезжает в Бухарест.

*Вторник, 7 марта.*

Бои под Верденом идут с удвоенным ожесточением. Немцы атакуют нас крупными силами по обоим берегам Мааса; мы держимся на наших позициях, несмотря на жестокий обстрел и бешеные атаки.

*Суббота, 11 марта.*

Завтра Филиппеско выезжает из Петрограда для об'езда южного фронта, по пути в Бухарест.

Он заезжал проститься со мной.

— Благодарю вас,—сказал он,—за откровенно высказанное мнение; оно пригодилось мне, и я уезжаю под самыми лучшими впечатлениями. По возвращении в Бухарест, я буду оказывать на Братиано давление в указанном вами направлении, с которым я совершенно согласен.

*Воскресенье, 12 марта.*

Я испросил аудиенцию у императора, прибывшего в Царское Село, для того, чтобы осведомить его о Румынии и об общем положении дел; аудиенция назначена на завтра; церемониал обычный.

Вчера вечером император очень любезно пригласил меня присутствовать на кинематографическом представлении для его детей серии лент, изображающих сцены на французском фронте; приглашение это совершенно интимного характера; официальная же аудиенция остается на завтра.

Я приехал в Царское Село в пять часов. Кинематограф установлен был в большом круглом зале; перед экраном поставлены три кресла; вокруг них дюжина стульев. Почти тотчас же вышли император и императрица с великими княжнами и наследником цесаревичем, в сопровождении министра двора Фредерикса с супругой, обер-гофмейстера графа Бенкендорфа с супругой, полковника Нарышкина, г-жи Буксгевден, воспитателя наследника Жильяра и нескольких чинов дворцового управления. Во всех дверях столпились и выглядывают горничные и дворцовые служители. Импе-

ратор одет в походную форму; на императрице и великих княжнах простые шерстяные платья; прочие дамы в визитных туалетах.

Передо мной императорский двор во всей простоте его обыденной жизни. Император усаживает меня между собой и императрицей. Свет гасят, и сеанс начинается.

С глубоким чувством гляжу я на бесконечный ряд картин, изображающих живые подлинные события, столь наглядно подтверждающие усилия французов. Император восхищается нашей армией; он восклицает: „Как хорошо, какая отвага, как можно выдержать такой обстрел! Сколько заграждений перед неприятельскими окопами".

Императрица, по обыкновению, молчалива; все же, поскольку она это умеет, она старается быть со мной любезной. Но до чего натянуты ее малейшие комплименты! До чего неестественна ее улыбка!

В продолжение двадцатиминутного перерыва, во время которого нам подают чай, император выходит в соседнюю комнату покурить, я остаюсь один с императрицей; бесконечным мне кажется этот tête-à-tête. Мы говорим о войне, об ее ужасах, о нашей несомненной и полной победе. Ответы императрицы отрывочны; она соглашается со всеми моими замечаниями, как соглашался бы автомат.

Вторая половина сеанса ничего не добавляет к первому впечатлению.

При прощании император сказал мне с любезностью, свойственной ему, когда он в духе: „Я очень доволен этим путешествием, совершенным с вами по Франции. Завтра мы долго поговорим"...

*Понедельник, 13 марта.*

В два часа дня я снова отправился в Царское Село; на этот раз согласно обычному церемониалу и в полной парадной форме.

При входе во дворец навстречу мне попадается группа офицеров, только что представивших турецкие знамена, взятые под Эрзерумом 15 февраля.

Это обстоятельство дает естественную основу для начала разговора с императором. Я восторгаюсь блестящими победами, одержанными его войсками в Малой Азии; в ответ мне император повторяет вчерашнюю похвалу героям Вердена. Он прибавляет:

— Я слышал, что, благодаря генералу Жоффру, его искусству и хладнокровию, ему удалось сохранить свои резервы. Надеюсь поэтому, что по истечении пяти, шести недель мы сможем начать одновременное наступление на всех фронтах. Снега, выпавшие за последние дни, не позволяют, к сожалению, рассчитывать на наступление раньше этого времени. Но будьте уверены в том, что мои войска поведут дружное наступление, лишь только они будут в состоянии передвигаться.

В свою очередь, я указываю ему на то, что Верденские бои знаменуют нам критический момент войны, и что вслед за ними начнутся решающие операции; поэтому необходимо предварительное взаимное согласие союзников по тем важнейшим дипломатическим вопросам, разрешение которых они считают нужным приурочить ко времени заключения мира.

— На этом основании я прошу ваше величество обратить все ваше внимание на договор, заключенный между Францией и Англией о Малой Азии; Сазонов завтра доложит вам о нем. Я не сомневаюсь, что ваше

правительство благожелательно отнесется к законным пожеланиям республики.

Я излагаю затем основания соглашения. Император возражает против предполагаемой конституции Армении.

— Это одна из самых сложных задач,—говорит он,— я еще не обсуждал ее со своими министрами. Лично я не мечтаю ни о каких захватах в Армении, за исключением Эрзерума и Трапезунда, стратегически нужных Кавказу. Не колеблясь, обещаю вам, что мое правительство приступает к обсуждению вопроса в духе того дружеского отношения, которое Франция проявляла к России.

Я указываю на спешность разрешения вопроса:

— Если союзники заранее разрешат все вопросы, могущие вызвать разногласия между ними, то при заключении мира они будут иметь громадное преимущество перед Германией. Уже разрешены вопросы о Константинополе, Персии, Адриатике и Трансильвании. Поспешим с разрешением малоазиатского вопроса.

Мне кажется, что мое заявление сказывает свое действие на императора, и он обещает стать на мою точку зрения при обсуждении его с Сазоновым. Я добавляю:

— Надеюсь, что из-за Малой Азии ваше правительство не забудет о левом береге Рейна.

Румынские дела нас долго не задерживают. Император повторяет мне, что он телеграфировал 3 марта президенту республики; слова его так искренни и категоричны, что мне не о чем больше просить его.

Император встает, и я предполагаю, что аудиенция кончена. Но он отводит меня к окну, предлагает закурить и продолжает разговор; из окна видно прелестное сочетание яркого солнца и снега—сад как бы покрыт алмазной пылью.

Царь говорит со мной простым, искренним и откровенным тоном, каким он никогда еще не разговаривал со мной. Он говорит:

— Сколько у нас будет общих великих воспоминаний, милейший посол! Помните нашу первую встречу здесь? Вы говорили мне о вашем предчувствии неизбежности войны и о необходимости для нас готовиться к ней. Вы передавали мне тогда же о странных признаниях, сделанных императором Вильгельмом королю Альберту. Ваши слова произвели на меня сильное впечатление, и я тотчас же передал их императрице.

Он вспоминает, обнаруживая при этом большую точность памяти, последовательно обед 23 июня на „Франции", нашу прогулку вечером на его яхте после отбытия президента республики, события трагической недели, начавшейся на следующий день.

Вспоминает он день 2 августа, когда, при произнесении им торжественной присяги на евангелии по форме 1812 года в Зимнем дворце, император поставил меня рядом с собой; затем вспоминает он незабвенные московские торжественные дни и, наконец, наши с ним беседы, столь проникновенные и искренние.

Он постепенно воодушевляется этим длинным перечнем, обращающимся почти в монолог; мне лишь изредка приходится пополнять его речь своими замечаниями.

Когда он умолкает, я стараюсь подыскать фразу, могущую резюмировать нашу беседу, и говорю:

— Часто, очень часто, думаю я о вашем величестве, о вашей трудной задаче, бремени забот и ответственности, лежащих на нас. Однажды я даже пожалел вас, государь.

— Когда же это было? Очень тронут вашими словами... Но когда же это было?

— В тот момент, когда вы приняли на себя верховное командование.

— Да, это была тяжелая для меня минута. Мне казалось, что Бог оставляет меня и что он требует жертвы для спасения России. Я знаю, что вы меня тогда понимали, и я не забываю этого.

— Я уверен, что в подобные минуты славная память вашего покойного отца является, после бога, наиболее твердой вашей опорой,—говорю я, указывая на большой портрет Александра III, висящий над письменным столом.

— Да, в трудные минуты, а их у меня так много, я всегда советуюсь со своим отцом, и он всегда вдохновляет меня. Но пора расставаться, милейший посол; у меня еще много дела, а на завтра назначен мой от'езд в ставку.

Он дружески жмет мне руку, прощаясь со мной в дверях. Из этой аудиенции, продолжавшейся больше часа, я выношу впечатление, что император настроен хорошо и уверенно смотрит на будущее. Вряд ли стал бы он в противном случае так благосклонно излагать наши общие воспоминания за время войны. Затем ярко проявились некоторые черты его характера: его простота, мягкость, отзывчивость, удивительная память, прямота намерений, мистицизм; в то же время и его слабая уверенность в своих силах и вытекающее из нее постоянное искание опоры во вне или в тех, кто сильнее его.

*Вторник, 14 марта.*

Чрезвычайно удачной оказалась мысль, внушившая Николаю II постройку Народного Дома в 1901 году.

За Петропавловской крепостью, на берегу Кронверкского канала, возвышается большое здание, заключающее в себе театральный и концертный зал, кинематограф, фойэ, буфеты. Постройка выдержана в деловом стиле; задачей архитектора было создание обширного, хорошо приспособленного и умело распланированного помещения. Больше ничего от него не требовалось: все должно было быть подчинено началу целесообразности. Императором при этом руководило желание дать низшим слоям населения возможность развлечения за небольшую плату, в теплом, закрытом помещении; им руководило, кроме того, намерение ослабить растлевающее влияние кабаков и разрушающее действие алкоголя; водка изгнана из Народного Дома.

Начинание оказалось довольно удачным. Народный Дом вошел в моду; лучшие музыкальные и драматические силы наперерыв выступают там. За какие-нибудь двадцать копеек беднейшие слои населения могут присутствовать при исполнении лучших музыкальных и драматических произведений. Более состоятельные люди за два—три рубля могут иметь место в партере или ложе. Зал всегда переполнен. Ездят туда, не наряжаясь.

Сегодня я слушал бесподобного Шаляпина в „Дон-Кихоте" Массенэ. Я пригласил в свою ложу княгиню Д. г-жу П. и Сазонова.

Я уже несколько раз слушаю „Дон-Кихота" в Народном Доме; это далеко не лучшая опера Массенэ; в ней слишком много мест, спешно написанных и банальных; слишком чувствуются недостатки состарившегося композитора.

Но Шаляпин достигает высших степеней драматического искусства, неподражаемо изображая злоключе-

ния Дон-Кихота. Всякий раз меня поражает то напряженное внимание, которое публика высказывает к герою и к развязке действия. Мне казалось с первого взгляда, что роман Сервантеса, полный добродушия, здравого смысла, незлобивой иронии и скептицизма, чуждого разочарованности, покажется чуждым русским. Но впоследствии я нашел у Дон-Кихота несколько черт характера, трогающих русских, таковы: его великодушие, кротость, жалостливость, смирение, а главное, его способность отдаваться фантазиям, постоянное смешение галлюцинаций со здравыми мыслями.

После сцены смерти, в которой Шаляпин превзошел себя, Сазонов сказал мне: „Как хорошо! Прямо божественно! Что-то почти религиозное".

*Четверг, 16 марта.*

Сазонов сообщил мне, что императорское правительство сочувственно относится к соглашению, заключенному между парижским и лондонским кабинетами по вопросу о Малой Азии, за исключением пунктов, касающихся Курдистана, Трапезунда, с прилегающими областями: Эрзерумом, Битлисом и Ваном: эти территории Россия хотела бы получить для себя. Франции предлагаются области Диарбекира, Кормура и Сиваса. Я не сомневаюсь в согласии Братиано; вопрос этот, таким образом, решен.

*Пятница, 17 марта.*

Я пригласил к обеду нескольких театралов, выдающегося живописца и архитектора А. Н. Бенуа, молодых композиторов Каратыгина и Прокофьева, певицу г-жу Незнамову и чинов посольства.

Незнамова поет нам несколько вещей Балакирева, Бородина, Мусоргского, Ляпунова и Стравинского; голос у нее звучный, и исполнение ее проникновенное. Во всех этих произведениях чувствуется народное их происхождение, несмотря на разнообразие оттенков, проникающих их. В течение длинных темных вечеров зимой, в глухих избах или среди бесконечных степных пространств родилась эта задумчивая мечтательная грусть, переходящая временами в грозное отчаяние. У Максима Горького есть яркое описание страдальческого опьянения, вызываемого музыкой в душе русского крестьянина. Во время перерыва пения г-жи Незнамовой один из приглашенных моих, живший среди крестьян, подтвердил мне жизненную правдивость эпизода, рассказанного в одной из повестей знаменитого писателя, особенно поразившую меня. Двое крестьян, один из них калека, другой чахоточный, встречаются с нищенкой в закоптелом кабаке. „Споем", предлагает калека, „без тоски не наладишь душу. Только грустной песней ее зажжешь". И вот он запел рыдающим голосом, как будто задыхаясь. Товарищ вторил ему тихим стонущим голосом, произнося одни гласные. Полное безысходной задушевной тоски контральто присоединилось к ним. Начав петь, они поют без конца, убаюканные собственными голосами, звучащими то суровой страстью, то покаянной молитвой, то грустной и кроткой жалобой детского горя, то ужасом и безнадежностью, свойственными всем лучшим народным русским песням. Звуки плакали и таяли; временами казалось, что они умолкают, но они снова крепли, разростались и замирали вновь. Слабый голос калеки подчеркивал эту агонию. Женщина пела, голос чахоточного рыдал. Казалось, плачущему пению не будет конца...

Вдруг чахоточный воскликнул: „Будет! Замолчите, ради Христа! Душа больше не терпит! Сердце у меня раскалилось, как уголь“...

В заключение Каратыгин и Прокофьев сыграли нам несколько отрывков из своих произведений. Музыка очень сложная. Прошли времена, когда можно было упрекать русских композиторов в незнании музыкальной техники. Новая школа грозит, пожалуй, даже чрезмерным увлечением теорией. Каратыгин кажется мне посредственным последователем Скрябина; то, что он нам сегодня играл, пустовато по содержанию, слишком сложно и замысловато. У Прокофьева же, наоборот, изобилие мыслей, но они заглушаются погоней за переливами и за неожиданными созвучиями. Его сюита „Сарказмы“, тем не менее, мне нравится своей утонченностью, задушевностью и колоритностью.

*Суббота, 18 марта.*

Верховная комиссия, назначенная императором для расследования дела генерала Сухомлинова по упущениям в военном ведомстве, закончила свою работу и признала дело бывшего министра подлежащим передаче на рассмотрение военного суда.

Император утвердил это решение. Отныне генерал Сухомлинов исключен из числа членов Государственного Совета.

*Вторник, 21 марта.*

Верденские бои вызывают здесь большое восхищение всех слоев населения; мне ежедневно приходится в этом убеждаться. И к этому примешивается чувство досады и обиды при мысли о вынужденном бездействии русских войск. Для поднятия общественного настроения

император приказал начать широкое наступление в Виленском направлении и к югу от Двины, и это несмотря на неблагоприятное время года. Идут беспрерывные дневные и ночные ожесточенные бои между озерами Нарочь и Вишневским. Вчера немцы оставили несколько селений.

Сегодня генерал Алексеев послал генералу Жоффру телеграмму следующего содержания:

„Император поручил мне передать вам выражение истинного восхищения блестящим выступлением 20-го французского корпуса во время боев под Верденом. Его императорское величество твердо уверен, в том, что французская армия, верная славным заветам прошлого и руководимая доблестными военначальниками, заставит своего жестокого врага просить о пощаде. Вся русская армия с напряженным вниманием следит за подвигами французской армии. Она шлет своим собратьям по оружию пожелания окончательной победы и ждет только приказа о вступлении в бой против общего врага".

*Среда, 22 марта.*

Сегодня я снова провел вечер в Народном Доме, слушая Шаляпина в „Борисе Годунове", лучшей его роли. Лиризм Пушкина, реализм Мусоргского и драматическая сила Шаляпина так сплетаются между собой, что у зрителей создается полная иллюзия. Грозные события, вызванные появлением Лже-Димитрия, изображены в ряде рельефных и ярких сцен; это синтез целой эпохи; чувствуешь себя перенесенным во время и обстановку драмы; принимаешь участие вместе с действующими лицами, в их чувствах, страхах, насилиях, в

их слабости, безумствах, галлюцинациях. В сцене смерти Шаляпин, как всегда, оказался на величайшей высоте. Когда перезвон кремлевских колоколов возвещает жителям Москвы о приближении кончины самодержца, когда Борис, преследуемый призраком мученика царевича, снедаемый раскаянием, с блуждающим взором, нетвердой походкой и со сведенными членами, приказывает подать себе иноческое одеяние, в которое облекались, умирая, русские цари—тут настроение зрителей достигает наивысшего трагического ужаса.

Во время последнего действия г-жа С., сидящая в моей ложе, метко отмечает значительное место, уделяемое Мусоргским действию народных масс. Живописная толпа, окружающая главных артистов, не безразличная, однородная и инертная масса; она деятельна, она участвует во всех переживаниях игры, она всюду на первом плане. Хоровые партии многочислены; они необходимы для развития самой драмы. Через все действие проходит участие темных роковых сил, всегда являвшихся вершителями событий в великие моменты русской истории. Поэтому-то так очаровано внимание зрителя. Г-жа С. добавляет:

— Будьте уверены, что здесь, в этой зале, сотни, а может быть, и тысячи людей, присутствуя на представлении, думают только о событиях настоящего времени и видят уже перед собой близкую революцию. Я присутствовала при аграрных беспорядках 1905 года, я была тогда у себя в деревне в Саратовской губернии. В революции русский народ интересуется не политическими или социальными идеями; они для него непонятны; его привлекают зрелища, красные знамена, иконы, церковные песнопения, расстрелы, убийства, торжественные похороны, разрушение, разгул и на-

силия, пожары, особенно пожары, зарево которых так эффектно светится по ночам.

Живая от природы, она, говоря это, воодушевляется, словно присутствуя сама при этих ужасах. Внезапно оборвав разговор, она замечает тихим, задумчивым голосом:

— Мы принадлежим к породе людей, любящих зрелища. В нас слишком много артистического, слишком много воображения и музыкальности. Мы плохо кончим...

Она задумчиво смолкает; в ее больших светлых глазах—выражение ужаса...

*Четверг, 23 марта.*

Обед в посольстве; приглашены около двадцати русских. Среди них Шебеко, бывший послом в Вене в 1914 году; затем несколько поляков, граф и графиня Потоцкие, князь Станислав Радзивилл, граф Владислав Велепольский; несколько проезжих англичан.

После обеда разговор с Потоцким и Велепольским; оба, основываясь на сведениях, полученных ими из Берлина через Швецию, говорят следующее: „Возможно, что Англия и Франция, в конце-концов, победят, но Россия в настоящее время войну проиграла. Константинополя она, во всяком случае, не получит и помирится с Германией за счет Польши. Орудием этого примирения будет Штюрмер“.

Одна из приглашенных русских, княгиня В., женщина благородной души и образованная, подзывает меня к себе.

— Я в первый раз упала духом,—говорит она;— до сих пор я еще надеялась, но когда во главе пра-

вительства стал этот ужасный Штюрмер, я потеряла всякую надежду.

Я стараюсь ее несколько утешить; делаю это для того, чтобы она высказала свою мысль до конца; я настаиваю на том, что у Сазонова достаточно патриотизма, чтобы настоять на необходимости решительного продолжения войны.

— Это верно. Но неизвестно, сколько времени он сам пробудет у власти. Вы не представляете себе, что творится за его спиной и скрыто от него. Императрица ненавидит его за то, что он никогда не преклонялся перед подлым негодяем, бесчестящим Россию. Я не называю этого бандита по имени, я не могу без омерзения произносить это имя.

— Я понимаю, что вы взволнованы и опечалены. До известной степени я согласен с вами; но я не впадаю в полную безнадежность; чем труднее времена, тем больше надо проявлять твердости, и вы, более кого-либо другого, должны это делать,—всем ведь известна твердость вашего характера; она многих поддерживает.

Она замолкает на минуту, точно прислушиваясь ко внутреннему голосу, и затем говорит мне, с серьезным, покорным выражением:

— То, что я скажу, может показаться вам педантичным, нелепым. Я очень верю в фатализм—верю так же твердо, как верили поэты древности, Софокл и Эсхил, убежденные в том, что даже олимпийские боги подчинены року.

— „Me quoque fata regunt“—вы видите, что из нас двоих педантом являюсь я, цитируя латынь.

— Что значит это изречение?

— „Я тоже подчиняюсь року“ — это слова Юпитера в произведении Овидия.

— Да, видно со времен Юпитера ничего не изменилось! Судьба, попрежнему, правит миром и даже провидение ему подчиняется. Мои слова не очень в духе православия; я не решилась бы повторить их пред святейшим синодом. Но меня преследует мысль, что судьба толкает Россию к катастрофе, и я страдаю от этого, как от кошмара.

— Что вы подразумеваете под словом судьба?

— Об‘яснить это я не сумею. Я не философ; я засыпаю над всякой философской книгой. Но я вполне познаю чувством, что такое судьба. Помогите же мне выразить то, что я чувствую.

— Судьба — это сила вещей, закон необходимости, закон природы, управляющий вселенной. Удовлетворяет вас это определение?

— Нисколько! Если бы этим была судьба, то она меня не страшила бы. Несмотря на то, что Россия очень большое государство, я не думаю, чтобы победа или поражение ее могли бы очень интересовать великие силы, правящие миром.

Совершенно просто, лишь изредка подыскивая слова, она определяет судьбу: эти слепые, неотразимые и таинственные силы, случайно решающие мировые события. Силы эти неукоснительно исполняют свои начертания и никакие человеческие усилия, меры предосторожности и расчеты не в состоянии остановить их; силы эти принуждают самих нас служить им, помимо нашей воли.

— Возьмите, — продолжает она, — императора; разве ему не суждено вести Россию к погибели? Не поражает ли вас его неудачливость? Трудно накопить в одно

царствование столько неудач, поражений и бедствий! Что бы он ни предпринимал, даже самые лучшие его начинания не удаются ему или обращаются против него. Какой же, рассуждая последовательно, должен быть его конец? А императрица? Трудно найти в древней мифологии фигуру, заслуживающую большего сожаления! А отвратительный негодяй, имени которого я не хочу произносить? Разве и на нем нет печати рока? Чем можно об'яснить, что в такой трудный исторический момент судьбы самого большого государства в мире отданы в руки этих трех лиц? Неужели это не кажется вам предначертанием рока? Отвечайте напрямки!

— Вы очень красноречивы, но все же не переубедили меня. Я считаю, что слово „судьба“ для слабых натур есть индульгенция, которую они сами себе выдают, за свою уступчивость. Продолжаю оставаться, попрежнему, педантом и привожу новую латинскую цитату. У Лукреция есть удивительное место, определяющее силу воли: „Fatis avulsa potestas“, что можно перевести так: „сила, вырвавшаяся из-под гнета судьбы“. Наиболее пессимистически настроенный поэт признает, что с судьбой можно бороться.

После непродолжительной паузы княгиня говорит с печальной улыбкой:

— Как вы счастливы, что можете так думать! Сразу видно, что вы не русский. Обещаю вам подумать о ваших словах. Но, ради бога, милейший посол, забудьте все, что я вам сказала. А, главное,—не повторяйте ни пред кем моих слов; мне неловко, что я была столь откровенна с иностранцем.

— Но я же союзник!

— Не только союзник, но и друг... И, все же, вы для меня иностранец... Итак, я расчитываю на ваше

молчание, вы оставите при себе мои грустные мысли... А теперь вернемся к вашим гостям...

*Воскресенье, 26 марта.*

Страшная борьба под Верденом продолжается.

Несмотря на глубокие снега и холода, русские, для оказания нам поддержки, перешли в наступление кое-где на Двинском фронте. Вчера они имели успех в районе Якобштадта и к западу от озера Нароч.

*Понедельник, 27 марта.*

Захватывающим интересом отличается психология русских преступников; это неисчерпаемый источник самых разнообразных, противоречивых, сбивающих с толку, невероятных наблюдений, одинаково ценных для врача, моралиста, юриста, социолога. Нет народа, у которого в труднейшую и более грозную форму облекались бы трагедия совести, зачатки свободной воли и атавизма, и вопросы личной ответственности и уголовной санкции. Вот почему любимой темой русских писателей и драматургов является изображение душевных переживаний преступников.

Я внимательно слежу за судебной хроникой через переводчика, ежедневно дающего мне обозрения печати; могу заверить, что русская литература не преувеличивает действительности; очень часто действительность опережает плоды писательского воображения.

Я всего чаще наблюдаю внезапное пробуждение у русских религиозного чувства немедленно по удовлетворении желания убить или ограбить. Надо прибавить,—как я уже несколько раз упоминал в своем дневнике,—что религиозное сознание русских имеет

своим источником исключительно евангельские заветы. Христианское понимание искупления греха и раскаяния живет в душах самых ужасных преступников. Почти всегда после высшего напряжения воли и разряда энергии, этих спутников преступления, у русских наступает внутреннее крушение. Опустив голову, с потухшим взором и нахмуренным лицом, русский человек впадает в мучительное отчаяние; в нем начинается тяжелый внутренний процесс. Вскоре отчаяние, стыд и раскаяние, неотразимое стремление принести повинную и искупить свой грех—совершенно овладевают им. Он кладет поклоны перед иконой, бьет себя в грудь и в отчаянии взывает ко Христу. Душевное состояние его можно охарактеризовать словами Паскаля: „Бог прощает всякого, в чьей душе живет раскаяние".

Сказанное удивительно подтверждается эпизодом, рассказанным Достоевским в повести „Подросток". Отбывший воинскую повинность солдат возвращается к себе в деревню. Однообразная жизнь среди крестьян невыносима ему после привычек, привитых военной службой; своим односельчанам он тоже не нравится. Он опускается, пьянствует. Он доходит до того, что грабит проезжего. Подозрение падает на него, но прямых улик нет. На суде, благодаря ловкости его защитника, его ожидает оправдание. Внезапно он вскакивает и прерывает речь защитника: „Постой! Дай мне говорить! Я все скажу"... И признается во всем. Затем начинает рыдать, бьет себя в грудь и громко кается. Взволнованные, тронутые присяжные выходят для совещания. Через несколько минут они выносят ему оправдательный приговор. Публика аплодирует. Преступник свободен, но он не двигается с места, он в полном отчаянии; выйдя на улицу, он идет наугад,

в состоянии какого-то ошеломления. Проведя безсонную ночь, он впадает в угнетенное состояние, он отказывается от еды и питья и ни с кем не разговаривает. На пятый день его находят повесившимся. Крестьянин Макар Иванович, которому рассказали этот случай, заметил: „Вот что значит жить с грехом на душе".

*Среда, 29 марта.*

Бывший председатель совета министров Коковцов был сегодня у меня; я очень ценю его здравый патриотизм и ясный ум. Он, как и всегда, настроен пессимистически: мне даже кажется, что он старается скрыть от меня всю глубину своего отчаяния.

Говоря об общем внутреннем положении России, он придает большое значение деморализации русского духовенства. Его голос при этом дрожит и в нем слышится скорбное чувство; он заканчивает такими словами:

— Духовные силы страны переживают сейчас тяжелое испытание и вряд ли они его выдержат. Высшее духовенство почти сплошь находится в полном подчинении у Распутина и его клики. Это какая-то мерзкая болезнь, это гангрена, которая раз'едает церковный организм. Я готов плакать от стыда при мысли о тех гнусных проделках, на которые теперь пускается синод... Но для религии в России, в самом ближайшем будущем, есть не менее грозная опасность: это распространение революционных идей среди низшего духовенства, особенно среди молодых священников. Вы ведь знаете, как печально положение русских священников в материальном и в духовном отношениях. Деревенский поп живет обыкновенно очень бедно и теряет совершенно чувство собственного достоинства,

чувство стыда и уважение к своему сану и обязанностям. Крестьяне презирают его за праздность и за пьянство; между ними часто происходят ссоры из-за платы за требы, при этом, в случае чего, они готовы его оскорбить и даже побить. Вы не можете себе представить, сколько накопляется обиды и злобы в душе русского священника... Наши социалисты очень ловко воспользовались этим положением нашего духовенства. Уже лет десять как они ведут усиленную пропаганду среди деревенских попов, особенно среди молодежи. Таким образом, они вербуют борцов в ряды стофонников анархии и, кроме того, проповедников и учителей, влияющих на невежественную и мистически настроенную толпу. Вспомните роль, которую играл во время движения 1905 года священник Гапон: ведь, он оказывал какое-то прямо магнетическое влияние... Хорошо осведомленный человек говорил мне недавно, что революционная пропаганда проникает даже в духовные семинарии. Вы знаете, что семинаристы сплошь сыновья духовных лиц; по большей части они без всяких средств к существованию. То, что они в детстве видели в своей деревне, делает из них „униженных и оскорбленных“ Достоевского; поэтому ум их предрасположен к восприятию социалистического евангелия. А для того, чтобы окончательно сбить их с пути, их возбуждают против высшего духовенства, рассказывая о распутинских скандалах.

*Четверг, 30 марта.*

В секретном заседании бюджетной комиссии Думы закончено рассмотрение бюджета министерства иностранных дел. Сазонов несколько раз выступал. Он завоевал общее уважение и симпатию своим патрио-

тизмом, своей смелой откровенностью и высоким чувством долга. Таким образом, по этой части все обстоит благополучно.

Но в области внутренней политики, отношения между правительством и Думой становятся все более натянутыми и враждебными. Штюрмер за два месяца добился того, что теперь с сожалением вспоминают о Горемыкине. Вся бюрократия настроена очень реакционно. Если бы нарочно хотели вызвать революционный взрыв, то нельзя было бы ничего лучшего придумать! Я нисколько не удивлюсь, если начнутся еврейские погромы, провокация со стороны полиции и бесчинства черной сотни.

Думская левая особенно возмущается тем, что верховный суд приговорил к ссылке в Сибирь пять депутатов-социалистов за революционную пропаганду. Они были арестованы в ноябре 1914 г., когда Ленин, эмигрант, живущий в Швейцарии, начал свою пораженческую работу таким заявлением: „Русские социалисты должны желать победы Германии, т. к. поражение России повлечет за собой падение царского режима". Пять депутатов: Петровский, Шагов, Бадаев, Муранов и Самойлов, сначала обвинялись в измене; но затем это обвинение было изменено и их судили за попытку устройства восстания в армии. Известный адвокат Соколов и адвокат трудовик Керенский защищали их очень удачно, но приговор был, тем не менее, вынесен очень суровый.

В своей защитительной речи Керенский заявил: „Обвиняемые никогда не стремились вызвать брожение в армии; никогда не желали поражения нашей армии; они никогда не протягивали руки неприятелю через головы тех, кто умирает на фронте, защищая родину.

Напротив, они боялись, чтобы русские реакционеры не заключили союза с германскими реакционерами"... Этот намек на тайное соглашение между русским самодержавием и прусским абсолютизмом имеет большие основания. Но я столько же уверен, что ведется подпольная работа, что русские социалисты готовят измену, обращаясь для этого к худшим инстинктам рабочих и солдат.

*Суббота, 1 апреля.*

Был у Штюрмера по делу, касающемуся его министерства.

Приторно-любезно, но с видом искренности, он обещает мне очень много:

— Я прикажу своим подчиненным, ваше превосходительство, сделать все возможное для вас; а что они признают невозможным сделать, то я сделаю сам.

Я выслушиваю эти громкие слова и затем обращаюсь к нему уже не как к министру внутренних дел, а как к председателю совета министров, и указываю на те препятствия, которые бюрократия систематически чинит частным предприятиям, работающим на оборону; передаю ему несколько случаев, происшедших недавно и говорящих о недоброжелательном отношении администрации, об ее беспечности и допускаемом беспорядке.

— Я взываю к вашему высокому авторитету с надеждой, что вы прекратите эти скандальные злоупотребления, — говорю я.

— Помилуйте! Скандальные — это слишком сильно сказано, господин посол! Я могу допустить только некоторую небрежность и очень благодарен вам за указание на нее.

— Нет, то, что я вам передаю и за верность чего я ручаюсь, нельзя об'яснять одной небрежностью; тут есть и преднамеренность, есть систематическое чинение препятствий.

Приняв огорченный вид, прикладывая руку к сердцу, он уверяет меня, что администрация исполнена преданности, усердия, что она безупречно честна. Я еще более настаиваю на своих обвинениях; я доказываю цифрами, что Россия могла бы сделать для войны втрое или вчетверо больше; Франция, между тем, истекает кровью.

— Но мы потеряли же на полях битв до миллиона человек,—восклицает он.

— В таком случае Франция потеряла в четыре раза больше, чем Россия.

— Каким образом?

— Расчет очень простой. В России 180 миллионов населения, а во Франции 40. Для уравнения потерь, нужно, чтобы ваши потери были в четыре с половиной раза больше наших. Если я не ошибаюсь, то в настоящее время наши потери доходят до 800.000 человек... И при этом я имею в виду только цифровую сторону потерь...

Он возводит глаза к небу:

— Я никогда не умел оперировать с цифрами. Но одно могу вам сказать, что наши несчастные мужики безропотно отдают свою жизнь.

— Я это знаю; ваши мужики бесподобны; но я жалуюсь на ваших чиновников.

Он с величественным видом поднимает брови, выпрямляется и говорит:

— Господин посол, я сейчас же проверю все то, что вы были так добры мне сообщить. Допущены были

ошибки и виновные будут беспощадно наказаны. Вы можете расчитывать на мою энергию.

Я благодарю его наклонением головы. Он продолжает в том же тоне:

— Я очень мягок по природе, но когда дело идет о пользе царя и России, я не остановлюсь ни перед какими строгостями. Будьте во мне уверены. Все пойдет хорошо; да, все пойдет хорошо, с божьей помощью.

Я ухожу, заручившись этими пустыми обещаниями, и очень жалею, что он не обратил внимания на мой намек на численное значение русских и наших потерь. Мне хотелось бы ему об'яснить, что, при подсчете потерь обоих союзников, центр тяжести не в числе, а совсем в другом. По культурности и развитию, французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 мил. жителей 150 м. неграмотных [1]). Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения, наши потери чувствительнее русских потерь. Говоря так, я вовсе не забываю, что жизнь самого невежественного человека приобретает бесконечную ценность, когда она приносится в жертву. Когда убивают злополучного мужика, то нельзя произносить над ним такое напутствие: „Ты был неграмотен и твои загрубелые руки годились только для плуга... И потому ты не много дал, пожертвовав своей жизнью“... Я далек от мысли повторять про этих незаметных героев презрительные слова Та-

[1]) Совершенно неверные сведения. *Примеч. переводч.*

цита, сказанные им о христианских мучениках: „Si interissent, vile damnum“. (Невелика беда от их гибели). Но с политической точки зрения, с точки зрения реальной помощи союзу, доля французов значительно больше.

*Воскресенье, 2 апреля.*

Военный министр ген. Поливанов смещен и на его место назначен Шуваев, человек очень недалекий.

Отставка ген. Поливанова — большая потеря для союзников. Он привел в порядок, насколько это было возможно, военное управление; он положил предел, насколько это было в его силах, ошибкам, небрежности и хищениям, случаям измены, столь процветавшим при его предшественнике, генерале Сухомлинове. Он был не только выдающимся администратором, методичным и находчивым, честным и бдительным—у него было редкое стратегическое чутье, и генерал Алексеев, который не очень любит чужие советы, с его указаниями очень считался.

Он, по убеждениям, был либерал, но остался в то же время вполне лояльным; у него было много друзей в Думе среди октябристов и кадетов, возлагавших на него надежды. Он казался им надежной опорой государственного строя, способным защитить его как от безумств самодержавия, так и от крайностей революции.

Доверие к нему Думы вредило ему в глазах императрицы. Старались подчеркнуть его сношения с лидером октябристов, Гучковым, личным врагом их величеств. И вот еще раз, по слабости характера, император пожертвовал одним из лучших своих слуг.

Но меня уверяют, что отставка ген. Поливанова не предвещает какого-либо изменения во внутренней политике. Император недавно еще приказал Штюрмеру избегать столкновений с Думой.

*Четверг, 6 апреля.*

Максим Ковалевский скончался после краткой болезни.

Он родился в 1851 г. и был профессором Московского университета и членом Государственного Совета; одна из наиболее ярких фигур кадетской партии [1]).

Его идеалом была справедливость и он обладал качеством, столь редким в России... и не только в России: терпимостью. Антисемитизм возмущал его до глубины души. Как-то, рассказывая мне о безобразиях по отношению к евреям со стороны существующего режима, он привел слова Стюарта Милля: „В цивилизованной стране не должно быть париев“. Во время нашей последней беседы он дал мне понять, что ясно видит серьезное положение России и всю трудность изменения существующего строя без разрушения всего здания. Особенно беспокоило его невежество народа. И в этом он соглашался со Стюартом Миллем, сказавшим: „Для возможности всеобщего голосования необходимо образование“.

Пропорционально числу жителей, Россия—страна, следующая за Китаем в смысле небольшого числа образованных и утонченных людей. Поэтому кончина М. М. Ковалевского является, с национальной точки зрения, очень чувствительной утратой.

---

[1]) См. запись в дневнике от 13 сентября 1915 г.—М. М. Ковалевский никогда в кадетской партии не состоял. *Прим. перевод.*

*Понедельник, 10 апреля.*

Обедаю у Донона с графом и графиней Потоцкими, князем Радзивиллом и его племянницей, княгиней Радзивилл, графом Броель-Плятером, князем Владиславом Велепольским и др.

Общество чисто польское и потому все высказываются совершенно свободно.

Из того, что говорится из сообщаемых фактов в смягченных выражениях — я заключаю, что война, для которой Центральная и Западная Европа так напрягает все свои военные и политические способности, — и морально, и материально не по плечу России.

После обеда Велепольский отзывает меня в сторону и высказывается совершенно откровенно:

— Я учился, в свое время, в берлинском университете и, сознаюсь, у меня осталось глубокое и, скажу, отрадное впечатление о том времени. Тем не менее, я глубоко ненавижу Пруссию и я вполне лойяльный подданный Николая. Но следы немецкого воспитания остались во мне, и когда я начинаю „philosophieren“ о России... то...

И обильным подбором исторических аргументов, он старается доказать мне, что, при всей своей внешней мощи, Россия наиболее слабая из воюющих сторон и потому должна первая сдать, — она мало производит, вследствие своей общей отсталости; но с другой стороны, слабо развитое национальное самосознание не может сопротивляться разлагающему действию долгой войны.

*Вторник, 11 апреля.*

Третьего дня бои у Вердена достигли, повидимому, наибольшего напряжения и ожесточения. Яростный натиск германских атак нами успешно отбит по всей линии.

Никогда еще во всей нашей истории душа французов не поднималась до такой высоты. Савонов, чуткий по природе, говорил со мной об этом сегодня.

*Среда, 12 апреля.*

Князь Константин Броель-Плятер уезжает в Лондон, Париж и Лозанну, для совещания со своими соотечественниками-поляками.

Я пригласил его сегодня к завтраку; были еще князь Владислав Велепольский и князь Иосиф Потоцкий; больше никого не было, и мы могли говорить совершенно свободно.

На основании вчерашней конфиденциальной беседы с Сазоновым, я мог уверить их в том, что император, попрежнему либерально настроен по отношению к Польше.

Велепольский ответил мне на это:

— Я совершенно спокоен относительно намерений императора и Сазонова. Но Сазонов может не сегодня — завтра исчезнуть с политической арены. И в таком случае, чем мы гарантированы против слабости императора?

Плятер считает, что Сазонов должен взять в свои руки решение польского вопроса и сделать его международным.

Я решительно восстаю против этой мысли. Предложение сделать польский вопрос международным вызвало бы взрыв негодования в русских националистических кругах и свело бы на нет симпатии, завоеванные нами в других слоях русского общества. Сазонов также резко воспротивился бы этому. А банда Штюрмера подняла бы крик против западной демократиче-

ской державы, пользующейся союзом с Россией для вмешательства в ее внутренние дела. Я прибавляю:

— Вы знаете, как к Польше относится французское правительство. Я могу вас уверить, что оно не перестает заботиться о вас. Но ее содействие будет тем действительнее, чем оно будет меньше заметным, чем меньше будет оно носить оффициальный характер. Я же пользуюсь каждым случем говорить с министрами о Польше; я узнаю, выясняю их взгляды, их колебания и их возражения по поводу сложной и трудной задачи провозглашения польской независимости. Рассматриваемые даже, как только частные мнения, их неоднократные заявления (ни один из них, даже Штюрмер, не решался возражать при мне против намерений императора по отношению к Польше) создают нечто вроде нравственного обязательства, которое даст возможность французскому правительству, при окончательном решении, выступить с исключительной авторитетностью.

Плятер обещает поговорить в таком направлении со своими соотечественниками; но он не скрывает от меня, что ему трудно будет переубедить их.

*Пятница, 14 апреля.*

Несмотря на опасность, продолжительность и трудность путешествия, почти каждую неделю кто-нибудь да приезжает сюда из Франции—офицеры, инженеры, коммерсанты, журналисты и т. д. Те, кто остаются надолго и кто от природы наблюдательны, говорят мне, что они неприятно поражены сдержанным и даже холодным отношением либеральных русских кругов к Франции.

К несчастью, это так. Взять хотя бы газету „Речь“, оффициальный орган кадетов,—это один из органов печати, особенно охотно замалчивающих наши военные действия и редко удостаивающих похвалы наши войска; эта газета особенно охотно отмечает медлительность и ошибки нашей стратегии. За исключением Милюкова, Шингарева, Маклакова и некоторых других, большинство в к.-д. партии все еще не может забыть своего давнего и упорного недоброжелательства к Антанте.

Недовольство это началось десять лет тому назад. После неудачной японской войны, по всей России начались бунты, забастовки, заговоры, убийства правительственных агентов, восстания во флоте и армии, аграрные беспорядки, погромы. Казна в то время была совершенно пуста. Велись переговоры о займе в два миллиарда двести пятьдесят миллионов франков на парижском денежном рынке. Эмиссия была очень соблазнительна для наших банков и нашей прессы. Правительство Республики не могло сразу решиться дать согласие на эту операцию, так как наша крайняя левая требовала, чтобы условия займа были представлены на утверждение Государственной Думы, которая в таком случае стала бы диктовать свои условия царскому правительству. Конечно, граф Витте противился этому всеми силами. Положение французского радикального кабинета, под председательством Леона Буржуа, было очень щекотливое: давать ли Франции деньги на поддержку монархического абсолютизма в России? В столкновении между русским народом и самодержавием на чью сторону должна стать Франция: на сторону угнетателей или—угнетаемых? Одно обстоятельство заставило наших министров согласиться на ходатайство император-

ского правительства. Обстоятельство это было неизвестно французскому общественному мнению. Дело заключалось в том, что отношения между Францией и Германией в то время были очень натянутые; Алжезирасский договор был лишь дипломатическим перемирием. С другой стороны, мы знали о ловких интригах императора Вильгельма, которыми он старался опутать Николая, с целью заключить с ним союз, который Франции пришлось бы допустить. Можно ли было при таких условиях разрывать с царизмом? В апреле 1906 года правительство Республики согласилось на реализацию русского займа. Этим оно оставалось верно основному началу нашей внешней политики: считать мирное развитие мощи России главным залогом нашей национальной независимости. Но такая политика Франции вызвала взрыв возмущения в демократических кругах Думы.

И это чувство живо до сих пор.

*Суббота, 15 апреля.*

Я был с визитом у г-жи Танеевой, супруги статс-секретаря и директора канцелярии его величества, матери г-жи Вырубовой.

Я давно не был у нее, хотя мне всегда приятно беседовать с ней, в ее старинных покоях в Михайловском дворце; она хранит так много воспоминаний о старине. Ее отец, генерал-ад'ютант Илларион Толстой, был близок ко двору Александра II; ее дед по матери князь Александр Голицын, состоял при великом князе Константине Николаевиче во время его наместничества в Польше. Кроме того, вот уже сто лет, как в семье Танеевых от отца к сыну переходит место директора канцелярии его величества.

Она как-то показывала мне дневник своей бабушки, княгини Голицыной, времен польского восстания 1830—31 г. Из него видно, как неверно русские понимали тогда Польшу, и с каким великодушием они прощали полякам три преступные раздела их родины...

Но сегодня я говорил с ней не о Польше, а старался расспросить ее об ее дочери, г-же Вырубовой, о разнообразных обязанностях, которые она несет при дворе с неослабным усердием, к которому ее обязывает доверие императрицы.

— Да, — сказала она, — моя бедная Аня иногда страшно устает. Ни минуты покоя... С тех пор, как император уехал в ставку, императрица завалена работой; она хочет быть в курсе всех дел. Этот славный Штюрмер с ней постоянно советуется. Она готова работать. Но, в результате, моей дочери приходится писать массу писем, нести массу хлопот.

*Среда, 19 апреля.*

Вчера русские взяли Трапезунд. Успех этот, быть может, оживит в умах мечту о Константинополе, о котором почти совсем забыли за последнее время.

*Четверг, 20 апреля.*

Сегодня страстной четверг и, согласно обычаю, послы и посланники католических держав были сегодня в парадной форме у обедни в часовне Мальтийского ордена.

В тесной церкви, украшенной восьмиугольными крестами, перед креслом Великого Магистра Ордена и при виде латинских надписей, я, как и в прошлом году, вспоминаю о причудах безумного Павла. Как и в прошлом году, торжественная литургия напоминает

мне о потерях, понесенных Францией, о тысячах погибших, число которых продолжает расти. Будут ли когда-либо снова принесены такие жертвы? Особенно вспоминаю я героев Вердена, которые так возвеличили извечные французские доблести, которые так просто и вдохновенно шли на подвиг.

*Пятница, 21 апреля.*

И в этом году Пасха по русскому и грегорианскому календарю совпадает.

К вечеру, княгиня Д..., которая отличается широтой взглядов, и любит „ходить в народ", повезла меня по церквам, расположенным в рабочих частях города.

Мы недолго остаемся в блестящей и роскошной Александро-Невской Лавре; едем затем в небольшую церковь Воздвижения Креста Господня, близ Обводного канала, в Троицкий собор в конце Фонтанки, наконец, в церковь Св. Екатерины и Храм Воскресения, что расположен у Невы, среди заводов и верфей.

Всюду яркое освещение, всюду прекрасное пение — чудные голоса, превосходная техника, глубокое религиозное чувство. На всех лицах отражение глубокой, мечтательной, смиренной и сосредоточенной набожности.

Мы остаемся больше всего в церкви Воскресения, где толпа особенно проникновенно настроена.

Вдруг княгиня Д... толкает меня локтем:

— Посмотрите, — говорит она, — разве это не трогательно!

И глазами она указывает мне на молящегося крестьянина, стоящего в двух шагах от нас. Ему лет под пятьдесят; на нем заплатанный полушубок; он высокого роста, чахоточного вида; лицо плоское; морщини-

стый лоб; редкая с проседью борода; впалые щеки. Руки прижаты к груди и судорожно сжимают картуз. Несколько раз он прижимает сложенные пальцы ко лбу и к груди и шепчет синеватыми губами: „Господи помилуй". После каждого возгласа, он испускает глубокий вздох и глухой и скорбный стон. Затем он опять становится неподвижным. Но лицо остается выразительным. Фосфорическим светом горят его светлые глаза, которые видят что-то невидимое.

Княгиня Д... мне шепчет:

— Смотрите! В эту минуту он видит Христа...

Провожая мою спутницу до дому, говорю с ней о религиозном чувстве русских; я привожу слова Паскаля: „Вера—это познание бога сердцем". И спрашиваю, не думает ли она, что можно сказать: „Для русских, вера—это есть Христос, познаваемый сердцем".

— Да, да,—восклицает она,—совершенно верно!

*Суббота, 22 апреля.*

Сазонов с раздражением говорил мне сегодня утром:

— Братиано продолжает свою игру. У него был вчера полковник Татаринов, русский военный атташе в Букаресте, прибывший из Румынии с докладом императору. По его мнению, соглашение русского главного штаба с румынским главным штабом легко достигнуть при условии русского наступления в Добрудже. Его переговоры с генералом Илиеско позволяли ему думать, что принципиально конвенция уже закончена на основании этих переговоров. Но когда он прощался с Братиано, то последний твердо заявил требование, чтобы русская армия поставила себе главной и немедленной целью взятие Рущука, для защиты Букареста от нападения со стороны болгар. Генерал Алексеев

считает, что это требование, не принимающее во внимание затруднительность перехода в 250 километров по правому берегу Дуная, указывает лишний раз на желание Братиано уклониться от заключения военной конвенции.

— А в Париже непременно скажут,—прибавляет Сазонов,—что это Россия противится вмешательству Румынии в войну.

*Воскресенье 23 апреля.*

На Неве ледоход; быстро несутся громадные льдины из Ладожского озера; это конец „ледникового периода“.

Возвращаясь с конца Английской набережной, где я был с визитом, вижу камергера Б.; он с трудом пробирается по мокроте, а ветер пронизывающий, резкий. Я предлагаю ему сесть ко мне в экипаж. Он соглашается и начинает развивать свои пародоксальные фантазии, которые иногда полны блеска и виртуозности, достойной Ривароля.

На Сенатской площади, где возвышается памятник Петру I, это чудное произведение Фальконета, я еще раз любуюсь величественным монументом царя законодателя, который с высоты своего коня, поднявшегося на дыбы, как будто повелевает течением Невы. Б. снимает фуражку.

— Привет тебе,—говорит он,—величайший революционер!

— Разве Петр I был революционером? Он мне представляется скорее реформатором, грубым, стремительным, не знающим меры, без сомнений и жалости, но обладающим великим творческим духом и инстинктом порядка и иерархии.

— Нет! Петр Алексеевич был мастер только разрушать. И в этом он был глубоко русским. Со своим

диким деспотизмом он все рубил с плеча, все разрушал. В продолжение 30 лет он пребывал в состоянии восстания против своего народа; он воевал со всеми нашими национальными привычками и обычаями; он все поставил вверх дном, даже нашу святую православную церковь... Вы считаете его реформатором? Но истинный реформатор считается с прошлым, различает возможное от невозможного, смягчает переходы, подготовляет будущее. Разве он так действовал? Он разрушал во имя свирепой радости разрушения, для грубого удовольствия сваливать препятствия, для насилия над совестью, для уничтожения всех самых естественных и законных чувств... Когда теперешние анархисты мечтают о разрушении социального строя для коренной перестройки его, они, сами того не ведая, вдохновляются Петром Великим; они, как он, также страстно ненавидят прошлое; они, как и он, считают возможным переродить народную душу при помощи указов и казней...

— Пусть так. Но я, все-таки, желал бы, чтобы он воскрес. Он 21 год вел войну со шведами и... кончил тем, что продиктовал им мир. Он теперь продолжал бы еще год или два войну с бошами... Ему нашлась бы работа, этому титану воли...

## III. Вивиани и А. Тома в Петрограде.

*Понедельник, 24 апреля.*

Бриан телеграфировал мне, что министр юстиции Вивиани и Альбер Тома, товарищ министра артиллерии и военных снабжений, направляются в Петроград для установления еще более тесных отношений между французским правительством и русским.

Я немедленно уведомляю Сазонова, который обещает подготовить им наилучший прием. Обещание это он дает очень охотно и любезно, но я замечаю у него тайное беспокойство: он долго расспрашивает об Альбере Тома, пламенный и заразительный социализм которого ему не по душе.

Я указываю ему на поведение Альбера Тома во время войны, говорю об его патриотизме, его редком уме, умении работать, его стремлении поддержать согласие между рабочими и предпринимателями, одним словом, о всем его напряжении сил и таланта для служения „священному союзу“.

Сазонов, как человек сердечный, тронут моим панегириком.

— Я передам все, что вы мне сказали, императору. А вы хорошо сделаете, если сами повторите то же самое Штюрмеру и его присным.

*Вторник, 25 апреля.*

Я был сегодня днем на чашке чая у княгини Л..., очень приятной пожилой дамы. Ее сохранившиеся тонкие черты и живость речи очаровательны и отражают ее светлый ум, чуткое сердце и разумную снисходительность, которая бывает у тех, кто много жил и много любил. Я застал у нее ее близкого друга, графиню Ф..., муж которой занимает крупную должность при дворе.

Мое появление прерывает их беседу, которая, повидимому, касалась невеселой темы. Вид у обоих удрученный. Графиня Ф... почти немедленно уехала. Разговаривая с графиней, я замечаю, что в ее глазах отражается какая-то скорбная, неотступная мысль. Мне хочется узнать, в чем дело.

Я вспоминаю, что граф Ф... очень близок к государю и государыне и что он не скрывает ничего от своей жены; я начинаю издалека расспрашивать мою собеседницу:

— Как себя чувствует император? Я давно ничего о нем не слышал.

— Император попрежнему в ставке и, кажется, никогда так хорошо себя не чувствовал.

— Он не возвращался на Пасху в Царское Село?

— Нет! Он впервые не был вместе с императрицей и детьми у Пасхальной заутрени. Но он не мог оставить Могилев: говорят, скоро начнется наше наступление.

— А как императрица?.

На этот как будто простой вопрос, княгиня отвечает взглядом и жестом, полным отчаяния. Я молю ее

об‘яснить мне, в чем дело. Она мне рассказывает следующее:

— Представьте себе, что в прошлый четверг, когда императрица причащалась в Федоровском соборе, она пожелала, она приказала, чтобы Распутин причащался вместе с ней. И этот негодяй причастился тела и крови Христовых рядом с ней... Вот, о чем мне только что говорила мой старый друг, графиня Ф... Как это ужасно! Вы видите, я совершенно расстроена.

— Да, это ужасно. Но, в сущности, императрица только последовательна. Раз она верит в Распутина, раз она считает его праведником и святым, преследуемым фарисеями, раз она сделала его своим духовным руководителем, своим ходатаем перед Христом,—то вполне естественно, что она хочет видеть его рядом с собой в самую важную минуту своей религиозной жизни. Я должен сказать, что эта бедная, сбитая с толку душа внушает мне глубокое сострадание.

— Будьте сострадательны, господин посол, к ней—но также и к нам. Подумайте, какое будущее нам все это готовит...

*Среда, 26 апреля.*

„Ничего“. Вот слово, которое чаще всего повторяют русские люди. Постоянно, по всякому поводу произносят они его беспечным или безразличным тоном. „Ничего“ в переводе: это все равно, это ничего не значит.

Это выражение настолько обычно, настолько распространено, что приходится видеть в нем черту национального характера.

Во все времена были эпикурейцы и скептики, обличавшие тщету человеческих усилий, даже находившие наслаждение при мысли о всеобщем самообмане.

Идет ли речь о власти, о богатстве, о наслаждении— Лукреций всегда прибавляет: „Nequicquam!“, что значит, в переводе: „Одна суета“. Но значение русского „ничего“ совсем другое. Этот способ умалять цель стремлений или заранее признавать тщету всякого начинания является обыкновенно только самооправданием, извиняющим отказ от стойкого проведения своих намерений.

Вот несколько дополнительных сведений, из очень верного, хотя и секретного источника, об участии Распутина в причащении императрицы.

Обедню служил отец Васильев в разолоченной нижней церкви Федоровского собора; церковь эта небольшая и архаичная по формам; ее стройный купол выделяется на фоне высоких деревьев императорского парка и кажется пережитком или воскрешением московского прошлого. Царица присутствовала с тремя старшими дочерьми; Григорий стоял позади нее вместе с Вырубовой и Турович. Когда Александра Федоровна подошла к причастию, она взглядом подозвала „старца“, который приблизился и причастился непосредственно после нее. Затем перед алтарем они обменялись братским поцелуем. Распутин поцеловал императрицу в лоб, а она его в руку.

Перед тем „старец“ подолгу молился в Казанском соборе, где он исповедался в среду вечером у отца Николая. Его преданные друзья, г-жа Г... и г-жа Т..., не оставлявшие его ни на минуту, были поражены его грустным настроением. Он несколько раз говорил им о своей близкой смерти. Так, он сказал г-же Т... „Знаешь ли, что я вскоре умру в ужаснейших страданиях. Но что же делать? Бог предназначил мне высокий подвиг погибнуть для спасения моих дорогих государей

и Святой Руси. Хотя грехи мои и ужасны, но все же я маленький Христос"... В другой раз, проезжая с теми же своими поклонницами мимо Петропавловской крепости, он так пророчествовал: „Я вижу много замученных; не отдельных людей, а толпы; я вижу тучи трупов, среди них несколько великих князей и сотни графов. Нева будет красна от крови".

Вечером в пятницу на Страстной Распутин уехал в свое село Покровское, близ Тобольска; г-жа Т. и г-жа Г. поехали вслед за ним туда же.

*Четверг, 27 апреля.*

Я посетил сегодня г-жу Д., которая отправляется в свое имение, расположенное в черноземной полосе, к югу от Воронежа.

Она человек серьезный и деятельный; очень интересуется жизнью крестьян; она разумно заботится об их благосостоянии, их образовании, их нравственности. Я расспрашиваю ее об религиозных чувствах русских крестьян. Она считает их веру очень простой и наивной, но глубокой, мечтательной, проникнутой мистицизмом и полной суеверий. Особенно легко они верят в чудеса. Личное вмешательство божества в человеческие дела им нисколько не кажется противоестественным, а, напротив, вполне понятным. Раз бог всемогущ, то что же удивительного в том, что он исполняет наши молитвы и дарует иногда подтверждение своего милосердия и доброты? По их представлениям, чудо—явление редкое, исключительное, необ'яснимое, на которое нельзя рассчитывать, но которое, само по себе, кажется им совершенно естественным. Наше понятие о чуде, как раз обратное, предполагает знание сил природы и их законов. Знакомство с научными методами и с есте-

ственными науками является основой веры в сверх'-естественное или его непризнания.

Затем г-жа Д. указывает мне еще на одну черту, очень характерную для русских крестьян и очень жуткую: их способность неожиданно и внезапно переходить из одной крайности в другую,—от покорности к бунту, от апатии к бешенству, от аскетизма к разгулу, от кротости к свирепости; она кончает такими словами:

— Мужиков наших потому так трудно понять, что в их душе таятся одновременно самые противоположные возможности... Вернувшись домой, возьмите Достоевского и найдите в „Братьях Карамазовых" то место, где он дает образ „мечтателя" и тогда вы никогда не забудете моих слов.

*Воскресенье, 30 апреля.*

Сегодня вечером Кшесинская выступила в Мариинском театре в „Жизели" и „Пахите", в этих шедеврах прежнего балетного искусства, столь условного и акробатического; в этом жанре блистали когда-то Фанни Эльслер и Тальони. Недостатки и достоинства главной исполнительницы еще подчеркивают архаизм обоих балетов. Кшесинская лишена всякого шарма, увлечения и поэзии; но старые ценители восхищаются холодным и строгим стилем танца, неизменной силой ее пуантов, механической точностью ее антраша, головокружительной легкостью пируэтов.

В последнем антракте я захожу в аванложу директора императорских театров Теляковского. Там поют дифирамбы искусству Кшесинской и ее партнера Владимирова. Старик флигель-ад'ютант говорит мне с тонкой улыбкой:

— Наше восхищение кажется вам несколько преувеличенным, господин посол, но для нас, для людей моих лет, в искусстве Кшесинской есть что-то, для вас, быть может, неуловимое.

— Что же именно?

Он предлагает мне папиросу и продолжает в минорном тоне:

— Прежний балет, которым я восхищался в молодости,—к сожалению, это было около 1875 г. в царствование незабвенного императора Александра II,—тот балет давал картину того, чем было и чем должно было быть русское общество. Порядок, выдержка, симметрия, законченность. И в результате,—тонкое удовольствие и возвышенное наслаждение. Теперешние же ужасающие балеты, этот „русский балет“, как вы его зовете в Париже, распущенный и отравленный, ведь это революция, это анархия...

*Понедельник, 1 мая.*

Англичане 29 апреля понесли серьезное поражение в Месопотамии. Генерал Тоуншенд, укрепившийся в Кут-Эль-Амара на Тигре, принужден был сдаться, за истощением продовольствия и снарядов, после ста сорока восьми-дневной осады; от гарнизона оставалось всего 9.000 человек.

В то же время в Ирландии вспыхнуло восстание, подготовленное германскими агентами. В Дублине происходили настоящие кровопролитные бои между восставшими и английскими войсками; лилась кровь и горели дома. Кажется, в конце концов, порядок был восстановлен.

*Среда, 3 мая.*

Русское верховное командование обменялось телеграммами с французским по поводу уже давно обещанного выступления Румынии.

Генерал Алексеев указывает на то, сколь чрезмерны и неразумны требования румынского генерального штаба; генерал Ильеско об'явил, что не может удовлетвориться условиями, уже принятыми, а именно: 1) наступлением Салоникской армии, с целью оттянуть часть болгарских сил и 2) вступлением русских войск в Добруджу, для нейтрализации остальной части болгарской армии. Теперь он требует занятия русскими всей местности у Рущука, на правом берегу Дуная. Генерал Алексеев совершенно правильно заявил генералу Жоффру следующее: „Это новое требование заставило бы нас занять всю линию Варна, Шумла, Разгрод и Рущук. Даже если-бы мы согласились на эту операцию, которая передвинет наш центр к югу и на самый левый фланг, Румыния немедленно пред'явила бы новые требования, чтобы выиграть время до того момента, когда румыны, как они уверены, без жертв могут получить то, к чему стремятся. Нужно дать понять Румынии, что ее присоединение к союзу не безусловно необходимо союзникам. Она может, однако, в будущем рассчитывать на компенсацию, соответствующую затраченным ею военным усилиям".

Генерал Жоффр сообщает мне о полном своем согласии с генералом Алексеевым:

„Я, как и он, думаю, что полезно раз'яснить Румынии, что ее участие в войне желательно, но что без него можно обойтись; если Румыния желает в будущем получить те компенсации, к которым стремится, она

должна оказать существенную военную помощь в требуемой нами форме“.

*Четверг, 4 мая.*

Вивиани и Альбер Тома прибудут сюда завтра вечером. Вчера в газетах сообщалось об их приезде; это известие произвело на всех сильное впечатление. Имя А. Тома полно значения для рабочих. Другие чувства вызывает оно в правых кругах. Сегодня был у меня Коновалов, московский депутат, либерал, владелец больших бумагопрядилен, человек с широкими взглядами, сочувствующий всем гуманитарным утопиям; он был у меня, как представитель Военно-Промышленного Комитета; он товарищ его председателя. С ним был один из его политических друзей, Жуковский, председатель Комитета Торговли и Промышленности. Коновалов передает мне, что председатель военно-промышленного комитета Гучков не может быть у меня, так как он задержан болезнью в Крыму, и от его лица выражает желание возможно скорее вступить в сношения с Альбером Тома:

— Наш центральный комитет сосредоточивает в себе работы всех местных комитетов; он состоит из 120 депутатов от союза городов и земского союза, от петроградского и московского самоуправлений, от губернских земств и, наконец, от рабочих. Из 120 депутатов—10 рабочих. Мои коллеги и я очень хотели бы, чтобы Альбер Тома посетил наше заседание; мы много ждем от его речи и все, что он скажет, станет известным на заводах.

Я отвечаю, что считаю это не только возможным, но и желательным, что, действительно, его речи находят отклик и у рабочих, и у предпринимателей; но что

я рассчитываю, что комитет благоразумно не допустит обращения этого посещения в политическую демонстрацию...

*Пятница, 5 мая.*

Сегодня утром арестован и отправлен в Петропавловскую крепость бывший военный министр, генерал Сухомлинов. Известно, что он допускал крупные злоупотребления. Утверждают, что, кроме того, он изменник; но я в этом сомневаюсь, если подразумевать под изменой сношения с врагами. Я не думаю, чтобы он был сообщником полковника Мясоедова, повешенного в марте 1915 г., по всей вероятности, он только закрывал глаза на преступления этого изменника, который был его посредником по части получения взяток. Но я готов верить, что, из ненависти к великому князю Николаю Николаевичу и из политических соображений, он тайно противодействовал планам верховного командования. Его сознательным бездействием и скрыванием истинного положения был вызван кризис в снабжении снарядами, эта главная причина первоначальных неудач.

Вивиани, г-жа Вивиани и Альбер Тома прибыли сегодня около 12 часов ночи на Финляндский вокзал. Путь их из Парижа лежал через Христианию и Торнео.

Протекшие 22 месяца наложили свой отпечаток на Вивиани; он стал более вдумчивым, более сдержанным. На спокойном и чистом лице г-жи Вивиани отражается неутешное горе,—сын ее от первого брака убит в самом начале войны. Альбер Тома, которого я раньше не встречал, дышет физической и духовной бодростью; он исполнен энергии, под'ема; он ясно понимает положение.

Я сопровождаю своих друзей в Европейскую гостиницу, где их будут довольствовать за счет дворцового ведомства. Их там ждет ужин.

Пока они подкрепляются, Вивиани излагает мне цель их миссии:

— Мы приехали вот для чего: 1) выяснить военные рессурсы России и постараться дать им большее развитие; 2) настаивать на посылке 400.000 человек во Францию, партиями по 40.000 человек; 3) повлиять на Сазонова в том смысле, чтобы русский генеральный штаб больше шел бы навстречу Румынии; 4) постараться получить какие-либо обещания относительно Польши.

Я им отвечаю:—„Что касается первого пункта, то вы сами увидите, что можно сделать; думаю, однако, что вы не будете недовольны работой, проделанной за последние месяцы Земским Союзом и Военно-Промышленным Комитетом. Но Алексеев не согласен на отправку 400.000 человек; он находит, что по отношению к громадной длине русского фронта число хорошо обученных резервов слишком мало; он в этом убедил императора; но если вы будете настаивать, то добьетесь, может быть, посылки нескольких бригад. Что же касается Румынии, то Сазонов, и генерал Алексеев с вами вполне согласны; но затруднение не здесь, а в Бухаресте. О Польше советую говорить только перед самым от'ездом,—тогда вы увидите, можно ли поднимать этот вопрос, в чем я сильно сомневаюсь".

*Суббота, 6 мая.*

После завтрака в посольстве, Вивиани, Альбер Тома и я отправляемся в Царское Село.

Вивиани всю дорогу задумчив и озабочен; его, видимо, тревожит мысль, как Николай II примет те за-

явления, которые ему поручено сделать. Альбер Тома, напротив, весел, полон оживления, в ударе; его очень забавляет перспектива предстать перед императором. Он обращается к себе самому: „Дружище Тома, ты очутишься лицом к лицу с его величеством, царем и самодержцем всея Руси. Когда ты будешь во дворце, свое собственное присутствие там будет для тебя всего удивительнее“.

У вокзала в Царском Селе нас ожидают два придворных экипажа. Я сажусь вместе с Альбером Тома; в другой садятся Вивиани и главный церемонимейстер Теплов.

После некоторого молчания, Альбер Тома начинает:

— Мне хотелось бы кое-с-кем повидаться, пока я в Петрограде, совершенно интимно. Мне будет неловко перед своей партией, если я вернусь во Францию, не повидавшись с ними. Прежде всего с Бурцевым...

— Ого!

— Но он держал себя очень хорошо во время войны; он выступал с патриотическими речами пред французскими и русскими товарищами.

— Я это знаю. Это и было главным основанием, которое я использовал для его возвращения из Сибири, по поручению нашего правительства, поручению, между прочим, очень щекотливому. Но я тоже знаю, что у него idée fixe убить императора... Вспомните, перед кем вы сейчас предстанете. Посмотрите на эту роскошную красную ливрею на козлах. И вы поймете, что ваша мысль увидеться с Бурцевым не очень-то мне по душе.

— Так вам это кажется невозможным?

— Подождите конца вашего пребывания здесь; тогда мы еще раз поговорим об этом.

Перед Александровским дворцом большое скопление экипажей. Вся императорская фамилия была сегодня в сборе по случаю именин императрицы и теперь возвращается в Петроград.

Нас торжественно ведут в большую угловую залу, выходящую в парк. Видны ярко освещенные лужайки; ясное небо; деревья, освободившиеся, наконец, от снежного покрова, как будто потягиваются на солнце. Несколько дней тому назад по Неве еще шел лед, а сегодня почти совсем весна.

Входит император; лицо его свежее, глаза улыбаются.

После представления и обмена обычными любезностями, наступает долгое молчание.

Победив смущение, которое всегда овладевает им при первом знакомстве, император указывает на свой китель, украшенный только двумя крестами, георгиевским и французским военным.

— Как видите, я всегда ношу ваш военный крест, хотя я его не заслужил.

— Не заслужили? Как можно!—восклицает Вивиани.

— Конечно, нет, ведь такая награда дается героям Вердена.

Снова молчание. Я заговариваю:

— Государь, Вивиани приехал для переговоров с вами о чрезвычайно важных вопросах, о вопросах, решить которые не могут ни ваш генеральный штаб, ни ваши министры. И потому мы обращаемся непосредственно к вашему высокому авторитету...

Вивиани излагает то, что ему поручено; он говорит с той увлекательностью, с тем жаром и с той мягкостью, которые ему дают такую силу убеждать других. Он рисует

картину Франции, истекающей кровью, безвозвратно утратившей цвет своего населения. Его слова трогают императора. Он удачно приводит яркие примеры героизма, ежедневно проявляемые под Верденом. Император прерывает его:

— А немцы уверяли до войны, что французы неспособны быть солдатами.

На это Вивиани отвечает очень метко:

— Это действительно, государь, правда: француз не солдат—он воин.

Затем начинает говорить Альбер Тома, на ту же тему, приводя новые доказательства.

Его классическое воспитание и педагогический навык, желание произвести благоприятное впечатление, сознание громадного значения разговора и исторической важности аудиенции—все это придает его речи и всему его существу свойство как бы излучения.

Император, которого его министры не балуют таким красноречием, видимо тронут; он обещает сделать все возможное для развития военных ресурсов России и принять еще более близкое участие в операциях союзников. Я записываю его слова. Аудиенция окончена.

В четыре часа мы возвращаемся в Петроград.

*Понедельник, 8 мая.*

Сегодня завтрак у г-жи Сазоновой с Вивиани, его супругой и Альбером Тома. Другие приглашенные—председатель совета министров с супругой, министр финансов с супругой, военный министр, морской министр и т. д.

Завтрак прошел гладко. Вивиани прекрасный собеседник; печальное лицо г-жи Вивиани вызывает все-

общее сочувствие; Альбер Тома нравится всем живостью своего ума и остроумием.

После завтрака разбиваемся на группы; говорим о делах.

Я вижу, что Альбер Тома беседует со Штюрмером. Я приближаюсь к ним и слышу:

— Заводы ваши работают недостаточно напряженно,—говорит Альбер Тома;—они могли бы производить в десять раз больше. Нужно было бы милитаризировать рабочих.

— Милитаризировать наших рабочих!—восклицает Штюрмер...—Да в таком случае вся Дума поднялась бы против нас...

Так рассуждали в лето 1916 самый яркий представитель социализма и представитель русского самодержавия!

*Вторник, 9 мая.*

Вивиани и Альбер Тома завтракают у меня сегодня; они уезжают сегодня днем в ставку; г-жа Вивиани тоже присутствует за завтраком. Я не пригласил больше никого, так как после того, что мы так много говорили с ними о России, мне хочется поговорить немного и о Франции, где я не был уже два года.

Все, что они мне рассказывают о проявлениях французского духа на фронте, прекрасно и укрепляет мою уверенность. Но сколько мелочного, сколько недостойного в мире политики! В Бурбонском дворце порой как будто забывают, что мы воюем. Таким образом, наградой за мое жестокое изгнание является возможность видеть Францию только как бы в историческом освещении, видеть ее в ореоле славы и величия.

*Среда, 10 мая.*

Новый американский посол, Ромуальд Фрэнсис, заменивший симпатичного Мери, был у меня с первым визитом.

Покончив с обменом обычных любезностей, я стараюсь навести моего собеседника на разговор о войне. Но напрасно. Фрэнсис уклоняется и отделывается бессодержательными фразами. Заключаю, что американское общественное мнение не прониклось важностью тех нравственных принципов, из-за которых ведется война.

*Четверг, 11 мая.*

Вивиани вернулся из ставки, а Альбер Тома поехал в провинцию осматривать заводы.

Вивиани не совсем доволен своей поездкой. Начальник главного штаба встретил его холодно, или во всяком случае сдержанно, чему я нисколько не удивляюсь. Генерал Алексеев яркий реакционер, убежденный сторонник традиций монархического начала, самодержавия и православия. Вмешательство в военные дела не военного человека, да еще какого—социалиста! Это, конечно, показалось ему величайшим нарушением порядка.

Вивиани, прежде всего, вручил ему личное письмо генерала Жоффра, с просьбой немедленно его прочесть. Генерал Алексеев его прочел, но ничего не сказал.

Вивиани продолжал:—Кроме того, генерал Жоффр поручил мне на словах передать вашему превосходительству следующее: он надеется между первым и пятнадцатым июля начать на фронте операцию очень широких размеров; он был бы рад, если бы и вы могли начать наступление не позже 10-го июля, так чтобы

не более месяца прошло между обоими наступлениями, тогда немцы не смогут перебросить подкреплений с одного фронта на другой.

Генерал Алексеев ответил кратко:

— Я вам очень благодарен; я буду обсуждать этот вопрос с генералом Жоффром через генерала Жилинского [1]).

Состоялось затем совещание под председательством императора. Вивиани очень красноречиво отстаивал посылку 400.000 русских во Францию, по 40.000 человек в месяц. Генерал Алексеев понемногу сдался, но прения были продолжительны и тягучи. В конце концов император высказал свою волю. Пришли к следующему решению: сверх бригады, уже отправленной 15 июля в Салоники, послать еще 5 бригад по 10.000 человек в каждой во Францию между 14 августа и 15 декабря.

Я поздравляю Вивиани с достигнутым результатом. Но еще далеко до 400.000 человек, на которых мы рассчитывали.

*Пятница, 12 мая.*

Только что приехал генерал Жанэн, который сменил генерала Лагиша на посту нашей военной миссии в России.

Он сегодня завтракал у меня. Простой и веселый, с живым умом, гибким и многосторонним, он придется русским по душе.

---

[1]) Представитель русского высшего командования при французской главной квартире.

*Суббота, 13 мая.*

Я получил от варшавской знакомой, уехавшей в Киев, письмо, полное критики, недоверия, упреков, проклятий по адресу поляков, работающих над восстановлением Польши. Ее горячий и бурный патриотизм никого не щадит. Увы! поймут ли когда-нибудь поляки необходимость дисциплины в общей работе?

Вся история Польши до разделов может служить темой для работы „о последствиях индивидуализма в политике“.

*Понедельник, 15 мая.*

Сегодня днем у меня в посольстве прием французской колонии в Петрограде, с целью познакомить ее членов с Вивиани и Альбером Тома.

Парадные ливреи, открытый буфет, речи, оркестр, много народу, затягивающийся прием... Все это раньше было для меня тяжелой обузой. Теперь же, при полной отреванности от родины, мне бесконечно приятно быть среди французов.

*Вторник, 16 мая.*

Вивиани и Альбер Тома приглашены на завтрак к княгине Марии Павловне; г-же Вивиани нездоровится; она не может присутствовать. Великая княгиня попросила меня сесть за стол против нее, чтобы дать ей возможность посадить Вивиани справа от себя, а Альбера Тома слева. Остальные приглашенные—княгиня Орлова, князь Сергей Белосельский, графиня Шувалова, Димитрий Бенкендорф и свита. Завтрак прошел очень оживленно. С обеих сторон большая предупредительность.

Великая княгиня сияет от удовольствия. Несмотря на свое немецкое происхождение—или именно по этой

причине—она при всяком удобном случае старается подчеркнуть свою симпатию к Франции. Достаточно было бы и этой причины для об'яснения сегоднешнего приглашения. Но это еще не все. Великая княгиня уже давно втайне лелеет мечту видеть на престоле одного из своих сыновей, Бориса или Андрея. И потому она всегда стремится выступать в видных ролях, что упускает делать императрица. С этой точки зрения для нее очень важно, чтобы все знали, что единственно она одна из всей императорской фамилии принимала у себя уполномоченных французского правительства.

Сегодня вечером Государственная Дума и город дают банкет в честь Вивиани и Альбера Тома.

Председатель Думы Родзянко взял на себя устройство этого демонстративного торжества. Этого было достаточно, чтобы министры насторожились, тем более, что банкет был встречен общим сочувствием и превратился в политическое событие. Будет не меньше 400 участников. Все партии, даже крайние правые, а особенно левые, будут представлены. Ни один из министров не считает возможным уклониться от участия на банкете. Присутствуют и английский, и японский, и итальянский послы. Нелегко было решить вопрос о речах. Сначала министры решили, что им не следует выступать в собрании, носящем частный характер. Мне пришлось дать понять Сазонову, что если ни один из представителей правительства не согласится говорить, то я посоветую Вивиани не присутствовать на банкете. В конце концов все уладилось. Решено было, что Сазонов произнесет тост от имени правительства.

Встречают нас в зале банкета очень горячо. Родзянко занимает место во главе почетного стола, я справа от него, Вивиани слева; около меня справа председатель

совета министров Штюрмер, от него справа—Альбер Тома.

Банкет затянется; меню очень большое, а подают очень медленно, а кроме того еще будут речи. Таким образом, я проведу часа два в обществе председателя Думы и председателя совета министров.

От Родзянко я много нового не услышу. Его высокий и могучий рост, прямой взгляд, глубокий и задушевный голос, его шумливая энергия, даже его неловкие слова и поступки—все это указывает на его искренность, прямоту, смелость. У нас с ним хорошие отношения. Он неутомимо защищает правое дело.

К Штюрмеру же мне еще нужно присмотреться. Я не знаю, почиет ли он со временем в „благоухании святости“, как говорят мистики, но знаю, что сейчас от него исходит аромат фальши. Он прикрывает личиной добродушия и приторной вежливостью низость, интриганство и вероломство. Взгляд его, колкий и в то же время умильный, искательный и бегающий, отражает честолюбивое и лукавое лицемерие. Но он не без лоска; у него есть интерес к истории, особенно истории анекдотической и красочной. Каждый раз, как я с ним встречаюсь, я расспрашиваю его о русском прошлом и мне всегда интересно его слушать. Ближе изучать его необходимо уже в виду высокого поста, им, правда, по воле случайности, занимаемого.

За банкетом мы говорим с ним об Александре I и его таинственной кончине, о Николае I и его нравственной агонии во время Крымской кампании. Я по этому поводу подчеркиваю, что в интересах России и Франции всегда было итти рука об руку; я напоминаю ему, что еще в 1856 г. мой блестящий предшественник, герцог Морни, задумал союз с Россией, и, если бы его

послушались, теперь все было бы по другому. Штюрмер отвечает:

— Герцог Морни! Как он был бы мне по душе. Я перечел, кажется, все, что о нем написано. Мне кажется, у него были основные качества государственного человека: любовь к родине, энергия и смелость.

Я прерываю его:

— У него были два качества, еще более ценные: чутье реального и умение выполнять задуманное.

— Действительно, оба эти качества необходимы. Но в управлении нужно прежде всего не бояться брать на себя ответственность и улавливать связь событий. Кстати, вон там сидит наш милейший князь Александр Николаевич Оболенский, градоначальник. Он верный слуга его величества, я его очень люблю. Но одного поступка я не могу простить ему. Он был рязанским губернатором в 1910 г., когда Толстой так странно умер на станции Астапово. Вы помните, как вся его семья следила за тем, чтобы не допустить к нему священника. Будь я на месте Оболенского, я не колебался бы ни минуты: я удалил бы силой семью и насильно ввел бы к нему священника. Оболенский возражает, что он не получил распоряжений, и что семья Толстого имела право так поступать, и т. д. Но разве можно говорить о праве и нужны ли распоряжения, когда дело идет о возвращении души Толстого в лоно святой церкви?

Что подумали бы Вивиани и Альбер Тома, услышав такие слова? Но вот начинаются тосты. Тост Родзянко патриотичен, банален и напыщен, мой тост чисто формальный, тост Сазонова бледен и натянут.

Присутствующие поют русский гимн. Затем Шаляпин, гениальный Шаляпин, поет Марсельезу; его дикция так прекрасна, стиль его так величествен,

сила лиризма и страстности такова, что в зале проносится дуновение революционного энтузиазма, дух Дантона. Я еще раз убеждаюсь приэтом, как легко воодушевляется русская публика.

В эту минуту общего под'ема Вивиани начинает свою речь. Опытный парламентский оратор, он чувствует, что аудитория просит горячего слова. Его пламенная дикция, его широта, смелые жесты, его взор, то восторженный, то нежный, мощный ритм его речи вызывают восторг. Когда он восклицает: „Не бывать сепаратного мира. Будем воевать вместе! Вот договор чести, нас связующий! Так мы будем идти до конца, до того дня, когда попранное право будет отомщено... мы обязаны этим перед своими умершими,—иначе они всуе пожертвовали жизнью. Мы обязаны этим перед грядущими поколениями“ и т. д.—ему не дают кончить, зал дрожит от рукоплесканий. Шаляпин, с вдохновенным лицом, с глазами, полными слез, поспешно подходит к почетному столу. Просят его снова спеть Марсельезу; он поднимается на эстраду, и снова великий гимн потрясает сердца.

Министры переглядываются с беспокойством, как бы спрашивая друг у друга: „Что это такое? Что же еще будет?“

Поднимается лидер думской кадетской партии в Думе, Василий Алексеевич Маклаков.

Он говорит на прекрасном французском языке. Слова его и жесты резки. Прежде всего он напоминает, что он всегда был сторонником мира, и прибавляет, что остался и сейчас закоренелым пацифистом, но это не мешает ему быть страстным сторонником этой войны: „ведь эта война будет самоубийством войны; ведь, в день заключения мира мы так перекроим карту

Европы, что войны уже будут не нужны". Он кончает речь свою обращением к Франции, к той Франции, к голосу которой должен прислушиваться весь мир, той Франции, которая в XVIII веке провозгласила бессмертные принципы, символы идей пацифизма, к Франции, которая создаст в будущем вечный мир, который и сейчас называют французским миром.

Энтузиазм присутствующих достигает высшей степени. Лица министров еще более вытягиваются. Смотря на них, я понимаю, что приезд всякого французского политического деятеля в их глазах связан с пропагандой демократических идей.

Во время речи Маклакова Альбер Тома с трудом себя сдерживает. Его глаза горят. Я жду, что вот-вот он встанет и разразится ораторской импровизацией. Но Родзянко уже произносит прощальные слова. Мы выходим при громе рукоплесканий.

Вивиани, Альбер Тома и я задерживаемся на несколько минут в вестибюле и обмениваемся впечатлениями о банкете. По поводу речи Маклакова я говорю:

— Прекрасная речь; она произведет в России большое впечатление. Но как наивно предполагать, что предстоящий мир будет вечным; я представляю себе, наоборот, что теперь-то и начнется эра насилий, и что мы сеем семена новых войн.

Подумав немного, Альбер Тома отвечает:

— Да, за этой войной еще лет десять войн... лет десять войн...

*Среда, 17 мая.*

Вивиани и Альбер Тома были сегодня с прощальным визитом у Сазонова.

Я с ними не поехал, чтобы не придавать официальности их беседе; они хотели говорить главным образом о Румынии и Польше.

Относительно Румынии Сазонов заявил, что очень желает ее присоединения к Антанте.

— Но я не могу, — прибавил он, — считать ее серьезным союзником, пока Братиано не согласится заключить с нами военную конвенцию.

Что касается Польши, то Сазонов очень упорно указывал на опасность для союзников вмешательства, даже самого незаметного, французского правительства в польский вопрос.

Таким образом, результат миссии Вивиани сводится к посылке 50.000 человек во Францию или, скорее, к обещанию это сделать.

Но влияние Альбера Тома принесло реальную пользу. Его удивительная работоспособность, его практичность подействовали подбодряющим образом на промышленные силы, работающие на оборону. Но надолго ли хватит этого? Ему очень удачно помогал один из наших сотрудников, Лушер, крупный подрядчик правительственных работ, человек, очень много сделавший для под'ема промышленности во Франции.

В 1 час дня Вивиани и Альбер Тома завтракают у меня в последний раз с великим князем Николаем Михайловичем и с японским, английским и итальянским послами.

Николай Михайлович, „Николай Эгалитэ“, интересующийся передовыми идеями и новыми людьми, говорил мне: „Я очень хочу познакомиться с Альбером Тома“.

Кажется, это знакомство ему очень по душе, по крайней мере он к нему в высокой степени внимателен.

В семь часов вечера миссия в полном составе уезжает во Францию через Архангельск.

*Четверг, 18 мая.*

Сегодня вечером в Народном Доме идет „Дон-Кихот“. Слушая Шаляпина, я испытываю то же наслаждение, как два месяца тому назад. Сам Сервантес был бы, я думаю, восхищен такой передачей своего образа—передачей, выявляющей в Дон-Кихоте черты и индивидуализма, и широты, и комичности, и трогательности, и каррикатурности, и общечеловечности. Никогда дух великого не был лучше воспринят.

И публика столь же интересна, как и в прошлый раз; те же улыбки снисхождения и симпатии к рыцарю искателю приключений, к этому герою, в котором кротость, великодушие, покорность судьбе, терпение и мудрость уживаются с безумием, сумасбродством, верой во все невозможное, податливостью на всякое очарование, беспомощному перед действительностью.

*Пятница, 19 мая.*

Генерал Алексеев с неослабной настоятельностью торопит подготовление крупного наступления, которое он думает начать в первых числах июня. Центром боевых действий будет Галиция, по Стрыпе и по Пруту, между Тарнополем и Черновицами; во главе операции будет стоять генерал Брусилов. Меня уверяют, что войска, благодаря наступившему теплу, настроены прекрасно.

Сегодня у меня обедают испанский посол, граф Картахена, княгиня Орлова, княгиня Белосельская, княгиня Кантакузен, граф Сигизмунд Велепольский, граф Кутузов, леди Мюриэль Пэджет, лэди Сибилла Грэ и др.

Княгиня Белосельская и княгиня Кантакузен недавно получили письма от своих мужей с армянского и с буковинского фронтов; обе дамы тоже подтверждают, на основании этих писем, что настроение у солдат боевое. То же самое говорят лэди Мюриель и лэди Сибилла, которые только об'езжали свои лазареты на Волыни.

*Воскресенье, 21 мая.*

Правитель канцелярии Штюрмера, достойный исполнитель его низких замыслов, несравненный Мануйлов, был сегодня у меня, чтобы сообщить о пустяшном моем деле с полицией. Покончив с делом, мы с ним разговариваем. С большой искренностью,—не всегда же он лжет,—в самых мрачных красках изображает он внутреннее положение; он особенно обращает мое внимание на распространение революционного духа в армии.

Я возражаю ему, приводя те благоприятные отзывы о духе войск, которые мне передавали третьего дня.

— Все это верно, но верно только относительно частей на фронте. В тылу же полное разложение. Во-первых, тыловые части ровно ничего не делают или во всяком случае недостаточно заняты. Вы знаете, что зима самое неудобное время для военного обучения. Но в этом году это обучение проходило в особенно сокращенном и упрощенном виде, за недостатком ружей, пулеметов, орудий, а главное—из-за недостатка в офицерах. Кроме того, солдаты очень скверно помещены в казармах. Их набивают, как сельдей в бочку. В Преображенских казармах, рассчитанных на 1.200 человек, помещаются 4.000 человек. Представьте себе их жизнь в душных и темных помещениях! Они проводят целые ночи в разговорах. Не забывайте, что среди них есть представи-

тели всех народностей империи, всех религий и сект, есть даже евреи. Это прекрасный бульон для культуры революционных бактерий. И наши анархисты, конечно прекрасно это понимают.

— А что думает по этому поводу Штюрмер?

— Штюрмер просит только не мешать ему и будьте уверены, ваше превосходительство, что он сумел бы управиться.

*Понедельник, 22 мая.*

Приезд Вивиани и Альбера Тома оставили глубокий след во всех слоях общества.

Будучи здесь, Жозеф де-Меестр, тонкий наблюдатель французской революции, заметил, как я теперь вижу, совершенно правильно: „Во французском характере, в самом французском языке есть какая-то необычайная сила прозелитизма. Вся нация — одна сплошная и широкая пропаганда“.

*Вторник, 23 мая.*

В Трентино, между Эчем и Брентой, сильное наступление австрийцев заставило итальянцев оставить свои позиции. В Италии большое волнение; уже говорят о необходимости отхода фриульской армии, чтобы не быть отрезанной от Ломбардии занятием неприятелем Вичелицы и Падуи.

У Вердена вновь ожесточенные бои. После блестящего приступа французы захватили форт Дуамон.

*Среда, 24 мая.*

В 1839 г. Николай I говорил маркизу Кюстину: „Республику я понимаю, это строй определенный и недвусмысленный или, во всяком случае, могущий быть

таковым. Я, конечно, понимаю абсолютную монархию, раз я сам стою во главе такого строя. Но представительной монархии я понять не могу; это строй, основанный на лжи, на обмане, на испорченности. Я готов был бы скорее отступить до границ Китая, чем согласиться на его установление“.

*Пятница, 26 мая.*

Подвожу итог моего дня:

Сегодня утром П... сообщил мне тревожные сведения о революционной пропаганде на фабриках и в казармах.

Днем княгиня Н., не принадлежащая к партии императрицы, но близкая к Вырубовой, рассказывала мне, что Распутин на днях убеждал государыню, „что нужно беспрекословно слушаться божьего человека“. Он ей затем сообщил, что после своего причащения на Пасхе он чувствует в себе новые силы против своих врагов и считает себя более чем когда-либо защитником, ниспосланным провидением императорской фамилии в святой Руси. Александра Федоровна со слезами восторга бросилась на колени перед ним и просила его благословения.

Вечером в клубе я слышал такие слова: „Если Дума не будет разогнана, мы пропали“... и затем длинное рассуждение о необходимости вернуть царскую власть к чистым основам московского православия.

В заключение я вспоминаю предсказание г-жи Тенсэн, сделанное в 1740 г. о французской монархии: „Если только не будет личного вмешательства божества, физически невозможно, чтобы правительство не сломало себе шеи“.

Но я думаю, что пройдет не сорок лет, а едва ли даже сорок месяцев до падения русского режима.

*Суббота, 27 мая.*

Король Виктор Эмануил телеграфировал императору прося его ускорить общее наступление русской армии для облегчения итальянского фронта.

Посол Карлотти изо всех сил хлопочет о том же.

*Понедельник, 29 мая.*

Вера в царя, в его справедливость, в его доброту все еще живет в сердцах крестьян. И этим об'ясняется всегдашний успех Николая II, когда он непосредственно обращается к крестьянам, солдатам или к рабочим.

В то же время народ убежден больше, чем когда-либо, в том, что бюрократия и чиновники извращают или не выполняют благую волю царя. Никогда так часто не повторялись русские поговорки:

„Жалует царь, да не милует псарь“. „Царь-то сказал: да, но его собачка тявкнула: нет“.

*Вторник, 30 мая.*

Графиня Н., приятельница Вырубовой, таинственно пригласила меня сегодня к себе на чашку чая. Взяв с меня обещание молчать, она сказала мне следующее:

— Сазонов будет, повидимому, вскоре удален; я решила вас предупредить об этом. Их величества к нему очень плохо относятся. Штюрмер исподтишка ведет против него очень деятельную кампанию.

— Но что же он ему ставит в вину?

— Он его обвиняет в либерализме, в уступчивости по отношению к Думе. Он еще ставит ему в вину,— вы ведь обещали мне никому не передавать моих

слов,—то, что он слишком поддается вашему влиянию и влиянию Бьюкенена... Вы знаете, что императрица, к несчастью, ненавидит Сазонова; она его ненавидит за его отношение к Распутину, которого он называет антихристом, а Распутин, со своей стороны, уверяет, что Сазонов отмечен печатью дьявола.

— Но ведь Сазонов человек очень религиозный. А что говорит император?

— В настоящее время он совершенно подчиняется императрице.

— Вы слышали об этом от Вырубовой?

— Да, от Ани... Но, ради Бога, не говорите никому об этом!...

*Среда, 31 мая.*

С тех пор, как Штюрмер стоит у власти, влияние Распутина очень возросло. Этот мужик-чудотворец все более становится политическим авантюристом и пройдохой. Кучка еврейских финансистов и грязных спекулянтов, Рубинштейн, Манус и др., заключили с ним союз и щедро его вознаграждают за содействие им. По их указаниям, он посылает записки министрам, в банки и разным влиятельным лицам. Я видел такие записки — это грязные каракули, грубо повелительные по стилю. Никто ни в чем не смеет ему отказать. Назначения, повышения, отсрочки, милости, подачки, субсидии—так и сыплются по его приказанию.

Если дело особенно важно, то он передает записку непосредственно царице и прибавляет:

„Вот. Сделай это для меня".

И она сейчас же отдает распоряжение, не подозревая, что работает на Рубинштейна и Мануса, которые в свою очередь стараются для Германии.

*Четверг, 1 июня.*

Я был поражен сегодня утром видом Сазонова: он бледен, глаза ушли в орбиты, вид подавленный. Он жалуется на сильное нервное переутомление, лишающее его сна и аппетита; он собирается поехать отдохнуть на несколько недель в Финляндию. С начала войны он часто страдает мигренями и бессонницей. Это наша общая судьба. Даром нам не проходят заботы и работа такая тяжелая, напряженная и еще в таком климате. Но на этот раз меня беспокоит не его здоровье; его состояние об'ясняется скрытыми неприятностями, о которых я узнал вчера.

*Пятница, 2 июня.*

Греческое правительство держит себя совершенно недопустимо; его соглашение с болгарским правительством вполне очевидно. Личное участие в этом короля Константина не подлежит сомнению.

Долгая беседа по этому поводу с Сазоновым; я получаю от него разрешение телеграфировать в Париж, что он заранее согласен на все меры, какие Англия и Франция сочтут нужным принять по отношению к Греции.

Итальянцы между Эчем и Брентой несколько оправились. Австрийское наступление почти приостановлено.

*Воскресенье, 4 июня.*

По просьбе Виктора Эмануила император повелел ускорить наступление на Волыни и Галиции. Операция, решительно начатая генералом Брусиловым, развивается пока успешно.

*Вторник, 6 июня.*

Я говорил о крестьянах с княгиней Ш... председательницей общества распространения кустарных изделий

из дерева, кожи, рога, железа и материи, в которых выражаются художественный вкус русских крестьян, и их способность к своеобразной художественной орнаментации.

Поэтому она глубоко сожалеет об изменениях, происходящих за последние пятнадцать лет в духовном и нравственном облике деревни, в связи с развитием крупной промышленности:

— Сахарные и винокуренные заводы, бумагопрядильни, фабрики, бесчисленные мастерские, вырастающие теперь, как из-под земли, оказывают свое влияние на крестьян и распространяют среди них привычки, потребности и взгляды, к которым они совершенно не подготовлены своим прошлым. Переход слишком быстрый для их первобытного сознания. Высокая плата привлекает крестьян на фабрику, а это развращает целые округа. Подумайте, ведь, за исключением городов, до последнего времени деньги редко встречались в деревне. Во многих местах существовала меновая торговля: меняли овес на тулуп или на водку; за лошадь или за плуг платили работой [1]. Теперь же все изменилось. Крестьяне по большей части утратили простоту нравов, но в то же время, по своей отсталости, не могут подняться до новых условий. Они совершенно сбиты с пути, запутались... Если бог не отвратит от нас революции по окончании войны, то быть в деревне большой беде.

---

[1]) Автор дневника был введен в заблуждение. В самых глухих углах России давно все покупают и продают за деньги.

*Примеч. переводчика.*

*Четверг, 8 июня.*

Наступление генерала Брусилова развивается блестяще. Оно начинает даже походить на победу.

За несколько дней австро-германский фронт отодвинут на протяжении 150 километров. Русские взяли 40.000 пленных, 80 орудий и 150 пулеметов.

На итальянском фронте, к востоку от Третино, бои продолжаются; но австрийское наступление приостановлено.

*Пятница, 9 июня.*

С московских времен русские не были, быть может, настолько русскими, как теперь.

До войны их врожденная склонность к странствиям периодически толкали их на Запад. Высший круг раз или два раза в году слетался в Париже, Лондоне, Биаррице, Канн, Риме, Венеции, Баден-Бадене, Карлсбаде. Более скромные круги—интеллигенты, адвокаты, профессора, ученые, доктора, артисты, инженеры—ездили учиться, лечиться и для отдыха в Германию, в Швейцарию, в Швецию, в Норвегию. Одним словом, большая часть как высшего общества, так и интеллигенции, по делу или без дела, но постоянно, иногда подолгу, общалась с европейской цивилизацией. Тысячи русских отправлялись за границу и возвращались с новым запасом платья и галстуков, драгоценностей и духов, мебели и автомобилей, книг и произведений искусства. В то же время они, сами до того не замечая, привозили с собой новые идеи, некоторую практичность, более трезвое и более рациональное отношение к жизни. Давалось это им очень легко, благодаря способности к заимствованию, которая очень присуща славянам

и которую великий „западник“ Герцен называл „нравственною восприимчивостью“.

Но за последние двадцать два месяца войны между Россией и Европой выросла непреодолимая преграда, какая-то китайская стена. Вот уже два года, как русские заперты в своей стране, как им приходится вариться в собственном соку. Они лишены подбодряющего и успокаивающего средства, за которым они отправлялись раньше на Запад и это в такую пору, когда оно им всего нужнее. Известно, что для страдающих нервами, склонных к подавленности, необходимы развлечения; особенно полезны и поддерживают путешествия, которые дают толчек их деятельности, их вниманию.

Поэтому я нисколько ни удивляюсь, видя вокруг себя многих людей, раньше казавшихся мне совершенно здоровыми, а теперь страдающими утомлением, меланхолией и нервностью, несвязностью мыслей, болезненною легковерностью, суеверным и раз'едающим пессимизмом.

*Суббота, 10 июня.*

Интрига против Сазонова, кажется, не удалась. Повидимому, он чувствует свое положение вновь упрочившимся. Во всяком случае вид у него лучше и он меньше жалуется на усталость. Но все-таки он дает понять, что очень нуждается в отдыхе.

*Воскресенье, 11 июня.*

Финансист Г..., который сильно заинтересован в промышленных преприятиях в Варшавском и Лодзинском округах, очень верно заметил мне:

— При заключении мира, разрешение польского вопроса готовит большие неожиданности. Привыкли

смотреть на этот вопрос с национальной точки зрения в освещении горестного прошлого и героически-романтических легенд. Но когда наступит решительный момент, появятся еще два очень важных факта — это социалистический и еврейский элементы... За последние 30 лет социал-демократия в Польше страшно усилилась; рост ее можно измерить все увеличивающимся числом рабочих. В Лодзи в 1859 г. было 25.000 жителей, а в 1880 г. уже 100.000 тысяч, теперь же их насчитывается 460.000 человек. А такие фабричные центры, как Сосновицы, Томашев, Домброва, Люблин, Кельцы, Радом, Згерж, тоже растут с неимоверной быстротой. Пролетариат там хорошо организован и везде обнаруживает могучую жизнеспособность. Его нисколько не интересуют исторические мечтания великих польских патриотов. В восстановлении Польши пролетариат видит только возможность осуществить свою экономическую и социальную программу. Будьте уверены, что пролетариат заговорит громким и решительным голосом... Евреи также примут участие. Они разделяют идеи польской социал-демократии, но, кроме того, у них есть своя собственная организация, чисто еврейская. Евреи очень интеллигентны, очень смелы, очень фанатичны. Польские гетто — это очаги анархизма...

*Четверг, 15 июня.*

Русские продвигаются к Тарнополю и Черновицам; они перешли Стрыпу и Днестр. Общее число взятых или пленных доходит до 153.000.

*Пятница, 16 июня.*

У меня обедало несколько близких друзей. Стол накрыт в парадной зале, широкие окна которой выходят на

Неву. Обед назначен на $9^1/_2$ часов вечера: таким образом, мы сможем любоваться необычайной картиной северного неба во время летнего солнцестояния.

Мы садимся обедать, когда еще совсем светло. Но от Охты до крепости весь берег освещен фантастическим светом. На первом плане река, отливающая темно-зелеными металлическими тонами, испещренная порой красными отблесками, похожими на кровь. Дальше, крыши казарм, купола церквей, фабричные трубы выделяются на грозном темно-красном фоне, переливающем лиловатым, желтоватым цветом. Краски все время меняются каждую минуту. Как будто от руки какого-то алхимика, от руки библейского кузнеца титана Тувал-Каина краски разгораются, сияют, слабеют, сливаются, переливаются, исчезают; одно за другим проходят самые разнообразные сочетания. То эта картина напоминает какой-то катаклизм в природе, то извержение вулкана, то разрушающиеся стены, то блеск громадной печи, то свечение метеора, то сияние апофеоза.

К 11 часам небо бледнеет, фантасмагория угасает. Небо затягивается прозрачной пеленой, серебристой и жемчужной дымкой. Кое-где чуть заметно мерцают звезды. В тишине и полумраке город спокойно засыпает.

В половине первого, когда мои гости расходятся, розовый просвет со стороны востока уже предвещает близкую зарю...

*Воскресенье, 18 июня.*

В Буковине русская армия перешла Прут и заняла Черновицы; передовые части достигли молдавского Серета у Старочинца.

*Понедельник, 19 июня.*

Начальник генерального штаба генерал Беляев, один из наиболее образованных и добросовестных

офицеров русской армии, отправляется во Францию для выяснения некоторых вопросов, касающихся заказов по снабжению армии. Он сегодня завтракал у меня.

Прежде всего, я поздравляю его с победами, которые генерал Брусилов продолжает одерживать в Галиции—вчера он занял Черновицы.

Он принимает мои поздравления очень сдержанно; что вполне согласно с его скромностью и осторожностью.

Мы возвращаемся в большую гостиную, закуриваем сигары: я его спрашиваю:

— Что вы скажете о войне и с какими впечатлениями вы уезжаете?

Взвешивая каждое слово, он отвечает мне:

— Император более чем когда-либо твердо намерен продолжать войну до победного конца, пока Германия не будет принуждена принять наши условия, все наши условия. Поскольку его величество соизволил высказаться во время последнего моего доклада, у меня нет в этом никаких сомнений. Наше положение за последние дни значительно улучшилось в Галиции, но мы еще не начинали действовать на германском фронте. В лучшем случае, нам предстоит тяжелая и продолжительная борьба. Я говорю, конечно, только с точки зрения стратегической: я не говорю об условиях финансовых, дипломатических и других. Я еду в Париж договариваться о том, чтобы наша армия, предпринимающая теперь громадные усилия, богатая людьми, не терпела бы отсутствия снарядов. Самый важный и нетерпящий отлагательств вопрос—это вопрос тяжелой артиллерии. Генерал Алексеев каждый день требует тяжелых орудий, а у меня больше нет для него ни одной пушки, ни одного снаряда.

—Но 70 тяжелых орудий выгружены же в Архангельске?

— Это верно, но не хватает вагонов. Вы знаете, как мы бедны в этом отношении. Все наше наступление, столь блестяще начатое, может благодаря этому быть погублено.

— Это очень серьезно. Но почему в вашем железнодорожном управлении так мало порядка и активности? Уже несколько месяцев, как Бьюкенен и я твердим об этом Сазонову; мы шлем ему ноту за нотой. Но мы не могли пока достигнуть чего-нибудь. Наши военные и морские атташе тоже хлопочут изо всех сил. Но тоже безуспешно. Подумайте, как ужасно, что Франция жертвует частью своего промышленного производства для снабжения вашей армии, а из-за беспорядка и инертности ваши войска не пользуются этим снаряжением! С тех пор, как в Архангельске открылась навигация, туда привезено французскими судами 70 тяжелых орудий, $1^1/_2$ миллиона снарядов, 6 миллионов гранат, пятьдесят тысяч ружей. И все это свалено на пристанях. Необходимо усилить движение на ваших железных дорогах. Триста вагонов в день, ведь это смешно. Меня уверяют, что, при небольшом напряжении и упорядочении дела, можно было бы легко удвоить их число.

— Я веду ожесточенную борьбу с железнорожным ведомством, но меня слушаются немного больше, чем вас... Это, впрочем, так важно, что нельзя с этим примириться. Поэтому я вас очень прошу еще раз поговорить с Сазоновым, попросить его представить ходатайство от вашего имени в совет министров.

— Будьте во мне уверены, я с завтрашнего дня начну борьбу...

*Суббота, 24 июня.*

За последние дни я замечаю в политических кругах Петрограда странное настроение против аннексии Россией Константинополя.

Утверждают, что эта анексия не только не разрешила бы восточного вопроса, но только осложнила бы его и затянула, так как ни Германия, ни Австрия, ни дунайские государства не согласятся оставить ключ от Черного моря в когтях у русского орла. Русским важно добиться свободного прохода через проливы; а для этого достаточно создания на обоих берегах нейтрального государства, находящегося под покровительством держав. Считают также, что слияние греческого патриархата с русской церковью повлекло бы за собой неразрешимые затруднения и было бы в тягость для русских православных. Наконец, с точки зрения внутренней политики и социального развития, считают, что Россия совершила бы большую неосторожность, допустив внедрение в свой организм турецко-византийского тлетворного начала.

Я считаю все эти соображения совершенно правильными. Но о чем же думали раньше?

*Воскресенье, 25 июня.*

Нужно побывать в России, чтобы понять изречение Токвилля: „Демократия лишает деспотизм материального содержания“ (La democratie immatérialise le despotisme).

По своей сущности, демократия не обязательно должна быть либеральной. Не нарушая своих принципов, она может сочетать в себе все виды гнета политического, религиозного, социального. Но, при демо-

кратическом строе, деспотизм становится неуловимым, так как он распыляется по различным учреждениям; он не воплощается ни в каком одном лице, он вездесущ и в то же время его нет нигде; оттого он, как пар, наполняющий пространство, невидим, но удушлив; он как бы сливается с национальным климатом. Он нас раздражает, от него страдают, на него жалуются, но не на кого обрушиться. Люди обыкновенно привыкают к этому злу и подчиняются. Нельзя же сильно ненавидеть то, чего не видишь.

При самодержавии же, наоборот, деспотизм проявляется в самом, так сказать, сгущенном массивном, самом конкретном виде. Деспотизм тут воплощается в одном человеке и вызывает величайшую ненависть.

*Вторник, 27 июня.*

Русские взяли Кимполунг, к юго-западу от Черновиц; эта победа делает их хозяевами Буковины и подводит их к Карпатам.

Мы следим с Сазоновым по карте за ходом наступления; он мне говорит:

— Вот когда должна бы выступить Румыния... Она бы могла свободно пройти до Херманштадта, до Темешвара... до самого Пешта... Но Братиано не способен на простые, прямодушные решения. Вы увидите, он пропустит все возможности.

*Среда, 28 июня.*

Из верного источника узнаю следующее:

Императрица переживает очень тяжелую полосу. Усиленные молитвы, посты, аскетические подвиги, волнения, бессонница. Она все больше утверждается в восторженной мысли, что ей суждено спасти святую православную Русь и что покровительство Распутина

нынешнего Государственного Совета и нашей высшей кассационной инстанции: будет образован особый департамент сената, с равным числом русских и польских сенаторов.

4) Присоединение австрийской и прусской частей Польши будет предусмотрено в следующих словах: „Если бог дарует нашим войскам победу, то все поляки, которые сделаются подданными императора и короля, будут пользоваться благами изложенного выше государственного устройства“.

Оставляем Сазонова с Нератовым и отправляемся с Бьюкененом в свои посольства.

*Понедельник, 17 июля.*

Державы, наконец, сговорились коллективно просить Румынию примкнуть, без дальнейших промедлений, к их союзу.

Генерал Алексеев установил 7-ое августа, как крайний срок для выступления румынской армии.

*Вторник, 18 июля.*

У Луцка, на границе Волыни, русские теснят австрогерманцев и захватили 13.000 пленных.

Русские передовые части переходят через Карпаты.

*Четверг, 20 июля.*

Сегодня утром мы были вместе с Бьюкененом у Нератова; нас поразил его мрачный вид. Он говорит нам:

— У меня имеются серьезные основания опасаться, что мы вскоре лишимся Сазонова.

— В чем дело?

— Вы знаете, что против Сазонова давно ведется кампания, и вы знаете—кем. Его недавний успех по польскому вопросу теперь использовали против него. Из слов лица, очень ему преданного и вполне внушающего доверие, я заключаю, что его величество решил его отставить.

Если такой осторожный и сдержанный человек, как Нератов, так говорит, значит нет никаких сомнений.

Мы оба, Бьюкенен и я, хорошо понимаем, какие это повлечет за собой последствия. Нам нечего совещаться.

Бьюкенен спрашивает:

— Не думаете ли вы, что г-н Палеолог и я могли бы оказать некоторое влияние на решение вопроса об отставке Сазонова?

— Может быть.

— Но что же предпринять?

Чтобы иметь время собраться с мыслями, я прошу Нератова точно передать мне сообщенное ему неприятное известие.

— Лицо, передавшее мне это сообщение,—говорит он,—видело проект письма, которое его величество повелел приготовить. Оно изложено в лестном тоне; Сазонов освобождается от его обязанности в виду состояния его здоровья.

Я ухватываюсь за эти последние слова. Они могут, по-моему, служить законным поводом для вмешательства послов Франции и Англии. Затем тут же, за столом Нератова, я составляю текст телеграммы от Бьюкенена и от себя нашим военным миссиям в Могилев, предлагая им ознакомить с этими телеграммами министра двора. Вот их содержание:

и высокие его качества ей необходимы для успеха. Она по всякому поводу советуется с ним, просит его благословения.

Но сношения царицы с Гришкой облечены покровом тайны! В газетах о них ни слова. В обществе об этом говорят шопотом, и только самые близкие между собой, как о позорной тайне, в которую лучше не углубляться; но вообще не стесняются выдумывать бесконечное число фантастических подробностей.

Обыкновенно сам Распутин редко бывает во дворце. Он видится с царицей по большей части у Вырубовой, в ее квартире на Средней улице; там он проводит иногда по несколько часов с обеими женщинами, а агенты генерала Спиридовича охраняют дом и никого не подпускают близко к нему.

Обыкновенно же полковники Ломан и Мальцев поддерживают постоянные сношения между старцем и его кликой и дворцом.

Полковник Ломан, помощник управляющего императорскими дворцами, староста любимой церкви царицы, Федоровского собора, личный секретарь Александры Федоровны, пользуется полным ее доверием. Его помощником в его ежедневных сношениях с Распутиным является артиллерийский полковник Мальцев, начальник воздушной охраны Царского Села. Для интимных поручений императрица пользуется обыкновенно услугами молодой монахини, работающей в придворном военном госпитале, сестры Акилины.

Несколько лет тому назад эта монахиня жила в Октайском монастыре на Урале, недалеко от Екатеринбурга. Крестьянка родом, очень здоровая от природы, она вдруг стала страдать припадками, которые очень усилились и стали периодическими. На глазах

у своих испуганных сестер, она то корчилась в судорогах, то впадала в восторженно-бредовое состояние, то испытывала необычайные ощущения; ее считали одержимой бесами. Во время такого припадка явился Распутин. Он тогда ходил странником по Уралу. Однажды вечером он попросился ночевать в Октайском монастыре. Его приняли, как посланца провидения, и немедленно привели к бесноватой, которая билась в припадке. Он остался с ней наедине и в несколько минут исцелил ее властным заклинанием. Дьявол больше не беспокоил ее. После такого исцеления, Акилина стала верной слугой старца.

*Четверг, 29 июня.*

Русская армия продвинулась в Галиции на 50 километров к югу от Днестра до Коломеи; она заходит еще дальше к северо-западу, продвигаясь к Станиславову.

За июнь взято в плен 217.000 человек, в том числе 4500 офицеров; кроме того, захвачено 230 орудий и 700 пулеметов.

Генерал Алексеев только что сообщил генералу Жоффру, что сейчас наиболее удобный момент для наступления салоникской армии на болгар; это наступление принудило бы Румынию, наконец, открыто стать на сторону Антанты. Заключительные выводы обращения генерала Алексеева, по моему, очень убедительны: „Вряд ли будут более благоприятные условия в дальнейшем для успеха наступления из Салоник. Русские войска пробили широкую брешь в австро-германской линии, а в Галиции мы вновь перешли к наступательной войне. Германия и Австрия стягивают сюда все свои свежие силы и, таким образом, ослабляют свой

фронт на Балканах. Удар по Болгарии обезопасил бы тыл Румынии и был бы угрозой Будапешту. Для Румынии выступление является необходимым и выгодным и в то же время неизбежным".

Высшее английское командование отказывается вести в настоящее время наступление на болгар, считая его слишком опасным. Бриан настаивает в Лондоне на необходимости согласиться с мнением генерала Алексеева.

*Суббота, 1 июля.*

В Галиции русские заняли Коломыю и преследуют австро-германцев по направлению к Станиславову. В Буковине они закрепляют свои успехи.

С 4 июня армия Брусилова захватила 217.000 пленных.

Во Франции начинается большое англо-французское наступление на Сомме.

*Воскресенье, 2 июля.*

Мое недавнее вмешательство по поводу Архангельской железной дороги дало некоторые результаты. Сазонов мне сказал, что, по особому распоряжению императора, число вагонов будет увеличено в сутки с 300 до 450, а вскоре и до 500.

Братиано все еще уверяет в Париже, что он не может принять окончательного решения по причине противодействия со стороны России и на меня сыплется одна нетерпеливая телеграмма за другой. С целью прекратить двусмысленную игру румынского правительства, генерал Алексеев сообщил ему следующее: „Сейчас наступил момент ,наиболее подходящий для выступления Румынии и это единственный момент, когда вмешательство Румынии может быть интересно для России".

Я говорю об этом с Диаманди, который у меня завтракал.

— Промедления Братиано — говорю я,—роковая ошибка. Я прекрасно понимаю, что он не хочет войны и стремится избежать ее; это вполне понятно,—война всегда рискованная вещь. Но, раз, по вашим словам и согласно его словам, он желает войны, раз он заранее уже предназначил себе долю в добыче, раз он настолько втянулся в политику осуществления национальных требований, то как же он не видит, что стратегически сейчас настало время для выступления Румынии. Русские усиленно наступают; австро-германцы еще не пришли в себя после поражения; итальянцы отправились и яростно дерутся; англичане и французы изо всех сил нажимают на Сомме. Чего же еще нужно Братиано? Разве он не знает, что на войне нужно пользоваться подходящим моментом?

— Лично, я с вами вполне согласен. Но я уверен, что и у Братиано есть веские причины откладывать окончательное решение. Подумайте, ведь он ставит на карту судьбу Румынии.

*Понедельник, 3 июля.*

Русские представители, ездившие на совещание с французскими, английскими и итальянскими, только что вернулись в Петроград. Сегодня они делали доклад в Государственном Совете и в Государственной Думе. Даже сквозь условные выражения их докладов, в них слышится глубокое восхищение пред военной доблестью союзников, в особенности французов.

Я был сегодня, с Бьюкененом и Карлотти, на заседании в Мариинском Дворце и в Таврическом Дворце. Нас приветствовали очень горячо.

Я беседовал с некоторыми членами Государственного Совета и Государственной Думы, с Гурко, князем Лобанов-Ростовским, с Шебеко, с Велепольским, с Милюковым, с Шингаревым и др.; они все в различной форме высказывают одну и ту же мысль: „Мы здесь хорошо понимаем, что такое война“.

*Вторник, 4 июля.*

Я завтракал сегодня у итальянского посла. Там были председатель Государственной Думы Родзянко, член Государственного Совета, князь Сигизмунд Велепольский, и два депутата-кадета, Милюков и Шингарев.

Я беседовал долго с Милюковым об его впечатлениях от поездки на Запад:

— Прежде всего,—говорит он,—нужно усилить и согласовать наше наступление. А это возможно только при совместной работе правительства со страной и с Думой. Между тем, в настоящее время преобладает направление, которое отличается...

Он поражен важностью, которую Франция придает выступлению Румынии; он считает румынскую армию очень слабой; чувствуется его старая склонность и снисходительность по отношению к Болгарии.

Мне хотелось поговорить с ним поосновательнее о внутреннем положении, и я пригласил его и Шингарева к себе обедать через 3 дня.

Велепольский отводит меня в сторону и сообщает под секретом:

„Я совершенно уверен в том, что император созовет вскоре своих министров в Могилеве для выяснения польского вопроса. Штюрмер и большинство его коллег против этого. Но мне кажется, что Сазонов может

восторжествовать; он взял это дело в свои руки, и генерал Алексеев его энергично поддерживает".

Он прибавляет, что вскоре будет иметь возможность окольными путями передать письмо императору и хотел бы прибавить несколько слов от меня.

Я отвечаю:

„Вы можете сказать, что провозглашение польской независимости будет встречено Францией не только, как первый шаг, являющийся следствием этой войны, но и как важный политический акт, который будет иметь большое значение в будущем и поможет продвижению русской армии в Польше".

Попрежнему, хорошие вести из Галиции и Буковины. Число пленных доходит до 233.000 человек.

Во Франции, наступление на Сомме сопряжено с большими трудностями; но для нас развивается успешно.

*Среда, 5 июля.*

Сегодня у меня завтракал генерал Поливанов. Несмотря на отставку, он продолжает поддерживать близкие сношения с генералом Алексеевым, который его очень ценит. Таким образом, он хорошо осведомлен относительно стратегического положения русской армии. Он несколько раз повторяет мне, что высказывает только свои личные мнения; он говорит: „Наше наступление в Галиции и Буковине есть только начало большого наступления по всему фронту... Мы должны весь свой удар направить на германский фронт; мы достигнем окончательной победы только тогда, когда разобьем немцев. После Верденских боев, Германия не может предпринять крупного наступления. Но на нашем фронте следует ожидать с ее стороны упорного

сопротивления на Немане, Буге, и затем дальше по течению этих же рек, и по Висле. Я не знаю, каковы намерения генерала Алексеева, но думаю, что его план в том, чтобы продвинуть все наши армии к северо-западу, имея Ригу центром этого движения. Генерал Куропаткин, не очень способный вести наступление, но умеющий вести оборонительную войну, вполне подходит к выполнению порученного ему плана. Генерал же Эверт и генерал Брусилов, эти знатоки маневров, выполнят остальное. Я думаю, что им поставят целью взять Вильно, Брест-Литовск и Люблин".

— А Краков?

— Навряд ли. Но, во всяком случае, это зависит от Румынии. Будь мы уверены в выступлении румынской армии, мы были бы спокойнее за наш левый фронт и нам бы оставалось только поддерживать связь с нашим новым союзником. Но если Румыния останется нейтральной, нам придется быть гораздо осмотрительнее, и это значительно задержит все наступление. Но каково бы ни было решение румынского правительства, мы должны знать его немедленно. В Букаресте, как будто даже не знают, что наступление в полном разгаре...

*Четверг, 6 июля.*

Англичане наступают между Соммой и Анкром, а французы продвинулись за вторую линию неприятельских окопов к югу от Соммы. В обеих зонах германцы оставили в наших руках около 13.000 пленных.

На фронте в 300 километров, между Стоходом и устьями Прута, русские методически наступают. К северу, на Волыни, они угрожают Ковелю. На юге, в Галиции, они заняли Делятин, защищающий один

из главных входов в Карпаты, между Станиславовым и Мармарош-Сигет.

Такое же наступление идет в Армении, где турки одновременно отброшены и на берегу Черного моря, и к западу от Эрзерума.

*Пятница, 7 июля.*

Сегодня у меня обедали лидеры кадетской партии, Милюков и Шингарев. Я делюсь с ними своими опасениями по поводу внутреннего положения и интриг, центром которых является Штюрмер. Я их спрашиваю:

— Как вы думаете, возможны ли, в более или менее близком будущем, серьезные события?

Милюков отвечает мне следующее (Шингарев с ним согласен):

— Если вы подразумеваете под „серьезными событиями" народные волнения, или насильственный акт против Думы, то я могу вас успокоить, во всяком случае, на ближайшее время. Будут забастовки, но местного характера и без всяких насилий. В случае же неудачи на фронте, могут начаться волнения; общественное мнение не перенесет нового отступления от Дунайца. Также, в случае голода, можно ожидать серьезных беспорядков. В этом отношении меня очень беспокоит будущая зима. Что же касается действий против Думы, то, я полагаю, что Штюрмер и его банда подумывают об этом. Но мы не дадим им для этого ни повода, ни даже предлога. Мы решили не отвечать ни на какие вызовы и противопоставить им терпение и благоразумие. Когда война кончится, тогда посмотрим. Но, при такой тактике, мы подвергаемся нападкам со стороны либеральных кругов, обвиняющих нас в нерешительности, и мы постепенно можем потерять

связь с народными массами, которых возьмут в свои руки люди более решительные.

Я приветствую столь патриотическую линию поведения. Но вижу из их слов, что если немедленной опасности еще и нет, то она во всяком случае не за горами.

Они уезжают в 10 часов, так как возвращаются в Павловск.

Я еду кататься на острова.

Такую прелестную ночь я редко видел в Петрограде. Теплая, тихая и ясная ночь. Но ночь ли это? Ведь нет темноты. Значит, это день. Тоже нет—где же дневное освещение? Это скорее вечерний или предрассветный сумрак. На беловатом небе кое-где слабо мерцают звезды. На Стрелке легкий туман, светящийся и серебристый, стоит над Финским заливом. В опаловом освещении березы и дубы, окаймляющие пруды, кажутся каким-то заколдованным лесом, декорацией волшебного сна.

*Суббота, 8 июля.*

На рижском фронте и у озера Нароч русские захватили целый ряд немецких позиций.

В центре они наступают на Барановичи. На Волыни они перешли Стоход и подходят к Ковно.

С 4 июня они захватили около 266.000 пленных.

Сазонов опять говорил мне сегодня утром:

— Вот когда Румыния должна бы выступить.

Но русское общество вообще настроено недоверчиво, несмотря на достигнутые успехи. Оно желает войны до победного конца, но все меньше и меньше верит в эту победу.

*Воскресенье, 9 июля.*

Бриан признал, наконец, что для того, чтобы добиться выступления Румынии, нужно действовать не в Петрограде, а в Букаресте. Он сильно нажимает на Братиано и требует от него решительного ответа.

Вот заключительные слова инструкции, врученной Блонделю, нашему послу в Румынии.

„Все условия, поставленные Братиано, в настоящее время выполнены. Выступление Румынии для того, чтобы иметь какую-либо цену, должно быть осуществлено немедленно. Ей нетрудно энергично напасть на ослабленную и отступающую австрийскую армию, а это было бы чрезвычайно полезно союзникам. Это выступление окончательно бы разбило противника, уже сильно деморализованного, и дало бы возможность России сосредоточить все свои силы против Германии, давая тем ее наступлению возможность развить максимум его силы. Таким образом, Румыния вступила бы в коалицию в подходящий психологический момент, что в будущем дало бы ей право на удовлетворение ее национальных стремлений... Настоящая минута очень решительная. Западные державы все время относились с полным доверием к Братиано и к румынскому народу. Если Румыния не использует представляющейся ей возможности, то она должна будет отказаться от мысли стать, путем об'единения всех своих соплеменников, великим народом.

Я передаю эту инструкцию Сазонову, который говорит: „Прекрасно написано. Генерал Алексеев останется так же доволен, как и я“.

*Вторник, 11 июля.*

Широкое наступление на Сомме превращается в позиционную борьбу. Мы, с трудом подвинувшись на два или три километра, принуждены снова остановиться пред укреплениями громадной мощности.

Опять начнется позиционная война, с ее удручающей медленностью. Эта затяжка опасна в отношении России, так как русское общественное мнение и так уже склонно верить, что Германия вообще непобедима.

*Среда, 12 июля.*

Все министры, в том числе и Сазонов, уехали вчера утром в ставку, куда император созвал их для решения вопроса о польской независимости.

Англо-французское наступление на Сомме уже закончилось. Результаты средние. Продвинулись на 2—4 километра на фронте в 20 километров; взято 10.000 пленных.

*Четверг, 13 июля.*

Сегодня утром Бьюкенен и я отправляемся, в виду отсутствия Сазонова, к товарищу министра, Нератову, человеку сдержанному и осторожному.

Мы беседуем с ним о Румынии, как вдруг открывается дверь, и входит Сазонов, прямо с дороги. Несмотря на двадцать четыре часа, проведенные в вагоне, вид у него свежий, взгляд оживленный. Он весело спрашивает:

— Я не помешаю?

Затем садится и говорит:

— Я привез хорошие вести и могу сообщить их вам, но только под большим секретом.

Мы поднимаем руки, в знак клятвы молчания.

Тогда он нам передает следующее:

— Император вполне склонился на сторону моих взглядов, хотя, могу вас уверить, были жаркие прения. Но это ничего. Я одержал победу по всей линии. Какие вытянутые лица были у Штюрмера и Хвостова! Но вот что важнее. Его величество повелел в спешном порядке представить ему проект манифеста о провозглашении польской независимости, и мне поручено его составить.

Лицо его сияет радостью и гордостью. Мы поздравляем его от всей души. Он продолжает:

— Теперь прощаюсь с вами—еду в Финляндию и там буду спокойно работать. Вернусь через неделю.

Я его останавливаю:

— Сообщите мне, ради бога, что-нибудь о проекте автономии, принятом императором! Будьте великодушны! Я обещал вам полный секрет.

— Полный секрет! Будете хранить?

— Буду хранить, как тайну судилища инквизиции, нарушение которой наказуется вечными муками.

— В таком случае, я продолжу свое конфиденциальное сообщение. Вот программа, принятая императором:

1) Царством Польским будет управлять наместник императора или вице-король, совет министров и парламент, состоящий из двух палат.

2) Все управление будет сосредоточено в руках этого правительства, за исключением дел, касающихся армии, дипломатии, таможни, общих финансов и железных дорог, имеющих стратегическое значение; эти дела останутся в ведении центральной власти.

3) Административные пререкания между царством и империей будут разрешаться сенатом, заседающим в Петрограде, который об'единит в себе функции нашего

„Мне сообщают, что Сазонов, по состоянию своего здоровья, подал прошение об отставке его величеству. Благоволите совершенно официально проверить у министра двора, насколько верно это известие.

„Если это действительно так, то благоволите немедленно указать Фредериксу, что достаточно одного слова ободрения со стороны его величества, чтобы Сазонов сделал над собой новое усилие, которое дало бы ему возможность довести свое дело до конца.

„Английский посол и я очень встревожены тем впечатлением, которое произведет в Германии отставка русского министра иностранных дел; ибо усталость его является недостаточным поводом для об'яснения его ухода.

„В наступающий решительный час войны, все, что рискует показаться изменением политики союзников, могло бы, повести за собой самые неприятные последствия".

Нератов вполне одобряет телеграмму. Мы с Бьюкененом возвращаемся в посольство и отправляем телеграммы в Могилев.

Днем я узнаю из очень верного источника подробности интриги против Сазонова. Та, кто мне их сообщает, еще не знает, как далеко зашло дело; я же ей не сообщаю того, что мне известно. Но она говорит мне:

— Положение Сазонова сильно пошатнулось; он утратил доверие их величеств.

— Но что же ставится ему в вину?

— Его упрекают в неумении ладить со Штюрмером и в слишком большом умении ладить с Думой. Затем, его ненавидит Распутин, а этого достаточно.

— Значит, императрица и Штюрмер действуют вполне заодно?

— Да, вполне. Штюрмер большой хитрец; он уверил ее, что одна она может спасти Россию. И вот она сейчас и занята спасением России—для этого вчера вечером неожиданно уехала в Могилев.

*Пятница, 21 июля.*

Наступление русских в Армении блестяще развивается.

На черноморском побережье они заняли Вакси-Кебир, к западу от Трапезунда; передовые части дошли до долины Келкит-Ирмак.

Взятие Гемиш-Кане отдает в их руки большую дорогу из Трапезунда на Эрзерум с разветвлением на Эрзингиан. Быстрым движением по долине Верхнего Евфрата они угрожают этому городу.

*Суббота, 22 июля.*

Генерал Жанэн и генерал Уильямс передали министру двора полученное ими сообщение. Вот ответ, полученный от генерала Жанэна:

„Министр двора, хотя не во всем согласен с Сазоновым, уже указал императору на то, что его отставка, при теперешних обстоятельствах, произведет неблагоприятное впечатление. Император ответил, что чрезмерное утомление Сазонова, лишающее его сна и аппетита, не позволяет ему продолжать его работу; кроме того, его монаршее решение принято бесповоротно. Все-таки, граф Фредерикс обещал показать императору подлинные телеграммы английского и французского послов, но он прибавил, что он не просит его величество отвечать на них".

Сазонов еще в Финляндии; он вчера узнал о своей отставке. Он принял это известие спокойно и с достоинством, как этого можно было ожидать от него.

— В сущности,—сказал он, его величество поступил правильно, отказавшись от моих услуг—слишком по многим вопросам я расходился со Штюрмером.

К вечеру Нератов сообщил мне, по особому распоряжению его величества, что уход министра иностранных дел ни в чем не изменит внешней политики России.

*Воскресенье, 23 июля.*

Сегодня в утренних газетах официально сообщается об отставке Сазонова [1]) и о замене его Штюрмером. Коментариев в газетах никаких.

Я обедаю сегодня в Царском Селе у великой княгини Марии Павловны, вместе с княгиней Палей, Нарышкиной и свитой.

После обеда великая княгиня уводит меня в глубину сада, приглашает сесть около себя и беседует со мной.

---

[1]) Вот текст высочайшего рескрипта на имя Сазонова:

„Сергей Дмитриевич. Посвятив себя, с начала вашей государственной службы, внешней политике, вы несли важные обязанности в дипломатической области. В 1910 г. я призвал вас на ответственный пост министра иностранных дел. Исполняя трудные обязанности по управлению означенным министерством, вы с неустанным рвением в точности выполняли мои указания, внушенные требованиями справедливости и чести нашей дорогой родины.

К сожалению, состояние вашего здоровья, пошатнувшееся под влиянием непосильного труда, заставило вас просить меня об освобождении вас от возложенных на вас обязанностей.

Снисходя к вашей просьбе, я считаю своим долгом выразить вам искреннюю благодарность за вашу усердную службу. Пребываю к вам неизменно благосклонный и искренно благодарный

**Ставка, 7 июля 1916 г.** **Николай**".

— Вы не можете себе представить, как меня огорчает настоящее и как беспокоит будущее. Как, по вашему мнению, это произошло? Я вам расскажу то немногое, что знаю сама.

Мы сообщаем друг другу то, что мы знаем. Вот к чему мы приходим:

Император был вполне согласен с Сазоновым в вопросах внешней политики, так же и в польском вопросе, так как император разделял его взгляды и даже поручил ему написать манифест к польскому народу. По поводу внутренней политики Сазонову не приходилось высказывать своих либеральных взглядов, да и он мог говорить только как частный человек, а взгляды его самые умеренные. Он был в прекрасных отношениях с генералом Алексеевым. Поэтому, наделавшую шуму отставку нельзя об'яснить никакими явными причинами. Напрашивается, к сожалению, единственное об'яснение, а именно то, что камарилья, орудием которой является Штюрмер, захотела захватить в свои руки министерство иностранных дел. Распутин уже несколько недель как твердит: „Надоел мне этот Сазонов, надоел...“ По настоянию императрицы, Штюрмер отправился в Ставку просить отставки Сазонова. Императрица сама затем поспешила на помощь. Император уступил.

Великая княгиня, заканчивая беседу, спрашивает меня:

— Значит, у вас такое впечатление, что дела плохи?

— Да, очень не хороши. При французской монархии тоже уволили, под влиянием придворной клики, прекрасных министров, — это были Шуазель и Неккер. Ваше высочество знаете, что случилось потом...

На Волыни, при слиянии Липы и Стыри, армия генерала Сахарова разбила австро-германцев; взято в плен 12.000 человек.

*Среда, 25 июля.*

Я сегодня телеграфировал в Париж:

„По отношению к будущему я смотрю на создавшееся здесь положение так:

„Я не предвижу никаких изменений ни немедленных, ни в ближайшем будущем, во внешней политике России; заявление императора, переданное мне 22 июля Нератовым, внушает мне полную уверенность для настоящего времени. По всей вероятности, официальные действия императорской дипломатии будут продолжаться в прежнем направлении. Но следует ожидать появления в м—ве иностр. дел новых лиц и иного настроения. Наши переговоры отныне не останутся тайной для некоторых германофильски настроенных лиц, которые, поддерживая косвенные связи с немецкой аристократией и финансовыми кругами и питая отвращение к либерализму и к демократии, являются полными сторонниками примирения с Германией.

„В настоящее время эти лица могут действовать только окольными путями, и очень осторожно, в желательном для них направлении. Национальный под'ем еще настолько велик, что играть в открытую для них невозможно. Но если через несколько месяцев, к началу зимы, наши военные успехи не оправдают наших надежд, если русская армия будет иметь больший успех, чем наша, тогда немецкая партия в Петрограде станет опасной благодаря поддержке со стороны своих сообщников в министерстве иностранных дел.“

*Среда, 26 июля.*

В газетах сообщается, что бывший военный министр Сухомлинов перевезен из Петропавловской Крепости в психиатрическую лечебницу вследствие нервного расстройства.

По моим сведениям, у него только неврастения. Впрочем, никто не придает веры такой мотивировке его перевода.

*Четверг, 27 июля.*

Полковник Рудеану, румынский военный атташе в Париже, заключил соглашение с делегатами союзных главных штабов. По этому соглашению, Румыния обязуется выставить армию в 150.000 человек для немедленного нападения на болгар; одновременно должно начаться наступление Салоникской армии. Это соглашение, которым регулируются отношения между обеими группами войск, подписано 23 июля.

Таким образом, предполагается движение с двух сторон по направлению к Софии; идея очень хороша; ее исполнение оправдает наши продолжительные операции у Салоник.

Но вчера, из секретного источника, я узнал, что румынское правительство не только не думает немедленно выступить против Болгарии, а напротив, ведет тайные переговоры с царем Фердинандом. Это известие отчасти подтверждается телеграммой, полученной Бьюкененом от английского посланника в Букаресте; по словам этой телеграммы, председатель румынского совета министров никогда не допускал мысли о выступлении против Болгарии или даже об об‘явлении ей войны.

*Пятница, 28 июля.*

Русский посол в Букаресте, Поклевский, телеграфировал, что Братиано категорически отказывается выступить против Болгарии. Английский посланник, сэр Джордж Барклей, настаивает на необходимости для держав согласия отказаться от требования наступления на Болгарию: иначе возможна „безвозвратная потеря надежды на содействие Румынии". Бьюкенен и я обсуждаем этот вопрос с Нератовым. Он считает, что союзные державы должны требовать от Братиано исполнения требований, изложенных в конвенции Рудеану. Бьюкенен поддерживает мнение Барклея. Я разделяю точку зрения Нератова.

Я напоминаю о всех жертвах, принесенных Францией для поддержки интересов союзников на Балканском полуострове:

— Французское общественное мнение,—говорю я,— никак не сможет понять наступления от Салоник без одновременного выступления на Дунае. Оно будет возмущено при мысли, что французские солдаты будут гибнуть в Македонии для того, чтобы дать возможность Румынии легче присоединить к себе Трансильванию. Я не великий знаток стратегии, но думаю, что Румынии самой было бы важно обеспечить себя от болгар, прежде чем заходить заходить на север от Карпат. Что касается предположенных секретных переговоров между Букарестом и Софией, то я уверен, что они ни к чему не приведут. Я был бы в отчаянии, если бы они удались; в таком случае, все болгарские силы обратились бы против салоникской армии.

Нератов вполне со мной согласен.

*Суббота, 29 июля.*

Русская армия одержала вчера крупную победу под Бродами в Галиции.

Сегодня днем у меня был с официальным визитом Штюрмер. Он, как всегда, слащав и церемонен. Он мне сказал, что, поручая ему министерство иностранных дел, император предписал ему держаться той внешней политики, как и раньше, т.-е. действовать в полном единении с союзниками.

— Я особенно хочу,—говорит он,—быть заодно с правительством Республики, потому прошу вашего содействия и полного доверия с вашей стороны.

Я благодарю его за это пожелание, уверяю его в своем дружеском рвении к совместной работе, и поздравляю со счастливым предзнаменованием,—победой у Брод,—при котором он начинает свою деятельность.

Затем я стараюсь навести его на об'яснение о конечных целях его политики и об его взгляде на будущую судьбу Германии. Мне показалось, что у него смутное представление об этом вопросе, он даже, повидимому, не знает личного мнения императора; но все же, он произносит слова, которые я слышал несколько раз от государя:

— Никакой пощады, никакой милости для Германии!

Он прощается со мной, расточая приторные любезности. На пороге еще раз говорит:

— Никакой пощады, никакой милости Германии.

*Воскресенье, 30 июля.*

Английское правительство просит русское правительство не настаивать на наступлении Румынии на Болгарию.

Меня спрашивает по этому поводу Нератов, и я повторяю ему те же доводы, что и третьего дня. Говорю, что я вообще не могу понять, зачем посылать 50.000 русских в Добруджу, если они там будут бездействовать, в то время как на салоникскую армию будет направлен весь удар болгарских сил.

В течение дня Нератов сообщает мне, что генерал Алексеев не допустил бы посылки 50.000 русских в Добруджу, если задачей им не было бы поставлено немедленное наступление на Болгарию.

*Понедельник, 31 июля.*

Русское наступление продолжается на фронте в 150 километров; русские войска на Волыни и в Галиции отбросили австро-германцев к Ковелю, Владимиру-Волынску и Львову; захвачено 60.000 пленных. С начала этой крупной операции русские взяли в плен 345.000 человек.

В Армении турки, вытесненные из Эрдзингиана бегут к Карпуту и Сивасу.

*Вторник, 1 августа.*

Бриан телеграфирует мне:

„Я согласен с сэром Эдуардом Греем и генералом Жоффром, что мы, в конце концов, могли бы не требовать немедленного об'явления войны Болгарии со стороны Румынии, потому что весьма вероятно, что немцы принудят болгар немедленно напасть на румын, и тогда русские части всегда успеют начать военные действия".

Но также вероятно, что румыны, не подготовившиеся к действиям к югу от Дуная, а сосредоточив-

шие свои главные силы на Карпатах, подвергнуся опасному нападению со стороны болгар.

*Четверг, 3 августа.*

У меня сегодня был Сазонов. Он приехал из Финляндии и вчера прощался с чинами министерства иностранных дел.

Мы долго и дружественно беседуем с ним. Он такой, каким я и ожидал его видеть: полон спокойствия, достоинства, без малейшей горечи; он рад для себя лично, что освободился от тяжелых обязанностей, но он печалится и тревожится за будущее России. Он подтверждает все то, что я слышал об обстоятельствах его отставки.

— Императрица относится ко мне враждебно,—говорит он.—Втечение года она не могла простить мне, что я умолял императора не брать на себя командирования армией. Она так настаивала на моей отставке, что император в конце концов уступил. Но к чему этот скандал? К чему весь этот шум? Можно было легко найти повод для моей отставки в состоянии моего здоровья. Я самым лойяльным образом пошел бы навстречу. Наконец, зачем же император принимал меня в последний раз так доверчиво, так ласково?

С выражением глубокой печали, он так резюмирует происшедшее:

— Император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным. Увы! Да хранит нас бог!

*Пятница, 4 августа.*

Я ездил сегодня один на автомобиле по дороге в Сестрорецк, вдоль северного побережья Кронштадтской бухты. Чистое голубое небо, яркое освещение,

бесконечная даль горизонта, спокойствие и простор волн—все это прекрасно способствует углублению в себя.

Я думаю о мрачных перспективах, создаваемых отставкой Сазонова. Будущее более, чем когда-либо, по прекрасному выражению Босюэ, кажется мне „ночью, полною загадок и мрака“. Я допускаю отныне возможность выхода России из войны, и французское правительство должно иметь в виду эту возможность, при своих политических и стратегических расчетах. Император Николай, конечно, останется верен союзу с нами, в этом я нисколько не сомневаюсь. Но ведь он не бессмертен. Сколько русских, и особенно в самой близкой к нему среде, втайне желают его исчезновения. Что может произойти при смене царя? На этот счет у меня нет иллюзий: Россия тогда немедленно откажется от участия в войне. Разве не было тому прецедентов в истории? Могу ли я забыть, как во время семилетней войны Петр III, только что вступив на престол, отказался от союза с Францией и позорно заключил мир с Фридрихом II?... Я рассматриваю все возможности и все последствия допускаемой мной гипотезы. Несмотря на самое строгое отношение к себе и своим рассуждениям, я прихожу к убеждению, что моя уверенность в нашей окончательной победе остается непоколебимой. Но одна мысль, мелькавшая несколько раз в моем уме, теперь твердо и уверенно укрепилась во мне, как логический вывод из моих рассуждений. У меня было слишком упрощенное представление о нашей окончательной победе. Австрия и Германия обречены на поражение,—в этом я твердо уверен. Но пока это случится, пройдет много времени, и чем больше его пройдет, тем слабее будет участие России в войне. Если

же Россия не выдержит роли союзника до конца, если она раньше времени выйдет из рядов бойцов, и станет жертвой революционного брожения, то она неизбежно отделит свои интересы от наших. Она тогда поставит себя в невозможность участвовать в плодах нашей победы; тогда она разделит судьбу центральных держав.

*Суббота, 5 августа.*

Генерал Алексеев, разделяя мнение генерала Жоффра и Бриана, согласен на то, чтобы удар румынской армии был направлен исключительно против Австрии; он согласен отложить действия против болгар; он считает, впрочем, что операции начнутся сами собой. Наконец, он настаивает на необходимости положить конец уверткам Братиано, назначив окончательный срок для выступления Румынии.

*Воскресенье, 6 августа.*

Братиано попрежнему оттягивает и торгуется; я считаю, что он еще надеется на непосредственное соглашение с Болгарией. Продолжая свою прежнюю игру, он приписывает промедление противодействию со стороны России. Следствием этого являются новые недоразумения между Парижем и Петроградом.

Сегодня утром мне было поручено сообщить императору телеграмму президента Республики.

Я передал ее Штюрмеру и повторил те же доводы, которыми я его донимал последнее время; самый главный довод—это громадные жертвы, уже принесенные Францией для общего дела, сокращение численности наших войск, полегших под Верденом.

Штюрмер больше всего боится, чтобы император не услышал что-нибудь для него, Штюрмера, неприятное, и потому он уверяет меня в своей верности союз-

никам и воздает хвалы верденским бойцам. Затем он прибавляет:

— Я придаю не меньше значение немедленному выступлению Румынии, чем ваше правительство. Вы знаете также взгляд генерала Алексеева на этот вопрос. В военных делах его авторитет для императора непререкаем. Вы помните, ведь это он требовал прекращения уверток Братиано, назначив срок окончания переговоров. И он был совершенно прав. Поверьте мне, мы напрасно снова начали переговоры с румынским правительством; нам нужно было настаивать на наших условиях столь мягкого меморандума от 17 июля и не допускать никаких переговоров. Совершенно ясно, что Братиано старается только выиграть время. Генерал Алексеев первоначально назначил окончательным сроком 7 августа; его пришлось продлить до 14 августа. Теперь он требует выступления Салоникской армии за десять дней до начала действий со стороны Румынии только для того, чтобы добиться новой отсрочки. Я еще раз скажу,—напрасно мы поддаемся его совершенно явной игре. Но все-таки, я обещаю вам полностью передать его величеству все то, что вы сказали.

Есть причина, по которой Штюрмер искренен в этом случае: генерал Алексеев взял в свои руки решение вопроса относительно Румынии, а император во всем с ним согласен. Штюрмер же знает, что генерал Алексеев его осуждает и презирает; не желая портить отношений с ним, Штюрмер пасует перед ним и старается ему угождать.

*Среда, 9 августа.*

Вот ответ императора на телеграмму президента Республики, которую я передал ему три дня тому назад:

„Я вполне согласен с вами, г. президент, в необходимости немедленного выступления Румынии, и я повелел моему министру иностранных дел уполномочить моего посланника в Букаресте подписать конвенцию, которая будет заключена между г. Братиано и союзными державами“.

Подход германских и турецких подкреплений, задерживает продвижение русской армии в Галиции. Тем не менее, русские войска подходят к Тарнополю и Станиславову.

*Четверг, 10 августа.*

Сегодня завтракали у меня генерал Леонтьев, назначенный командовать русской бригадой во Франции, Димитрий Бенкендорф, князь Маврикий Замойский, граф Владислав Велепольский и др.

После завтрака была беседа с Замойским и Велепольским. Они говорили мне, что их очень волнует и беспокоит новая политика русского правительства в польском вопросе; император настроен попрежнему либерально, но они считают, что он не устоит перед интриганами реакционной партии и систематическим, неослабным нажимом со стороны Распутина и императрицы.

Замойский уезжает вскоре в Стокгольм; я пригласил его завтракать на этих днях.

*Пятница, 11 августа.*

Итальянцы третьего дня заняли Горицу, где они захватили в плен 15.000 человек; они продолжают наступать на восток.

На правом берегу Серета австро-германцы снова разбиты. Русские заняли Станиславов.

Ах, если бы румыны выступили месяц тому назад!..

*Суббота, 12 августа.*

Когда я думаю о тех признаках политического и социального разложения, которые проходят передо мною, я жалею, что в современной русской литературе нет сатирика, равного Гоголю, который написал бы новые „Мертвые Души“, но несколько более пространные и более мрачные.

Я вспоминаю слова, вырвавшиеся у Пушкина по прочтении этого жестокого произведения: „Боже мой! Какая печальная страна Россия“!

*Воскресенье, 13 августа.*

За последнее время я виделся с русскими и французскими промышленниками, живущими в Москве, Симбирске, Воронеже, Туле, Ростове, Одессе, в Донецком бассейне; я их спрашивал: считают ли в тех кругах, где они вращаются, главною целью войны завоевание Константинополя? Они отвечали почти одно и то же; вот резюме их слов:

В сельских массах мечта о Константинополе всегда была неопределенной; она стала теперь еще более туманной, далекой и нереальной. Какой-нибудь священник иногда напомнит им, что освобождение Царьграда из рук неверных и водружение креста на святой Софии есть священный долг русского народа. Его выслушивают с покорным вниманием, но его словам не придают бо́льшего значения и смысла, чем проповеди о страшном суде и о муках ада. Надо еще заметить, что крестьянин, по природе своей миролюбивый и со-

страдательный, готов брататься с неприятелем; он все с большим ужасом относится к жестокостям войны.

В рабочей среде совершенно не интересуются Константинополем. Считают, что Россия и так достаточно обширна и что царское правительство напрасно проливает народную кровь ради нелепых завоеваний; лучше было бы, если бы оно позаботилось о положении пролетариата.

Буржуазия, купцы, промышленники, инженеры, адвокаты, доктора и т. д., признают значение для России вопроса о Константинополе; эти круги знают, что пути через Босфор и Дарданеллы необходимы для вывоза хлеба из России; они не хотят, чтобы приказ из Берлина мог запереть этот выход. Но в этих кругах отрицательно относятся к мистическим и историческим положениям славянофилов; там считают достаточной нейтрализацию проливов, охраняемую какой-нибудь международной организацией.

Мысль о присоединении Константинополя живет еще только в довольно немногочисленном лагере националистов и в группе либеральных доктринеров.

Но, кроме вопроса о Константинополе и о проливах, отношение русского народа к войне вообще удовлетворительное. За исключением социалистических партий и крайнего правого крыла реакционеров, все уверены в необходимости вести войну до победного конца.

*Понедельник, 14 августа.*

Сегодня снова завтракал у меня граф Маврикий Замойский, вскоре уезжающий в Стокгольм. Он горячий патриот, человек прямодушный, ума ясного и практического. Наша беседа продолжается часа два; мы говорим исключительно о Польше и об ее будущем.

Во всем, что он мне говорит или дает понять, я слышу отклик тех рассуждений, которые со времени отставки Сазонова страстно занимают польское общество в Петрограде, Москве и Киеве.

Все возрастающее влияние среди правительственных кругов реакционной партии, без сомнения, отодвигает и усложняет разрешение польского вопроса. С одной стороны, несмотря на успехи русского оружия в Галиции, поляки уверены, что России не выйти победительницей из войны, и царский режим, которому приходится плохо уже теперь, готовится к соглашению с Германией и Австрией, за счет Польши. Под влиянием этой мысли, снова разгорается старая ненависть к России; к ней примешивается насмешливое презрение к русскому колоссу, слабость которого, его беспомощность и его нравственные и физические недостатки так ярко бросаются в глаза.

Не доверяя России, они считают себя ничем не обязанными по отношению к ней. Все их надежды сосредоточены теперь на Англии и Франции; они при этом безмерно расширяют свои национальные требования.

Самостоятельность Польши под скипетром Романовых уже их не удовлетворяет: они хотят полной, абсолютной независимости и такого же восстановления польского государства; они успокоятся только тогда, когда их требования будут удовлетворены мирным конгрессом. Более, чем когда-либо, они не признают за царским правительством права возглавлять славянские народы, говорить от их имени и стоять во главе их исторической эволюции; русские должны, наконец, понять, что в отношении цивилизации поляки и чехи их сильно опередили.

*Вторник, 15 августа.*

Многие русские, я сказал бы, почти большинство русских, настолько нравственно неуравновешены, что они никогда не довольны тем, что у них есть, и ничем не могут насладиться до конца. Им постоянно нужно что-то новое, неожиданное; нужны все более сильные ощущения, более сильные потрясения, удовольствия более острые. Отсюда их страсть к возбуждающим и наркотическим средствам, ненасытная жажда приключений и большой вкус к отступлениям от морали.

Как резюме беседы, внушившей мне эти мысли, я приведу грустное признание, которое Тургенев влагает в уста одной из своих героинь, очаровательной Анны Сергеевны Одинцовой: „Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатичными людьми, отчего все кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то-есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?“ Ее собеседник отвечает: „Вы знаете поговорку: там хорошо, где нас нет“...

*Среда, 16 августа.*

Между Днестром и Золотой Липой русские продвигаются вперед. Вчера они заняли Яблоницу.

Переговоры в Бухаресте почти закончены...

## V. Румыния вступает в войну.

*Воскресенье, 20 августа.*

Я говорил в последнее время со многими лицами из различных лагерей. Резюмируя все, что они заявили, или, может быть, еще больше то, о чем они умолчали, я прихожу к следующим выводам.

Без императора и без его ведома камарилья императрицы старается дать русской политике новую ориентацию, иначе говоря, подготовить примирение с Германией. Главная причина—боязнь, испытываемая реакционной партией при виде того, как Россия поддерживает тесные и длительные сношения с демократическими государствами Запада (я уже несколько раз приводил это соображение). Кроме того, имеет значение еще общность интересов—промышленных и торговых, которая связывала Германию и Россию до войны и которую нетерпеливо стремятся восстановить. Наконец, посредственный результат недавнего наступления русских войск на Двине доказал, что военное сопротивление Германии далеко еще не истощено. С другой стороны, победы, одержанные в Галиции и Армении, приучили к мысли, что выгоды от войны надо искать скорее в Австрии и Турции, чем в Германии.

*Вторник, 22 августа.*

Бывший министр земледелия Кривошеин, несомненно, самый широкий и самый выдающийся ум среди либеральных империалистов, говорил мне как-то об упорном, непреодолимом сопротивлении, на которое наталкивались со стороны императора, когда ему советовали способствовать эволюции царизма в направлении к парламентарной монархии; Кривошеин закончил свои слова следующей безнадежной фразой:

— Император останется навсегда учеником Победоносцева.

В самом деле, именно знаменитому верховному прокурору святейшего синода,—близкому сотруднику Александра III,—Николай II обязан всем своим нравственным и политическим багажем. Выдающийся юрист, ученый богослов, фанатический поборник православия и самодержавия, Победоносцев вносил в защиту своих реакционных взглядов пламенную веру, экзальтированный патриотизм, глубокую и непреложную убежденность, широкое образование, редкую силу диалектики, наконец,—что покажется противоречием,—совершенную простоту и великое обаяние манер и речи. Самодержавие, православие и народность,—этими тремя словами резюмировалась вся его программа, и он преследовал проведение ее с чрезвычайной суровостью, с великолепным презрением мешавших ему явлений действительности. Как и следовало ожидать, он проклинал „новый дух“, демократические принципы, западный атеизм. Его упорное и ежедневно возобновлявшееся влияние наложило на податливый мозг Николая II несмываемую печать.

В 1896 г., т.-е. как раз тогда, когда он закончил политическое образование своего молодого монарха,

Победоносцев выпустил книгу: „Мысли“. Я только-что ее дочитал и беру из нее следующие характерные соображения:

„Один из самых ложных политических принципов—принцип народного верховенства,—идея, к несчастию, распространенная со времени французской революции, что всякая власть приходит от народа, имеет источником народную волю... Величайшее из зол конституционного режима—образование министерств по парламентскому методу, основанному на количественном значении партии... Нельзя отделять тело от духа. Тело и дух живут единой нераздельной жизнью... Атеистическое государство—лишь утопия, так как атеизм есть отрицание государства. Религия—духовная сила, создающая право. Вот почему наихудшие враги общественного порядка никогда не упускают случая заявить, что религия—личное и частное дело каждого... Легкость, с какой дают себя увлечь общим местом о верховенстве народа и индивидуальной свободе, приводит к всеобщей демократизации и ослаблению политического чувства. Франция представляет для нас в настоящее время поразительный пример такой деморализации и такого ослабления; зараза проникает уже в Англию...“

*Воскресенье, 27 августа.*

Русская армия блестяще развивает свои операции в гористой Армении. Она недавно заняла Муш, к западу от озера Ван. Турки отступают от Битлиса на Моссул.

*Понедельник, 28 августа.*

Вчера Италия об‘явила войну Германии, осуществив, таким образом, свой разрыв с германизмом, а Румыния об‘явила войну Австро-Венгрии.

*Вторник, 29 августа.*

Бывший председатель совета министров Коковцев находится проездом в Петрограде. Я пойду к нему сегодня после полудня.

Я нахожу его настроенным более пессимистически, чем когда-либо. Огставка Сазонова и генерала Беляева беспокоят его в высшей степени:

— Императрица,—говорит он мне,—будет теперь всемогущей. Штюрмер, человек бездарный и тщеславный, но не лишенный лукавства и даже тонкости, когда дело касается его личных интересов, очень хорошо сумел овладеть ею. Он регулярно бывает у нее с докладами, информирует ее обо всем; совещается с ней обо всем; обращается с ней, как с регентшей; он поддерживает в ней мысль, что император, получивший власть от бога, никому, кроме одного бога, не обязан отчетом и, следовательно, всякий, кто позволяет себе противоречить царской воле, оскорбляет бога. Вы представляете себе, как подобные речи действуют на мозг мистически настроенной женщины!... Так, Хвостова, Кривошеина, генерала Поливанова, Самарина, Сазонова, генерала Беляева и меня считают теперь революционерами, изменниками, безбожниками!

— И вы не видите никакого выхода из этого положения?

— Никакого!.. Это положение трагическое.

— Трагическое?... Не слишком ли сильно сказано?

— Нет. Поверьте мне! Это положение трагическое. Эгоистически я поздравляю себя, что я больше не министр, что на мне не лежит никакой ответственности за готовящуюся катастрофу. Но, как гражданин, я плачу о своей стране.

Глаза его наполняются слезами. Чтоб справиться с своим волнением, он раза два-три быстро пробегает по кабинету. Потом он говорит мне об императоре, без горечи, без упреков, но с глубокой грустью:

— Император рассудителен, умен, трудолюбив. Его идеи большей частью здравы. У него возвышенное представление о своей роли и полное сознание своего долга. Но его образование недостаточно, и величие задач, решение которых составляет его миссию, слишком часто выходит из пределов досягаемости его понимания. Он не знает ни людей, ни дел, ни жизни. Его недоверие к себе самому и к другим заставляет его остерегаться всякого превосходства. Таким образом, он терпит возле себя лишь ничтожества. Наконец, он очень религиозен, узкой и суеверной религиозностью, которая делает его очень ревнивым к его верховной власти, потому что она дана ему богом.

Мы опять возвращаемся к императрице:

— Я всеми силами протестую,—говорит он,—против гнусных сплетен, распространяемых о ней в связи с Распутиным. Это благороднейшая и честнейшая женщина. Но она больна, страдает неврозом, галлюцинациями и кончит в бреду мистицизма и меланхолии... Я никогда не забуду ее странных слов, сказанных в сентябре 1911 г., когда я заменил несчастного Столыпина *). В то время, как я говорил о трудности моей задачи и привел в пример моего предшественника, она резко перебила меня: „Владимир Николаевич, не говорите больше об этом человеке. Он умер, потому что провидение судило, что в этот день его не станет. О нем, значит, кончено; не говорите о нем больше

*) Убитого в Киеве 14 сентября 1911 г. Он приходился шурином Сазонову.

никогда". Она, впрочем, отказалась пойти помолиться у его гроба, и император не изволил присутствовать на похоронах, потому что Столыпин, как ни был он до самой своей смерти предан царю и царице, осмелился сказать, что общественный строй нуждается в реформе!..

*Среда, 30 августа.*

Русские продолжают продвигаться вперед от Стохода до Карпат, т.-е. на фронте в 320 километров.

Но они подвигаются вперед очень медленно, что об'ясняется утомлением людей и лошадей, возрастающей трудностью сообщений в тылу, изношенностью артиллерии, наконец, необходимостью беречь снаряды.

Таким образом, Румыния вступает в войну в момент, когда русское наступление дышет на ладан.

*Суббота, 3 сентября.*

В Галиции русские продвигаются по направлению к Галичу. К северу от Трансильванских Альпов румыны заняли Прассо (Кронштадт). В бассейне верховьев молдавского Серета они действуют в согласии с русскими и переходят Карпаты.

У Салоник армия генерала Саррай осторожно наступает.

На Соме энергичное возобновление англо-французского наступления.

*Понедельник, 4 сентября.*

За чаем у м-ме С... Мы говорим о скуке, являющейся хронической болезнью русского общества. Хорошенькая княгиня Д..., высокая и стройная, стоя и по обыкновению сложив за спиной руки, молча слушает нас. Скептический и мечтательный огонек сверкает в глу-

бине ее хищных глаз. Совершенно неожиданно она небрежно роняет слова:

— Это любопытно. Вас, мужчин, когда вами овладевает скука, она убивает, подкашивает у вас ноги; вы ни на что больше не годны; можно надорваться, стараясь вас вновь завести. Нас же, женщин, скука, напротив, будит, подгоняет, дает нам желание делать невообразимые глупости, всевозможные безрассудства. И нас удержать еще труднее, чем вас вновь завести.

Наблюдение верное. Вообще мужчины скучают от утомления, от пресыщения, от злоупотребления удовольствиями, алкоголем, игрой, тогда как у женщин скука чаще всего вызывается монотонностью их существования, ненасытной жаждой эмоций, тайными призывами их сердца и чувств. Отсюда подавленность первых и возбужденность последних.

*Четверг, 7 сентября.*

Ошибка, которую сделал Братиано, не признав конвенции Рудеану, и которую разделили с ним союзники, согласившись на это непризнание, начинает приносить свои плоды.

В то время, как румынские войска продвигаются за Карпаты, занимая Брассо, Германштадт и Орсову, австро-болгары проникают в Добруджу и приближаются к Силистрии. Румынский корпус, застрявший на правом берегу Дуная, в окрестностях Туртукая, понес даже серьезное поражение; он потерял около двенадцати тысяч человек и двести пушек.

При этом известии в Бухаресте заволновались, и волнение было тем сильнее, что неприятельские авионы уже три дня беспрерывно бомбардируют город.

*Пятница, 8 сентября.*

Генерал Жоффр, основательно обеспокоенный опасностью, угрожающей Румынии, требует немедленной отправки 200.000 русских в Добруджу. Я энергично поддерживаю его просьбу перед Штюрмером, доказывая ему, что дело идет о всей политике Союза и самом исходе войны. Он мне говорит:

— Во время моей недавней поездки в Могилев я обсуждал с генералом Алексеевым вопрос о возможности интенсификации наших операций против болгар. Генерал, конечно, понимает, какое огромное преимущество извлекли бы мы из скорого восстановления сообщений с Салониками, но он заявил мне, что ему не хватает на это сил. В самом деле, задача состоит не просто в отправлении 200.000 человек в Добруджу; задача в том, чтоб составить из этих 200.000 человек армию с офицерами, лошадьми, артиллерией и всеми необходимыми приспособлениями. Это составило бы пять корпусов армии; у нас их нет в резерве; значит, их надо было бы снять с фронта. А вы знаете, что на нашем фронте нет ни одного пункта, где сейчас не происходило бы боев. Генерал Алексеев ведет операции с тем большей энергией, что подходит зима. Так что я сомневаюсь, чтобы он согласился предложить царю отправить армию южнее Дуная. Подумайте только, сколько понадобилось бы времени, чтобы организовать и перебросить эту армию. Шесть недель, по меньшей мере!.. Не было ли бы тяжкой ошибкой нейтрализовать таким образом 200.000 человек на такой дальний срок?..

— А царь?.. Говорили вы с ним об этом?

— Царь согласен во всем с генералом Алексеевым.

— Вопрос—достаточно серьезный, заслуживающий быть вновь рассмотренным. И я прошу вас настоять на этом пред царем, сообщив ему мои доводы.

— Я сегодня же доложу царю о нашем разговоре.

*Суббота, 9 сентября.*

Русский финансист, по происхождению датчанин, поддерживающий непрерывные сношения со Швецией и, таким образом, всегда хорошо осведомленный о германском общественном мнении, сказал мне:

— Уже несколько недель Германия переживает общий кризис усталости и боязни. Никто больше не верит в молниеносную победу, которая доставит торжествующий мир. Одни только крайние пангерманисты притворяются, будто еще верят этому. Непреодолимое сопротивление французов у Вердена и продвижение русских в Галиции создали глубокое разочарование, которое не ослабевает. Начинают также поговаривать, что подводная война—ошибка и глупость, что она нисколько не мешает Франции и Англии получать продовольствие, что германские державы рискуют дождаться скоро от Соединенных Штатов об'явления войны и пр... Наконец, экономические затруднения растут и бунты из-за продовольственных ограничений все учащаются, в особенности, в северной Германии... Чтоб остановить этот кризис пессимизма, кайзер недавно назначил маршала Гинденбурга начальником главного штаба вместо генерала Фалькенгайна. Это назначение уже несколько подняло настроение. Теперь все надежды германского народа сосредоточены на спасителе Восточной Пруссии, победителе при Танненберге. Оффициозная пресса превозносит в льстивых

выражениях благородство его характера, величие его концепций, гениальную виртуозность его маневров; она не боится ровнять его с Мольтке, сравнивает с Фридрихом Великим. Полагают, что он пожелает немедленно оправдать это восторженное доверие. Так как невозможна никакая победа ни на русском фронте, ни на западном, то предполагают, что он постарается отличиться в Румынии.

*Вторник, 12 сентября.*

Княгиня Палей пригласила меня сегодня пообедать вместе с великой княгиней Марией Павловной.

Общество совершенно интимное: тем удобнее мне говорить с великой княгиней, которой я не видел со времени опалы Сазонова.

Мы возобновляем наш разговор в том пункте, на котором мы его прервали, и измеряем пройденный путь. Наши сведения сходятся: царица все больше вмешивается в общую политику; царь все меньше оказывает ей сопротивление.

— Так, например, — говорит мне великая княгиня, — царь не выносит Штюрмера; он знает, что он неспособен и нечестен; он догадывается о его игре с царицей, и это его раздражает, потому что он не менее ревнив к своему авторитету по отношению к царице, чем по отношению ко всякому другому. Но у него не хватало мужества поддержать Сазонова и он позволил навязать себе Штюрмера.

— При нем, значит, нет никого, кто открыл бы ему глаза?

— Никого... Вы знаете его приближенных!.. Старый Фредерикс говорит с ним откровеннее всех. Но он не имеет никакого влияния... Притом не думайте,

что царь так нуждается в том, чтобы ему раскрыли глаза. Он очень хорошо знает, что делает; он вполне сознает свои заблуждения и ошибки. Его суждение всегда прямолинейно. Так, я уверена, что в настоящее время он горько упрекает себя за отставку Сазонова.

— Тогда почему он их делает, эти заблуждения и ошибки? Ведь, в последнем счете, последствия падают прямо на него!

— Потому что он слаб, потому что у него не хватает энергии противиться требованиям и сценам царицы!.. И потом по другой причине, гораздо более серьезной: он—фаталист. Когда дела идут плохо, он, вместо того, чтобы так или иначе на это реагировать, внушает себе, что так хотел бог и предается воле божьей!.. Я уже видела его в таком душевном состоянии после поражений в Манджурии и во время беспорядков 1905 г.

— Но разве он теперь в таком состоянии?

— Я боюсь, что он недалек от этого; я знаю, что он грустен, беспокоится, видя, что война бесплодно затягивается.

— Вы считаете его способным отказаться от борьбы и заключить мир?

— Нет, никогда, по крайней мере, до тех пор, пока на русской территории будет хоть один неприятельский солдат. Он дал в этом клятву перед богом и знает, что если он не сдержит этой клятвы, то рискует вечным спасением. Наконец, в нем есть глубокое чувство чести и он не предаст своих союзников. В этом пункте он всегда будет непоколебим. Мне кажется, я уже вам говорила это: он пойдет на смерть скорее, чем подпишет позорный предательский мир...

*Среда, 13 сентября.*

Генерал Жанен сообщает мне беседу, которую он имел позавчера в Могилеве с царем и которая, к несчастью, подтверждает то, что говорил мне Штюрмер пять дней тому назад.

Царь заявил ему, что он не в состоянии отправить 200.000 человек в Добруджу; он ссылается на то, что галицийские и азиатские войска понесли за последние недели тяжелые потери и он обязан послать им имеющиеся подкрепления. В заключение, он просил генерала Жанена телеграфировать генералу Жоффру, что он настоятельно п р о с и т его предписать генералу Саррай более энергично действовать. Царь несколько раз повторял: „Это—просьба, с которой я обращаюсь к генералу Жоффру".

*Четверг, 14 сентября.*

С некоторого времени ходят слухи, что Распутин и Штюрмер не ладят больше друг с другом: их не встречали больше вместе; они больше не бывали друг у друга.

Между тем, они видятся и совещаются ежедневно. Совещания их происходят по вечерам в самом секретном месте в Петрограде, в Петропавловской крепости.

Комендантом романовской Бастилии состоит генерал Никитин, дочь которого принадлежит к числу пламеннейших поклонниц „старца". Через нее-то и обмениваются посланиями Штюрмер и Гришка; она отправляется за Распутиным в город и привозит его в своем экипаже в крепость; в доме коменданта, в комнате самой m-lle Никитиной, и сходятся сообщники.

Почему они окружают себя такой тайной? Почему они выбрали это таинственное место? Почему сходятся они

лишь после наступления ночи? Может быть, чувствуя, что на них тяготеет всеобщая ненависть, они хотят скрыть от публики близость своих отношений. Может быть, они боятся, как бы бомба анархиста не помешала их свиданиям.

Но из всех трагических сцен, о которых хранит воспоминание страшная государственная тюрьма, есть ли более зловещая, чем эти ночные встречи двух злодеев, губящих Россию?

*Пятница, 15 сентября.*

Мне уже неоднократно приходилось упоминать в этом дневнике, что у русских нет точного представления о пространстве, что они вообще довольствуются неопределенными расчетами, приблизительными цифрами. Но и их представление о времени не менее смутно. Сегодня я еще раз был поражен этим, присутствуя у Штюрмера на военном совещании, на котором рассматривались способы оказать помощь Румынии. В изложенной нам программе перебросок большинство дат остаются неопределенными, сроки недостаточны или слишком продолжительны, согласование проблематично; мы спорим в тумане. Эта неспособность представить себе отношения между фактами во времени еще больше чувствуется, естественно, у безграмотных, составляющих массу. И этим замедляется вся экономическая жизнь русского народа.

Явление это, впрочем, легко об'яснить, если допустить, что точное представление времени есть ничто иное, как порядок последовательности, введенный в наши воспоминания и проекты, организация наших внутренних образов относительно точки опоры, каким является наше настоящее состояние. А у русских

чаще всего эта точка опоры колеблется и затуманена, потому что их восприятие действительности никогда не бывает особенно отчетливым, потому что они не ограничивают ясно своих ощущений и идей, потому что их внимание слабо, потому что, наконец, их рассуждения и расчеты всегда почти смешаны с мечтою.

*Суббота, 16 сентября.*

Под растущим напором болгар румыны постепенно очищают Добруджу. И каждый день, каждую ночь австрийские аэропланы, вылетев из Рущука, бомбардируют Бухарест.

С того дня, когда была отвергнута конвенция Рудеану, эти несчастья легко было предвидеть. Румынское правительство дорого платится за ошибку, которую оно совершило, направив все свои военные усилия на Трансильванию, дав себя обмануть несколькими неопределенными словами, дошедшими из Софии, и, в особенности, вообразив, что болгары могли отказаться отомстить с оружием в руках за свое поражение и унижение в 1913 г.

*Воскресенье, 17 сентября.*

Сегодня вечером в Мариинском театре идут два балета и в обоих главную роль исполняет Карсавина.

Роскошная зала с лазоревой драпировкой с золотыми гербами переполнена: сегодня открытие зимнего сезона, возобновление балетов, в которых русское воображение с наслаждением следит, сквозь музыку, за игрой изменчивых форм и ритмических движений. Начиная креслами партера и кончая последним рядом верхней галлереи, я вижу лишь радостные и улыбаю-

щиеся лица. Во время антрактов ложи оживляются легкими разговорами, заражающими весельем блестящие глаза женщин. Неприятные мысли о текущем моменте, зловещие картины войны, мрачные перспективы будущего рассеялись, как бы по мановению волшебного жезла, при первых звуках оркестра. Приятное очарование застилает все глаза.

Автор „Исповеди курильщика опиума", Тома де Кэнсэ, рассказывает, что опиозное снадобье часто доставляло ему иллюзию музыки. Русские, наоборот, требуют от музыки действия опиума.

*Вторник, 19 сентября.*

Зима уже дает о себе знать. Медленный, невидимый и холодный дождь заволок бурое небо как бы снежным паром. С четырех часов становится темно. Кончая около этого времени свою прогулку, я проезжаю мимо небольшой церкви Спасителя, которая высится на берегу Невы близ арсенала. Я останавливаю экипаж и иду осмотреть этот поэтический храм, в который я не заглядывал с начала войны.

Это один из немногих петроградских храмов, где не режет глаз условный и пышный стиль итало-германской архитектуры; это, может быть, единственный, где вдыхаешь атмосферу сосредоточенности, мистический аромат. Построенный в 1910 г. в память 12.000 моряков, погибших во время войны с Японией, он является воспроизведением прелестного экземпляра московского зодчества XII века, церкви в Боголюбове близ Владимира.

Извне простые, ясные линии, римские арки и стройный купол. Внутри, в темном полумраке, голые

стены украшены одними только бронзовыми досками, на которых выгравированы имена всех судов, офицеров и матросов, погибших в Порт-Артуре, во Владивостоке, при Цусиме. Я не знаю ничего трогательнее этого некролога.. Но волнение усиливается, доходит до экстаза, когда ваш взор обращается к иконостасу. В глубине темной ниши Христос сверхчеловеческого роста несется, сияет в золотом ореоле над темными волнами. Величественностью позы, широтой жеста, бесконечной скорбью, которую излучают глаза, образ напоминает самые прекрасные византийские мозаики.

Когда я пришел сюда в первый раз, в начале 1914 г., я не понял всего патетического символизма этого священного лика. Теперь он представляется мне поразительно величественным и выразительным; он как бы передает последнее видение, которое поддержало, успокоило, очаровало тысячи и тысячи людей в минуту агонии во время этой войны.

По естественной ассоциации я вспомнил, что Распутин сказал как-то царице, заплакавшей при известии об огромных потерях в большом сражении: „Утешься. Когда мужик умирает за своего царя и свое отечество, еще одна лампада тотчас зажигается перед престолом господним“...

*Среда, 20 сентября.*

По всей линии румынского фронта приводится в исполнение план Гинденбурга. В Добрудже и по Дунаю, в округе Орсовы и в ущельях Карпат, германские, австрийские, болгарские и турецкие силы оказывают смыкающееся и непрерывное давление, под которым румыны всегда отступают.

*Пятница, 22 сентября.*

Неужели политическая карьера Штюрмера находится в опасности?

Меня уверяют, на основании правдоподобных признаков, что его ожесточенный враг, министр юстиции Хвостов, погубил его во мнении царя, разоблачив пред царем подкладку дела Мануйлова и напугав его перспективой неминуемого скандала. Какова эта подкладка? Об этом ничего не знают; но несомненно, что между Штюрмером и директором его секретариата есть труп или несколько трупов.

Говорят даже, что уже намечен преемник Штюрмера на посту председателя совета министров. Это будто бы теперешний министр путей сообщения Александр Федорович Трепов. Я мог бы себя только поздравить с таким выбором: Трепов честен, умен, трудолюбив, энергичен и патриот.

Обедал сегодня в ресторане Донон с Коковцевым и Путиловым. Бывший председатель совета министров и богатейший банкир соперничают друг с другом в пессимизме; один превосходит другого.

Коковцев заявляет:

— Мы идем к революции.

Путилов возражает:

— Мы идем к анархии.

Для большей точности он прибавляет:

— Русский человек не революционер; он анархист. А это большая разница. У революционера есть воля к восстановлению; анархист думает только о разрушении.

*Суббота, 23 сентября.*

Чтоб облегчить положение Румынии, союзники наступают на всех фронтах.

В Артуа и Пикардии англичане и французы берут штурмом длинную линию германских траншей. В округе Изонцо итальянцы форсируют наступление к востоку от Горицы. В Македонии англичане переходят через Струму, между тем как французы и сербы, захватив Флорину, стремительно гонят болгар по направлению к Монастырю. На Волыни от Пинских болот до района к югу от Луцка русские тревожат австро-германцев. В Галиции они продвигаются к Лембергу и к юго-западу от Галича. Наконец, на буковинских Карпатах они отбили у неприятеля несколько позиций к северу от Дорна-Ватра.

*Вторник, 26 сентября.*

В Афинах положение ухудшается: дуэль между королем и Венизелосом находится в решительной фазе.

Один русский журналист, о близости которого к Штюрмеру я знаю, пришел ко мне и сообщил по секрету, что „некоторые особы при дворе“ предвидят без огорчения возможность династического кризиса в Греции и возлагают даже некоторую надежду на французское правительство в смысле ускорения этого кризиса, „который был бы так благоприятен для дела союзников“.

Я ему осторожно отвечаю, что идеи, которыми руководится Бриан в своей политике по отношению к Греции, отнюдь не требуют династического кризиса и что королю Константину предоставляется самому осуществить великолепную программу национального расширения, которую предлагают ему союзные правительства. Он не настаивает.

Игру Штюрмера и „особ при дворе“, орудием которых является этот журналист, нетрудно разгадать.

Сторонники русского самодержавия, очевидно, не могли бы способствовать низвержению трона. Но если события в Греции должны привести к об'явлению республики, не лучше ли было бы,—говорят они себе,—прекратить кризис, заменив одного монарха другим?.. Кандидатов в русской царской фамилии хватит! А так как самодержавному правительству не пристало заниматься такой грязной работой, как низвержение короля, то правительству французской республики сам бог велел заняться этой неприятной операцией.

Двоюродный брат микадо, принц Котохито Канин, прибывает завтра в Петроград; он приезжает отдать царю Николаю визит, который великий князь Георгий Михайлович недавно сделал императору Иашихито.

По распоряжению полиции на главных улицах множество русских и японских флагов.

Эти приготовления внушают *мужикам* странные мысли. В самом деле, мой морской атташе, майор Галло, рассказывает мне, что только-что на Марсовом поле его извозчик обернулся к нему и, указывая на занятых обучением новобранцев, спросил его насмешливым тоном:

— Зачем их обучают?

— Да для того, чтоб драться с немцами.

— Зачем?... Вот я в 1905 г. участвовал в кампании в Манчжурии; был даже ранен при Мукдене. Ну, вот! а сегодня видишь, все дома украшены флагами, а на Невском стоят триумфальные арки в честь японского принца, который должен приехать... Через несколько лет то же самое будет с немцами. Их тоже будут встречать триумфальными арками... Так зачем же убивать тысячи и тысячи людей, ведь,—все это, наверное, кончится тем же, что и с Японией?

*Среда, 27 сентября.*

Штюрмер провел три дня в Могилеве при царе. Он, говорят, очень ловко оправдался. Из дела Мануйлова он кое-как выпутался, уверяя, что погрешил лишь снисходительностью и простодушием. Наконец, он поставил на вид, что близок созыв Думы, что революционные страсти кипят и что более, чем когда-либо, важно не ослаблять правительства. Он напрасно потратил бы свое красноречие, если бы царица не поддержала его со своей упорной энергией. Он спасен.

Я видел его сегодня в его кабинете; вид у него спокойный и улыбающийся. Я расспрашиваю его прежде всего о военных делах:

— Отдает ли себе генерал Алексеев точный отчет в высоком преимущественном интересе, какой представляет для нашего общего дела спасение Румынии?

— Я имел возможность убедиться, что генерал Алексеев придает очень большое значение операциям в Добрудже. Так, четыре русские и одна сербская дивизии перешли уже Дунай; скоро будет отправлена вторая сербская дивизия. Но это максимум того, что царь разрешает сделать в этой области. Вы, ведь, знаете, что у Ковеля и Станислава нам приходится бороться с огромными силами.

Он подтверждает то, что сообщили мне, с другой стороны, мои офицеры, а именно, что русские войска в Галиции понесли в последнее время чрезвычайно большие потери без заметного результата. От Пинска до Карпат им приходится сражаться с 29 германскими дивизиями, 40 австро-венгерскими и двумя турецкими; их задача чрезвычайно затруднена недостатком тяжелой артиллерии и аэропланов.

Затем мы говорим о министерском кризисе, разразившемся в Афинах, и о национальном движении, организующемся вокруг Венизелоса.

— У меня еще не было времени прочитать все телеграммы, полученные этой ночью; но я могу теперь же сообщить вам, что царь отозвался о короле Константине в очень суровых выражениях.

*Четверг, 28 сентября.*

Театральный трюк в Греции. Венизелос и адмирал Кундуриотис тайно отплыли в Крит, где повстанцы об'явили себя за Антанту. Националистические манифестации проходят по улицам Афин. В то же время тысячи офицеров и солдат собираются в Пирее, требуя отправления в Салоники для вступления в армию генерала Саррамб.

Я обсуждаю вместе со Штюрмером возможные последствия этих событий:

— От нас зависит,—говорю я,—чтобы положение изменилось в нашу пользу, если мы будем действовать сколько-нибудь скоро и решительно.

— Конечно... конечно...

Затем, неуверенно, как бы подыскивая слова, он возражает:

— Что мы сделаем, если король Константин станет упорствовать в своем сопротивлении?

И странно смотрит на меня взглядом вопрошающим и убегающим. Он повторяет свой вопрос.

— Что сделаем мы с королем Константином?

Если это не намек, то это, по меньшей мере, приманка и явно связанная с псевдо-конфиденциальным сообщением русского журналиста.

Я отвечаю в уклончивых выражениях, что афинские события мне еще недостаточно точно известны, чтобы я мог рисковать формулировать практическое мнение. Я прибавляю:

— Я предпочитаю к тому же подождать, пока г. Бриан ознакомит меня с своей точкой зрения; но я не премину сообщить ему, что, по вашему мнению, настоящий кризис непосредственно задевает короля Константина.

Затем мы переходим к другим сюжетам: визит принца Канина, неудача военных операций в Добрудже и в Трансильванских Альпах и пр.

Уходя, я замечаю на панно кабинета три гравюры, которых там не было накануне. Одна изображает венский конгресс, вторая — парижский, третья — берлинский.

— Я вижу, уважаемый господин председатель, что вы окружили себя знаменательными изображениями?

— Да, вы знаете, я страстно люблю историю. Я не знаю ничего более поучительного...

— И более обманчивого.

— О, не будьте скептиком. Нельзя никогда достаточно верить!.. Но вы не замечаете самого интересного.

— Не вижу...

— Вот это пустое место.

— Ну, что же?

— Это место, которое я оставляю для картины ближайшего конгресса, который будет называться, если бог меня услышит, московским конгрессом.

Он перекрестился и закрыл на мгновение глаза, как бы для краткой молитвы.

Я отвечаю просто.

— Но разве будет конгресс? Разве мы не условились заставить Германию согласиться на наши условия?

Увлеченный своей мыслью, он повторяет в экстазе:

— Как это было бы прекрасно в Москве!... Как это было бы прекрасно!... Дай бог, дай бог!

Он даже видит себя канцлером империи, преемником Нессельроде и Горчакова, открывающим конгресс всеобщего мира в Кремле. В этом его мелочность, глупость и самовлюбленность обнаруживаются в полной мере. В тяжелой задаче, одной из самых тяжелых, когда-либо ложившихся на человеческие плечи, он видит лишь повод к бахвальству... и личным выгодам.

Вечером я в парадной форме опять прихожу в министерство иностранных дел, где председатель совета министров дает обед-гала в честь принца Канина.

Слишком много света, цветов, серебра и золота, слишком много блюд, лакеев, музыки. Это настолько же оглушительно, насколько и ослепительно. Я помню, что при Сазонове в доме царил лучший тон и официальная роскошь сохраняла хороший вкус.

За столом председательствует великий князь Георгий Михайлович; я сижу налево от Штюрмера.

Во время всего обеда мы говорим лишь о вопросах банальных. Но за десертом Штюрмер ex abrupto говорит мне:

— Московский конгресс!... Не думаете ли вы, что это было бы великолепным освящением франко-русского союза. Сто лет спустя после пожара наш святой город был бы свидетелем того, как Россия и Франция провозглашают мир всего мира...

И он с интересом начинает развивать эту тему.

Я возражаю:

— Мне совершенно неизвестно мнение моего правительства о месте ближайшего конгресса и меня даже удивило бы, при данном состоянии наших военных опе-

раций, если бы г. Бриан остановил свое внимание на столь отдаленной возможности. Я, впрочем, и не желаю, как я уже говорил вам утром, чтобы конгресс состоялся. По моему мнению, мы в высокой степени заинтересованы в урегулировании общих условий мира между союзниками, чтобы заставить наших врагов принять их en bloc. Часть работы уже сделана, мы пришли к соглашению по вопросам о Константинополе, проливах, Малой Азии, Трансильвании, Адриатическом побережье и пр. Остальное будет сделано в свое время... Но, прежде всего и сверх всего, подумаем о победе. Девизом нашим должно было бы быть: Primum et ante omnia—vincere!... За ваше здоровье, мой дорогой председатель!

В течение вечера я беседовал с принцем Канин. Упомянув о своем долгом пребывании во Франции, в Самюрской школе, он говорит о том, как он тронут сердечным приемом императора и какое приятное впечатление произвел на него прием толпы. Мы говорим о войне. Я замечаю, что он избегает всякого определенного мнения, всякого суждения о ситуациях и фактах. Под его холодно хвалебными формулами я чувствую его презрение к побежденным в 1905 г., так плохо использовавшим данный им урок.

*Пятница, 29 сентября.*

Экономическое положение в последнее время много ухудшилось. Вздорожание жизни служит причиной всеобщих страданий. Предметы первой необходимости вздорожали втрое, сравнительно с началом войны. Дрова и яйца даже вчетверо, масло и мыло впятеро. Главные причины такого положения, к несчастью, так же глубоки, как и очевидны: закрытие иностранных рынков,

загромождение железных дорог, недостаток порядка и недостаток честности у администрации.

Что же это будет, когда скоро придется считаться, кроме того, с ужасами зимы и с испытаниями холода, еще более жестокими, чем испытания голода?

*Суббота, 30 сентября.*

В Галиции происходит упорный бой между Стырью и Золотой Липой. Русские, перейдя в наступление, пытаются пробить брешь в районе Красне и Бржезан, в 50 километрах от Львова.

*Воскресенье, 1 октября.*

Прием в японском посольстве в честь принца Канина. Один из самых блестящих вечеров, на нем присутствуют великие князья: Георгий, Сергей, Кирилл и пр.

Я поздравляю моего коллегу Мотоно с успехом. Он отвечает мне со своими обычными тонкостью и флегмой:

— Да, довольно удачно... Когда я прибыл послом в Петроград в 1908 г., со мной едва говорили, меня никуда не приглашали, а великие князья делали вид, будто не знают меня... Теперь все изменилось. Цель, которую я себе поставил, достигнута: Япония и Россия связаны истинной дружбой...

Во время давки у буфета я завожу беседу с высокопоставленным придворным сановником, Э..., который, подружившись со мной, никогда не упускает случая проявить предо мною свой подозрительный и неумеренный национализм. Я спрашиваю, что у него слышно нового.

Как будто не расслышав моего вопроса, он указывает мне на Штюрмера, разглагольствующего в не-

скольких шагах от нас. Затем с тратегическим выражением лица бросает мне:

— Господин посол, как это вы и ваш английский коллега до сих пор не положили конца изменам этого человека?

Я его успокаиваю:

— Это сюжет, на который я охотно поговорю с вами... но в другом месте, не здесь. Вот приходите в четверг позавтракать tête à tête.

— Конечно, не премину.

*Понедельник, 2 октября.*

Бой, завязавшийся между Стырью и Золотой Липой, продолжается успешно для русских, которые прорвали первые неприятельские линии и взяли 500 пленных.

Но в районе Луцка, в ста километрах к северу, вырисовывается сильная контр-атака немцев.

*Вторник, 3 октября.*

Штюрмеру удалось свалить своего смертельного врага, министра внутренних дел, Хвостова; ему, значит, больше нечего бояться дела Мануйлова.

Новый министр внутренних дел—один из товарищей председателя Думы, Протопопов. До сих пор император редко выбирал своих министров из среды народного представительства. Выбор Протопопова не представляет, однако, никакой эволюции в сторону парламентаризма. Далеко не так...

По своим прежним взглядам Протопопов считается „октябристом“, т.-е. очень умеренным либералом. В июне прошлого года он входил в состав парламентской делегации, отправленной в Западную Европу, и в Лондоне,

как и в Париже, выказал себя горячим сторонником войны до конца. Но на обратном пути, во время остановки в Стокгольме, он позволил себе странную беседу с немецким агентом, Паулем Варбургом, и, хотя дело остается довольно темным, он несомненно говорил в пользу заключения мира.

По возвращении в Петроград, он сблизился с Штюрмером и Распутиным, которые скоро представили его императрице. Он быстро вошел в милость. Его сейчас же посвятили в тайные совещания в Царском Селе; ему давало на это право его знание тайных наук, главным образом, самой высокой и самой темной из них: некромантии. Кроме того, я достоверно знаю, что он был болен какой-то заразной болезнью, что у него осталось после этого нервное расстройство и что в последнее время в нем наблюдали симптомы, предвещающие общий паралич. Итак, внутренняя политика империи в хороших руках!

*Среда, 4 октября.*

Великий князь Павел (сегодня его тезоименитство) пригласил меня к обеду вечером вместе с великим князем Кириллом и его супругой, княгиней Викторией, великим князем Борисом, великой княгиней Марией Павловной второй, m-me Нарышкиной, графиней Крейц, Димитрием Бенкендорфом, Савинским и пр.

Все лица как бы покрыты вуалью меланхолии. Действительно, надо быть слепым, чтобы не видеть зловещих предзнаменований, скопившихся на горизонте.

Великая княгиня Виктория со страхом говорит со мной о своей сестре, королеве румынской. Я не смею ее успокаивать. Ибо румыны с великим трудом оказывают сопротивление на Карпатах и, если они сколько-нибудь ослабеют, наступит полная катастрофа.

— Сделайте милость,—говорит она,—настаивайте, чтобы туда немедленно отправили подкрепление... Судя по тому, что пишет мне моя бедная сестра,—а вы знаете, как она мужественна,—нельзя больше терять ни одной минуты: если Румынии не будет без замедления оказана помощь, катастрофа неизбежна.

Я рассказываю ей о своих ежедневных настойчивых беседах со Штюрмером:

— Теоретически он подписывается под всем, что я ему говорю, под всем, о чем я его прошу. На деле же он прячется за генерала Алексеева, который, кажется, не понимает опасности положения. А император смотрит на все глазами генерала Алексеева.

— Император в ужасном состоянии духа.

Не об'ясняя ничего больше, она быстро встает и под предлогом, будто идет за папиросой, присоединяется к группе дам.

Тогда я принимаюсь за каждого в отдельности, за великого князя Павла, великого князя Бориса и великого князя Кирилла. Они видели царя в последнее время; они живут в тесном общении с его приближенными: они, значит, занимают хорошее положение для того, чтоб доставить мне нужные сведения... Тем не менее, я остерегаюсь расспрашивать слишком открыто, потому что они стали бы уклоняться... Между прочим, и как бы не придавая этому значения, я возвращаюсь к мнениям царя; я намекаю на такое-то принятое им решение, на такое-то сказанное им мне слово. Они отвечают мне без опаски. И их ответы, которые они не имели возможность согласовать, не оставляют во мне никакого сомнения относительно морального состояния императора. В его речах ничего не изменилось: он попрежнему выражает свою волю к победе и уверенность в ней. Но

в его действиях, в его физиономии, в его фигуре, во всех отражениях его внутренней жизни чувствуется уныние, апатия, покорность.

*Четверг, 5 октября.*

Высокопоставленный придворный сановник Э... завтракает у меня в посольстве. Я не пригласил никого другого, чтоб он чувствовал себя вполне свободно.

Пока мы остаемся за столом, он сдерживается перед слугами. По возвращении в салон он выпивает один за другим два стакана шампанского, наливает себе третий, закуривает сигару и с разгоревшимся лицом, высоко подняв голову, смело задает мне вопрос:

— Господин посол, чего ждете вы, ваш английский коллега и вы, чтоб положить конец измене Штюрмера?

— Мы ждем возможности формулировать против него определенное обвинение... Официально нам не в чем его упрекнуть; его слова и поступки совершенно корректны. Он даже поминутно заявляет нам: „Война до конца!... Нет пощады Германии!...“ Что касается его интимных мыслей и тайных маневров, у нас есть лишь впечатления, интуиции, которые, самое большее, позволяют нам предполагать и подозревать. Вы оказали бы нам выдающуюся услугу, если бы вы могли указать нам положительный факт, подтверждающий ваше мнение.

— Я не знаю никакого положительного факта, но измена очевидна. Неужели вы ее не видите?

— Недостаточно того, чтоб я ее видел; надо еще, чтобы я в состоянии был показать ее сначала моему правительству, а потом царю... Нельзя начинать такое серьезное дело без малейшего хотя бы доказательства.

— Вы правы,

— Так как мы пока что вынуждены довольствоваться гипотезами, скажите, прошу вас, как вы себе представляете то, что вы называете изменой Штюрмера?

Тогда он заявляет мне, что Штюрмер, Распутин, Добровольский, Протопопов и компания сами по себе имеют значение второстепенное и подчиненное, что они— простые орудия в руках анонимного и немногочисленного, но очень могущественного кружка, который, устав от войны и боясь революции, требует мира.

— Во главе этого кружка,—продолжает он,—вы найдете, конечно, дворянство балтийских провинций и всех главных придворных должностных лиц. Затем идет ультра-реакционная партия Государственного Совета и Думы; далее, наши сенатские владыки; наконец, все господа крупные финансисты и крупные промышленники. Через Штюрмера и Распутина они держат в руках императрицу, а через императрицу—императора.

— О! они еще не держат в руках императора... И никогда его не будут держать в руках. Я хочу сказать, что они никогда не заставят его отделиться от его союзников.

— В таком случае они его убьют или заставят отречься от престола.

— Отречься?... Вы представляете себе отречение императора? В пользу кого?

— В пользу своего сына, под регентством императрицы. Будьте уверены, что в этом состоит план Штюрмера или, вернее, тех, которые руководят им. Для того, чтобы достигнуть своих целей, эти люди ни перед чем не остановятся: они способны на все. Они провоцируют стачки, бунты, погромы, кризисы нищеты и голода; они создают везде такую нужду, такое уныние,

что продолжение войны станет невозможным. Вы их не видели за работой в 1905 г.

Я резюмирую все, что он мне сказал, и заключаю:

— Первое, что надо сделать, это свалить Штюрмера. Я над этим поработаю.

*Суббота, 7 октября.*

Между Стырью и Золотой Липой русских задерживают неприступные укрепления, сосредоточенные у Львова. Они, кроме того, вынуждены перенести свое главное усилие на сто километров к северу, в район Луцка, где на них сильно наседают немцы.

С начала их большого наступления войска генерала Брусилова взяли 430.000 человек, 550 пушек и 2.700 пулеметов.

M-me Г..., муж которой занимает важный пост в министерстве внутренних дел, состоит уже много лет Нимфой Эгерией Штюрмера. Честолюбивая интриганка, она поддерживала Бориса Владимировича в продолжение всей его административной деятельности. С тех пор, как ей удалось сделать из него, милостью Распутина, председателя совета министров, нет предела ее мечтам о его величии. Она сказала недавно одной из своих подруг, подчеркивая свои слова таинственной важностью, как если бы сообщила государственную тайну: „Вы скоро увидите великие события. В скором времени наше дорогое отечество вступит на истинно спасительный путь. Борис Владимирович будет премьером ее величества императрицы...“

*Воскресенье, 8 октября.*

Лицо, очень точно осведомляющее меня обо всем, что говорят и делают в передовых кругах, отмечает

очень активную работу социал-демократической партии и, в особенности, ее крайней фракции, большевиков.

Затянувшаяся война, неуверенность в победе, экономические затруднения вновь оживили надежды революционеров. Готовятся к борьбе, которую считают близкой.

Вождями движения являются три депутата Государственной Думы: Чхеидзе, Скобелев и Керенский. Два очень сильных влияния действуют также из-за границы: влияние Плеханова, живущего в Париже, и влияние Ленина, нашедшего убежище в Швейцарии.

Что в особенности поражает меня в петроградском триумвирате, это—практический характер их деятельности. Разочарования 1905 г. принесли свои плоды. Не ищут больше соглашения с „кадетами", потому что они буржуа и никогда не поймут пролетариата; нет больше иллюзий на счет немедленного содействия со стороны крестьянских масс. Поэтому ограничиваются тем, что обещают им раздел земли. Прежде всего организуют „вооруженную революцию". Путем тесного контакта между рабочими и солдатами будет установлена „революционная диктатура". Победа будет одержана, благодаря тесному единению фабрик и казармы. Керенский—душа этой работы.

*Понедельник, 9 октября.*

Новый министр внутренних дел Протопопов провозглашает крайне рекционную программу. Он не побоится, говорит он, стать лицом к лицу с силами революции; если нужно будет, он провоцирует их для того, чтобы сразу покончить с ними; он чувствует себя достаточно сильным, чтобы спасти царизм и святую Русь православную, и он их спасет... Такие речи про-

износит он в своем интимном кругу с неиссякающим словообилием и самодовольными улыбками. А между тем, всего несколько месяцев тому назад его причисляли к умеренным либералам Государственной Думы. Его тогдашние друзья, уважавшие его настолько, что сделали его товарищем председателя Думы, не узнают его.

Резкость его речей об'ясняется, как меня уверяют, состоянием его здоровья: внезапные перемены характера, экзальтация, призраки и образы, неожиданно рождающиеся в его мозгу, составляют типичные симптомы, предвещающие общий паралич. С другой стороны, несомненно (я только-что узнал об этом), что его свел с Распутиным его врач, терапевт Бадмаев, этот монгольский шарлатан, применяющий к своим больным магические фокусы и чудодейственную фармакопею тибетских шаманов. Я уже упомянул о союзе, заключенном некогда у изголовья маленького царевича между знахарем-спиритом и „старцем".

Давно посвященный в тайны учения, Протопопов был предназначен стать клиентом Бадмаева. Последний, беспрерывно занятый какой-нибудь интригой, сразу сообразил, что товарищ председателя Думы будет драгоценным рекрутом для камарильи императрицы. Во время своих кабалистических операций ему нетрудно было приобрести влияние на этот неуравновешенный ум, на этот больной мозг, в котором уже обнаруживаются симптомы, предшествующие мегаломании. Скоро он представил его Распутину. Политик-невропат и мистик-чудотворец были очарованы друг другом. Несколько дней спустя, Григорий указал императрице на Протопопова, как на спасителя, которого провидение приберегло для России. Штюрмер рабски поддержал. А император лишний раз уступил.

*Вторник, 10 октября.*

Румыны отступают по всей линии. Бездарность высшего командования, утомление и уныние войск; новости очень плохи.

Очень кстати генерал Бертело, который будет руководить французской военной линией в Румынии, прибыл в Петроград. Он произвел на меня наилучшее впечатление. Такое лукавство взгляда составляет контраст с массивным телосложением; ум ясный и положительный, простая и меткая речь. Но что преобладает во всей его личности, это—воля, спокойная, улыбающаяся, непреклонная.

Я представляю его Штюрмеру, и мы тотчас начинаем обсуждать положение. При разговоре присутствуют Нератов и Бьюкенен. Я возвращаюсь к теме, столько раз развивавшейся мною, о капитальном значении, которое операции в районе Дуная имеют для России.

— Несмотря на блестящие успехи генерала Брусилова, ваше наступление не оправдало наших надежд. Если не произойдет поворота к лучшему, который становится со дня на день все менее вероятным, весь русский фронт, от Риги до Карпат, рискует скоро оказаться в блокаде, за недостатком тяжелой артиллерии и аэропланов. При этих условиях, если мы дадим раздавить Румынию, если Бухарест и Констанца попадут в руки неприятеля, пострадает, главным образом, Россия, так как Одесса окажется под угрозой, и дорога в Константинополь будет отрезана. Неужели генерал Алексеев не мог бы при такой перспективе набрать из всего состава своих армий отряд в три-четыре корпуса для отправки на помощь Румынии?

Наступление салоникской армии проходит хорошо, но ее усилие останется бесплодным, если румынская армия будет выведена из боя.

*Среда, 11 октября.*

Мой японский коллега, виконт Мотоно, назначен министром иностранных дел. Из всех японцев, которых я знал, это, несомненно, самый свободомыслящий, наиболее сведущий в европейской политике, наиболее доступный европейской мысли и культуре. Я теряю в нем превосходного коллегу, очень надежного в личных отношениях и замечательно осведомленного.

Поздравив его, я расспрашиваю о направлении, которое он намеревается дать японской дипломатии.

— Я попытаюсь, — отвечает он мне, — применить идеи, которые я часто излагал вам. Я хотел бы прежде всего сделать более действительным наше участие в войне. Это будет труднейшей частью моей роли, потому что наше общественное мнение не представляет себе всемирного характера вопросов, которые решаются в настоящее время на полях сражения Европы.

В этом заявлении для меня нет ничего удивительного. Действительно, он всегда проповедывал своему правительству более активное вмешательство в европейский конфликт; он даже старался добиться того, чтобы корпусы японской армии были отправлены во Францию, наконец, не переставал настаивать, чтоб увеличить и ускорить посылку японских оружия и снарядов в Россию. При всех обстоятельствах он становился на точку зрения самого возвышенного понимания Союза...

При расставании он говорит мне:

— А положение внутреннее? Не беспокоит оно вас?

— Беспокоит?—Нет.—Тревожит? — Да... По моим сведениям, либеральные партии Думы решили не поддаваться ни на одну из провокаций правительства и отложить до другого времени свои требования. Опасность, значит, придет не от них, но события могут овладеть их волей. Военного поражения, голода, дворцового переворота—вот чего я в особенности боюсь. Если произойдет одно из этих трех событий, это неминуемая катастрофа.

Мотоно безмолвствует. Я продолжаю:

— Вы со мной не согласны?

Новое молчание. Его лицо морщится от напряженного размышления. Затем:

— Вы так точно передали мое мнение, что мне казалось, будто я слушаю себя самого.

*Пятница, 13 октября.*

Румынский посол, Диаманди, которого Братиано два месяца удерживал при себе, прибыл сегодня утром в Петроград после остановки в Ставке. Он пришел повидаться со мной.

— Император,—говорит он мне,—оказал мне самый сердечный прием и обещал сделать все возможное для спасения Румынии. Я был гораздо меньше удовлетворен своей беседой с генералом Алексеевым, который, кажется, не понимает страшной серьезности положения или, может быть, руководствуется эгоистическими задними мыслями, исключительной заботой о своих собственных операциях. Мне была дана миссия требовать немедленной посылки трех корпусов войск в район, расположенный между Дорна-Ватра и Ойтузской долиной; эти три корпуса могли бы перейти через Карпаты в Пиатре и Поланке, они прошли бы прямо на запад,

т.-е. к Вазаргели и Клаузенбургу. Вторжение в Валахию через южные Карпаты было бы немедленно остановлено. Но генерал Алексеев соглашается послать лишь два корпуса, которые должны будут оперировать исключительно в долине Быстрицы, около Дорна-Ватра, в связи с армией генерала Лещинского. И при том эти два корпуса будут взяты из рижской армии, так что прибудут в Трансильванию дней через пятнадцать-двадцать... Я заклинал его пойти нам навстречу шире, но я не в состоянии был убедить его в целесообразности идей румынского главного штаба.

Затем он сообщил мне, под каким скорбным впечатлением покинул он свою родину. Давность нашей дружбы позволяет ему говорить свободно. Я энергично представляю ему, что в военных поражениях нет ничего непоправимого, но что если румынское правительство и народ не возьмут себя немедленно в руки, Румыния безвозвратно погибла.

— Надо, во что бы то ни стало, чтоб ваша страна вышла из уныния и чтоб ваши министры вернули себе мужество. Они, впрочем, получат в лице генерала Бертело превосходное тоническое средство.

*Понедельник, 16 октября.*

Вот уже несколько дней в Петрограде циркулирует странный слух: уверяют, что Штюрмер доказал, наконец, императору необходимость кончить войну, заключив, в случае надобности, сепаратный мир. Более двадцати лиц пришли ко мне с расспросами. Каждый получал от меня один и тот же ответ:

— Я не придаю этим россказням никакого значения. Никогда император не предаст своих союзников.

Я думал, тем не менее, что легенда не пользовалась бы таким кредитом без содействия Штюрмера и его шайки.

Сегодня, по повелению императора, телеграфное агентство публикует официальную ноту, категорически опровергающую слух, распространяемый некоторыми газетами о сепаратном мире между Россией и Германией.

*Вторник, 17 октября.*

Я даю Мотоно прощальный обед. Кроме того, приглашены: председатель совета министров Штюрмер с супругой, министр путей сообщения Трепов, итальянский посол, полномочный министр Дании Скавенице с супругой, генерал Волков, княгиня Кантакузен, чета Половцевых, князь и княгиня Оболенские, генерал барон Врангель с супругой, виконт д-Аркур, который едет в Румынию с миссией французского Красного Креста, и другие, всего около тридцати человек.

M-me Штюрмер поразительно подходит к своему супругу. Это та же форма ума, то же качество души. Я рассыпаюсь перед ней в любезностях, чтоб заставить ее говорить. Она угощает меня длинным панегириком императрице. Под потоком похвал и подхалимства я ясно чувствую искусную работу, благодаря которой Штюрмер овладел доверием императрицы. Он убедил эту бедную невропатку, считавшую себя до сих пор предметом ненависти всего своего народа, что ее, напротив, обожают:

— Нет того дня,—говорит мне m-me Штюрмер,— когда императрица не получала бы писем и телеграмм, адресованных к ней рабочими, крестьянами, священниками, солдатами, ранеными. И все эти простые люди,

которые суть истинный голос русского народа, уверяют ее в своей горячей преданности, в своем безграничном доверии и умоляют ее спасти Россию.

Она наивно добавляет:

— Когда мой муж был министром внутренних дел, он тоже ежедневно получал такие письма либо непосредственно, либо через провинциальных губернаторов. И для него было большой радостью относить их императрице.

— Эта радость выпадает сейчас на долю г. Протопопова.

— Да, но у моего мужа есть еще много случаев констатировать, до какой степени ее величество императрица пользуется поклонением и обожанием в стране.

Притворно пожалев о том, что на ее мужа ложится такой тяжелый труд, я заставляю ее рассказать мне, как проводит время ее муж. И я констатирую, что вся его деятельность вдохновляется императрицей и кончается императрицей.

Во время вечера я расспрашиваю Трепова об экономическом кризисе, свирепствующем в России и нервирующем общественное мнение.

— Задача продовольственная,—говорит он мне,— действительно, стала доставлять много хлопот; но оппозиционные партии злоупотребляют этим для того, чтоб нападать на правительство. Вот, если говорить искреннюю правду, каково положение. Во-первых, кризис далеко не имеет общего характера; он достигает серьезных размеров только в городах и некоторых сельских поселениях. Правда, в некоторых городах, как, например, в Москве, публика нервничает. Однако, недостатка в продовольствии, кроме некоторых продук-

тов, приходивших из-за границы, нет. Но перевозочные средства недостаточны и метод распределения их неудовлетворителен. В этом отношении будут приняты энергичные меры. И я вас уверяю, что в непродолжительном времени положение улучшится; я надеюсь даже, что не позже, как через месяц, настоящие затруднения будут устранены.

Он добавляет конфиденциальным тоном:

— Мне хотелось бы спокойно побеседовать с вами, господин посол. Когда могли бы вы меня принять?

— Я буду у вас. Лучше, чтоб наша беседа происходила в вашем министерстве.

Бросив взгляд на Штюрмера, он говорит:

— Да, это лучше.

Мы уславливаемся встретиться послезавтра.

Я подхожу к барону Врангелю, который разговаривает с моим военным атташе, подполковником Лавернь, и моим морским атташе, капитаном фрегата Галло. Ад'ютант великого князя Михаила, брата императора, он сообщает им впечатления, вынесенные из Галиции.

— Русский фронт, говорит он, теперь обложен от одного конца до другого. Не рассчитывайте больше ни на какое наступление с нашей стороны. К тому же, мы бессильны против немцев, мы их никогда не победим.

*Четверг, 19 октября.*

Трепов принимает меня в половине третьего в своем кабинете в министерстве путей сообщения, которое выходит окнами в Юсуповский сад.

Относительно экономического кризиса он повторяет мне, подкрепляя свои заявления точными циф-

рами, то, что он говорил мне позавчера, вечером, в посольстве. Затем, с откровенностью, подчас резкой, составляющей одну из черт его характера, он говорит со мной о Союзе и о целях, которые он себе ставит. Он заключает:

— Мы переживаем критический момент. То, что решается в настоящее время между Дунаем и Карпатами, это—исход или, вернее, затяжка войны, потому что исход войны не может... не должен больше вызывать сомнений. Совсем недавно я делал доклад императору, который разрешил мне говорить свободно, и я имел удовлетворение убедиться, что он согласен со мной относительно необходимости не только поддержать Румынию, но и атаковать серьезно Болгарию, лишь только румынская армия будет немного усилена и обстрелена. Именно на Балканском полуострове, и нигде больше, мы можем надеяться добиться в короткий срок решительного результата. Если нет, война затянется бесконечно... и с каким риском!

Я поздравляю его с тем, что он выражает так решительно идеи, которые я больше месяца защищаю перед Штюрмером.

— Но так как мы беседуем с полной откровенностью, я не скрою от вас, что на меня производят очень неприятное впечатление распространяемые со всех сторон пессимистические слухи. Я тем более огорчен этим, что эта пропаганда явно вдохновляется лицами с высоким общественным и политическим положением.

— Вы намекаете на лиц, требующих окончания войны во что бы то ни стало и возвращения России к системе немецких союзов... Позвольте мне, во-первых, сказать вам, что эти люди безумны. Мир без победы,

без полной победы это—немедленная революция. И именно эти лица были бы ее первыми жертвами... Но мало того: есть воля императора, а эта воля непоколебима; никакое влияние не заставит ее поддаться. Еще только на-днях он повторял мне, что никогда не простит императору Вильгельму его оскорбления и вероломства, что он откажется вести переговоры о мире с Гогенцоллернами, что он будет продолжать войну до уничтожения прусской гегемонии.

— В таком случае, почему он вверяет власть г. Штюрмеру, г. Протопопову, которые явно предают его намерения?

— Потому что он слаб... Но он не менее упрям, чем слаб. Это странно, но, однако, это так.

— Это не странно. Психологи об'яснят вам, что упрямство лишь форма слабости. Поэтому его теперешнее упорство лишь наполовину успокаивает меня. Зная его характер, будут избегать сталкиваться с ним лицом к лицу; будут действовать за его спиной и без его ведома. В один прекрасный день его поставят перед совершившимся фактом. Тогда он уступит, или, точнее, махнет рукой и покорится.

— Нет, нет... Я верю в моего монарха... Но надо иметь мужество говорить ему правду.

Наша беседа продолжается больше часа. Я встаю, чтоб уйти. Но прежде, чем дойти до двери, я останавливаюсь у окна перед видом на Юсуповские сады, которые тянутся вдоль дворца министра. Почти стемнело и идет снег, как будто ночь спускается вместе с снегом в медленном падении хлопьев и мрака.

После неловкого молчания Трепов подходит ко мне. Потом, как будто приняв смелое решение, он заявляет мне энергично и коротко:

— Через несколько дней я опять увижу императора. Разрешите вы мне передать ему наш разговор?

— Я не только разрешаю вам, я прошу вас об этом.

— А если он спросит, на каких лиц вы намекаете?

— Вы назовете ему г. Штюрмера и г. Протопопова; вы можете прибавить, что если я не могу формулировать против них официально никакого положительного обвинения, я, тем не менее, убежден, что они враждебны Союзу, служат ему неохотно и готовятся изменить ему.

— Я повторю ему слово в слово... Вы понимаете, как важно все, что мы сейчас говорили. Могу я рассчитывать, что вы сохраните абсолютную тайну?

— Я вам это обещаю.

— Прощайте... Наша беседа будет иметь, может быть, важные последствия.

— Это зависит от вас... Прощайте!

*Суббота, 21 октября.*

Не думаю, чтобы среди тайных агентов, которых Германия держит в русском обществе, она имела более активных, более ловких, более влиятельных, чем банкир Манус.

Добившись обычным путем разрешения жить в Петрограде, он приобрел в последние годы значительное состояние маклерством и спекуляцией. Деловое чутье внушило ему мысль о близости с самыми махровыми защитниками трона и алтаря. Так, он рабски пресмыкался перед старым князем Мещерским, знаменитым редактором „Гражданина“, неустрашимым поборником православия и самодержавия. В то же время

его скромная и находчивая щедрость снискала ему мало-по-малу расположение всей шайки Распутина.

С начала войны он ведет кампанию за скорое примирение России с немецкими державами. К нему очень прислуживаются в мире финансов, у него есть связи с большинством газет. Он находится в беспрерывных отношениях с Стокгольмом... т.-е. с Берлином. Я сильно подозреваю, что он является главным распределителем германских субсидий. По средам у него обедает Распутин. Адмирал Нилов, генерал-адъютант императора, числящийся при его особе, приглашается из принципа за умение пить, не пьянея. Другим непременным гостем является бывший директор департамента полиции, страшный Белецкий, ныне сенатор, но сохранивший все свое влияние в „охранке" и поддерживающий, через г-жу Вырубову, постоянное сношение с императрицей. Конечно, есть несколько милых женщин для оживления пира. В числе обычных гостей имеется очаровательная грузинка, г-жа Э., гибкая, вкрадчивая и обольстительная, как сирена. Пьют всю ночь напролет; Распутин скоро пьянеет и тогда болтает без удержу. Я не сомневаюсь, что подробный отчет об этих оргиях отправляется на следующий день в Берлин..., подкрепленный комментариями и точными подробностями.

*Воскресенье, 22 октября.*

Генерал Беляев, назначенный представителем русского командования в Румынии, пришел со мной проститься.

Он сообщает мне по секрету, что, кроме двух корпусов русских войск, которые уже отправлены в Молдавию и должны попытаться проникнуть в Трансиль-

ванию через Поланку, 7 ноября будет отправлен третий корпус в Валахию, где он будет действовать согласованно с румынской армией между Дунаем и Карпатами. Ему поручено заявить королю Фердинанду, что император не исключает возможности дальнейшей посылки новых подкреплений.

Я высказываю генералу Беляеву, что эта „дальнейшая“ посылка мне представляется крайне неотложной:

— Операции на балканском театре войны принимают с каждым днем все более решительный характер... и в какую сторону! Добруджа потеряна. Констанца скоро падет. Все проходы в Трансильванских Альпах форсированы. Подходит зима... Малейшее опоздание грозит оказаться непоправимым.

Он соглашается со мной:

— Я настаивал из всех сил перед императором и генералом Алексеевым, чтобы к Бухаресту была отправлена армия из трех-четырех корпусов. Там она соединится с румынской армией. Мы имели бы, таким образом, в сердце Румынии превосходную маневренную массу, которая позволила бы нам не только загородить проход Карпат, но и вторгнуться в Болгарию. Император убежден уже в правильности этой идеи; он признает необходимость добиться быстро крупного успеха на Балканах. Но генерал Алексеев не соглашается обнажить русский фронт; он боится, как бы немцы не воспользовались этим для того, чтоб импровизировать наступление в рижском направлении.

— Однако, командует император. Генерал Алексеев лишь его технический советник, он исполнитель его приказаний.

— Да, но его величеству очень неприятно навязывать свою волю генералу Алексееву.

— Я расспрашиваю генерала Беляева о моральном состоянии императора. Он отвечает мне с явным смущением:

— Его величество грустен, задумчив. Моментами, когда он говорит, у него вид такой, как будто он все не слышит... У меня осталось нехорошее впечатление.

Расставаясь со мной, он напоминает мне о всех важных конфиденциальных сообщениях, которыми мы с ним обменялись с начала войны; он благодарит меня за прием, который он всегда встречал с моей стороны, и заканчивает словами:

— Нам предстоят еще трудные дни, очень трудные...

*Вторник, 24 октября.*

Вопреки предвидениям Трепова, экономическое положение не только не улучшается, а ухудшается. По словам одного из моих осведомителей, обошедшего вчера промышленные кварталы Галерной и Нарвской, народ страдает и озлобляется. Открыто обвиняют министров в том, что они поддерживают голод, чтоб вызвать волнение и иметь предлог к расправе против социалистических организаций. На фабриках по рукам ходят брошюры, подстрекающие рабочих устраивать забастовки и требовать заключения мира. Откуда эти брошюры? Никто этого не знает. Одни полагают, что они распространяются германскими агентами, другие полагают — „охранкой“. Везде повторяют, что „так продолжаться не может“. Большевики, или „экстремисты“, волнуются, организуют совещания в казар-

мах, заявляют, что „близится великий день пролетариата“.

Я спрашиваю моего осведомителя, который умен, достаточно честен и вращается в либеральных кругах:

— Думаете ли вы, что можно, здраво рассуждая, приписать этакому Штюрмеру или Протопопову макиавеллистическое намерение поддерживать голод с целью вызвать волнение и сделать невозможным, таким образом, продолжение войны?

Он отвечает мне:

— Но, господин посол, в этом состоит вся история России... Со времен Петра Великого и знаменитой Тайной Канцелярии именно полиция провоцировала всегда народные волнения, чтоб приписать себе затем честь спасения режима. Если продолжение войны будет угрожать опасностью царизму, будьте уверены, что Штюрмер и Протопопов прибегнут к классическим приемам „охранки“. Но на этот раз это не пройдет, как в 1905 г...

*Среда, 25 октября.*

Третьего дня австро-болгары взяли Констанцу. Мы не только теряем правый берег Дуная и возможность дальнейшего наступления к Балканам; мы теряем и дунайскую дельту, а, значит, и самую прямую дорогу. из южной России в Румынию, из Одессы в Галац Снабжение русской и румынской армий станет скоро неразрешимой задачей.

Ко мне пришел Диаманди. Он в отчаянии:

— Я трачу всю свою энергию на то, чтобы добиться посылки новых русских контингентов. В Главном Штабе заявляют, что можно только доложить об этом генералу Алексееву; я знаю, что это значит.

Когда я обращаюсь к Штюрмеру, он ограничивается тем, что поднимает глаза к горе, повторяя:

— Не унывайте... Провидение велико и оно так милостиво. Так милостиво!

— Так что же делать?

— Повидайтесь с императором.

— Вы серьезно даете мне этот совет?

— Увы! что вы еще можете сделать?

*Пятница, 27 октября.*

Великая княгиня Мария Павловна открывает сегодня днем на углу Марсова поля и Мойки выставку протез для увечий лица. Она передала мне приглашение быть там.

На дворе невообразимо унылая погода. Небо—цвета аспидной доски и свинца—пропускает лишь свет гаснущий, бледный, бесцветный, свет затмения. В воздухе медленно вьются снежные хлопья. Почва бесконечного Марсова поля представляет собою лишь болото из липкой грязи и соленых луж. На заднем плане построенный по обету храм Воскресения окутан туманом, как креповой вуалью.

Я сопровождаю великую княгиню из залы в залу. Тусклый свет, проникающий через окна, еще больше усиливает зловещий характер этой выставки. В каждой витрине фотографии, гипсовые маски, восковые фигуры вперемежку с аппаратами, чтобы показать их механизм и употребление. Все эти лица, искромсанные, разодранные, ослепленные, раздробленные, бескостные, утратившие подчас даже вид человеческий, составляют жестокое зрелище, которому поистине нет названия ни на одном языке. Самое бредовое воображение не могло бы

представить подобного музея ужасов. Сам Гойя не в состоянии был дойти до этих кошмарных образов; страшные офорты, в которых ему доставило удовольствие представить сцены убийства и пытки, бледнеют перед этими чудовищными реальностями.

Поминутно великая княгиня испускает вздох сожаления или закрывает рукой глаза. После того, как мы кончили обход галлерей, она идет в особо отведенный салон отдохнуть несколько минут. Там она усаживает меня возле себя; затем, приняв равнодушный вид, потому что на нас смотрят, она шепчет:

— Ах, мой дорогой посол, скажите мне, скажите мне скорей что-нибудь утешительное... Душа моя была уже очень мрачна, когда я вошла сюда. Ужасы, которых мы только-что насмотрелись, окончательно расстроили меня. Да, утешьте меня скорей!

— Но почему душа ваша была так мрачна, когда вы пришли сюда?

— Потому что... потому что... Нужно ли мне говорить вам это?

Затем она быстро перечислила причины своего беспокойства. На русском фронте наступление Брусилова остановлено без всякого решительного результата. В Румынии катастрофа неизбежна, неминуема. Внутри империи утомление, уныние, раздражение растут с каждым днем. Зима начинается при самых мрачных предзнаменованиях.

Я ее успокаиваю несколькими вариациями на мою обычную тему. Что бы ни случилось, говорю я, Франция и Англия будут продолжать войну до полной победы. И эта победа не может от них ускользнуть, ибо теперь установлено, что Германия так же неспособна разбить их, как и продолжать борьбу бесконечно. Если бы,

что невозможно, Россия теперь отделилась от союзников, она на следующий день оказалась бы среди побежденных; это было бы для нее не только несмываемым позором, это было бы национальным самоубийством. В заключение я спрашиваю великую княгиню:

— Вы так беспокоитесь; вы, значит, не верите больше императору?

Удивленная резкостью моего вопроса, она мгновенье пристально смотрит на меня растерянными глазами. Затем тихо говорит:

— Император?... Я всегда буду верить ему. Но есть еще императрица. Я их хорошо знаю обоих. Чем хуже будут идти дела, тем больше получит влияния Александра Федоровна, потому что у нее действенная, настойчивая неугомонная воля... У него, напротив, лишь отрицательная воля. Когда он сомневается в себе, когда он считает себя покинутым богом, он перестает реагировать; он умеет лишь замыкаться в инертном и покорном упорстве... Посмотрите, как велико уже теперь могущество императрицы. Скоро она одна будет править Россией...

*Суббота, 28 октября.*

Припоминая свою вчерашнюю беседу с великой княгиней Марией Павловной, я говорю себе:

— В общем, за вычетом, конечно, мистических заблуждений, у императрицы более закаленный, чем у императора, характер, более упорная воля, более сильный ум, более активные добродетели, душа более воинствующая, более царственная... Ее идея—спасти Россию, вернув ее к традициям теократического абсолютизма,—безумие, но обнаруживаемое ею при этом гордое упорство не лишено величия. Роль, которую

она присвоила себе в государстве, пагубна, но, по крайней мере, играет она ее, как царица... Когда она предстанет в „этой ужасной долине Иосафата“, о которой беспрестанно говорит Распутин, она сможет указать не только на безупречную прямоту своих намерений, но и на совершенное соответствие ее поступков принципам божественного права, на которых зиждется русское самодержавие...

*Вторник, 31 октября.*

Два дня уже бастуют все заводы Петрограда. Рабочие покинули мастерские, не выставляя никакого мотива, по простому сигналу, полученному от таинственного комитета.

Сегодня вечером в министерстве иностранных дел был дан ужин в честь Мотоно.

В половине восьмого, в то время, как я заканчиваю свой туалет, мне докладывают, что два французских промышленника, Сико и Бонье, просят разрешения поговорить со мной по неотложному делу. Представители автомобильной фабрики „Луи Рено“, они состоят директорами большого завода на Выборгской стороне.

Я немедленно принимаю их. Они мне рассказывают:

— Вы знаете, господин посол, что мы никогда не имели повода быть недовольными нашими рабочими, потому что и они, с своей стороны, никогда не имели повода быть нами недовольными. Они и на этот раз отказались принять участие во всеобщей стачке... Сегодня днем, в то время, как работа шла полным ходом, толпа стачечников, пришедших с заводов Барановского, окружила нашу фабрику, крича: „Долой французов. Довольно воевать“. Наши инженеры и директора хо-

тели поговорить с пришедшими. Им ответили градом камней и револьверными выстрелами. Один инженер и три директора-француза были тяжело ранены. Подоспевшая в это время полиция скоро убедилась в своем бессилии. Тогда взвод жандармов кое-как пробрался через толпу и отправился за двумя пехотными полками, расквартированными в близ лежащих казармах. Оба полка прибыли через несколько минут; но вместо того, чтоб выручать завод, они стали стрелять по полицейским.

— По полицейским?

— Да, господин посол. Вы можете придти посмотреть на стенах нашей фабрики следы залпов... Упало много городовых и жандармов. Затем произошла крупная свалка... Наконец, мы услышали галоп казаков; их было четыре полка. Они налетели на пехотинцев и ударами пик загнали их в казармы. Теперь порядок восстановлен.

Я благодарю их за то, что они без замедления информировали меня, что дает мне возможность сегодня же вечером сообщить об инциденте председателю совета министров.

В министерстве обстановка не менее раскаленная и крикливая, чем на недавно происходившем обеде в честь принца Канина. Поздоровавшись с г-жей Штюрмер, я отвожу в сторону председателя совета министров и рассказываю ему о том, что только-что произошло у завода Рено. Он пытается доказать мне, что это—эпизод, не имеющий значения; он добавляет, что градоначальник ему уже докладывал об этом по телефону и что все меры для защиты завода приняты.

— Все же остается факт,—говорю я,—что войска стреляли по полицейским. А это важно... очень важно.

— Да, это важно, но репрессия будет беспощадна.

Я покидаю его, в виду большого с'езда приглашенных.

Чтобы пройти к столу, мы пробираемся через лес пальм; их так много и их листва так роскошна, что можно подумать, что находишься в тропическом саду.

Я занимаю место между г-жей Нарышкиной, обер-гофмейстериной, и лэди Джорджиной Бьюкенен. Изящная и симпатичная вдова, г-жа Нарышкина, рассказывает мне о своей жизни в Царском Селе. „Статс-дама с портретом их величеств императриц“, „дама ордена св. Екатерины“, „высокопревосходительство“, она, несмотря на свои семьдесят четыре года, сохранила снисходительную и приветливую грацию и любит делиться воспоминаниями. Сегодня она настроена меланхолически:

— Моя должность гофмейстерины совсем не отнимает у меня времени. Время от времени личная аудиенция, какая-нибудь интимная церемония—вот и все. Их величества живут все более и более уединенно. Когда император приезжает из Ставки, он никого не хочет видеть вне своих рабочих часов и запирается в своих личных аппартаментах. Что касается императрицы, то она почти всегда нездорова... Ее очень надо пожалеть.

Затем она рассказывает мне о многочисленных учреждениях, которыми она лично занята: о приютах для пансионеров, военных лазаретах, школах для подмастерьев, патронатах для заключенных женщин и пр.

— Вы видите,—продолжает она,—что я не сижу без дела. По вечерам, после обеда, я регулярно посещаю своих старых друзей Бенкендорфов. Они живут, как и я, в Большом Дворце, только в другом конце. Мы говорим немного о настоящем и много о прошлом. Около полуночи я их покидаю. Чтобы добраться

до моего аппартамента, мне приходится пройти бесконечную анфиладу огромных салонов, которые вы знаете. Кое-где горят электрические лампочки. Старый слуга открывает передо мной двери. Это—длинный путь и невеселый. Я часто спрашиваю себя, увидят ли когда-либо эти салоны былые пышность и славу?... Ах, господин посол, как много вещей доживают теперь свои века!... И как плохо доживают!... Я не должна бы говорить вам это. Но мы все смотрим здесь на вас, как на истинного друга, и мыслим перед вами вслух.

Я ее благодарю за доверие и пользуюсь этим, чтобы заявить ей, что горизонт очень скоро прояснился бы, если бы император находился в более тесном общении со своим народом, если бы он обратился непосредственно к народной совести. Она отвечает:

— Вот это-то мы и говорим ему иногда, робко. Он с кротостью слушает нас и... заводит разговор о другом.

По примеру своего августейшего повелителя, и она заводит со мной разговор о другом. Случайно я произношу имя красавицы Марии Александровны Н., бывшей графини К., которая изящной отчетливостью форм и волнистой ритмичностью линий всегда напоминает мне „Диану“ Гудона. Г-жа Нарышкина говорит:

— Эта очаровательная женщина последовала новой моде, общей моде. Она развелась с мужем. И из-за чего? Из-за пустяка. Сергей Александрович К. был по отношению к ней безупречен; она никогда не могла формулировать против него никакого обвинения. Но в один прекрасный день она увлеклась, или ей показалось, что она увлеклась Н., человеком посредственным и во всех отношениях ниже Сергея Александровича, и, хотя у нее есть от последнего две дочери, она

покинула его и вышла замуж за первого... Уверяю вас, когда-то очень редко разводились; нужны были очень серьезные, исключительные мотивы. И положение разводки было одним из самых тяжелых.

— Частые разводы, действительно, одно из наиболее поразивших меня здесь явлений. Я на-днях высчитал, что в известной мне части общества более, чем в половине супружеств, один или оба супруга—разведенные... Вы заметили, мадам, что история Анны Карениной теперь уже непонятна. А, между тем, роман написан, кажется, в 1876 году. Теперь Анна немедленно развелась бы и вышла бы замуж за Вронского, и на этом роман бы закончился.

— Это правда... Вы, таким образом, подчеркиваете, в какой мере развод стал общественной язвой.

— Но ответствен за это в значительной степени святейший синод,—ведь, в конце концов, от него одного зависят разводы?...

— Увы! сам святейший синод не является уже больше тем великим нравственным авторитетом, каким он был когда-то.

Обед приходит к концу. Мы оставались больше часа за столом.

В курительной комнате я заговариваю со Штюрмером о забастовках и инцидентах сегодняшнего дня. Его прием делает его таким радостным и гордым, что мне не удается поколебать его оптимизма.

---

## VI. Убийство Распутина.

*Воскресенье, 5 ноября.*

Сегодня я смотрю в Мариинском театре серию очаровательных балетов: Египетские ночи, Исламей, Эрос. Вся публика как бы зачарована этими восхитительными феериями, этими фантастическими и сладострастными приключениями, этими таинственными и волшебными декорациями.

В один из антрактов я отправляюсь выкурить папиросу в вестибюль ложи министра Двора. Я застаю здесь генерала В..., которого его обязанности заставляют быть в ежедневном контакте с петроградским гарнизоном. Так как я недавно имел случай оказать ему услугу и знаю, что он одушевлен самыми патриотическими чувствами, я спрашиваю его:

— Верно ли, что петроградские войска серьезно заражены революционной пропагандой, и что подумывают даже отправить большую часть гарнизона на фронт, чтоб заменить ее надежными полками?

После нескольких мгновений колебания он отвечает мне голосом, в котором слышится искренность:

— Это правда; дух петроградского гарнизона нехорош. Это видно было восемь дней тому назад, когда произошли беспорядки на Выборгской Стороне. Но я не думаю, чтоб имели, как вы говорите, намерение

отправить на фронт плохие полки и заменить их надежными единицами... По моему мнению, давно уже следовало бы произвести чистку в войсках, охраняющих столицу. Во-первых, их слишком много. Знаете ли вы, господин посол, что в Петрограде и окрестностях, т.-е. в Царском Селе, Павловске, Гатчине, Красном Селе и Петергофе расквартировано не меньше 240.000 человек. Они почти не маневрируют; ими плохо командуют; они скучают и развращаются; они служат лишь для пополнения кадров и доставления рекрутов анархии. Следовало бы оставить в Петрограде лишь тысяч сорок человек, отобранных из лучших элементов гвардии и 20.000 казаков. С этим отборным гарнизоном можно было бы парировать все события. Не то...

Он останавливается, губы его дрожат, лицо очень взволновано. Я дружески настаиваю, чтобы он продолжал. Он сурово продолжает:

— Если бог не избавит нас от революции, ее произведет не народ, а армия.

*Вторник, 21 ноября.*

Занятие тайными науками всегда было в почете у русских; со времени Сведенборга и баронессы Крюденер, все спириты и иллюминаты, все магнетизеры и гадатели, все жрецы изотеризма и чудотворцы встречали радушный прием на берегах Невы.

В 1902 г., воскреситель французского герметизма, маг Папюс, настоящая фамилия которого—д-р Анкосс, приехал в Петроград, где он скоро нашел усердных поклонников. В последующие годы его здесь видели неоднократно во время пребывания его большого друга знахаря Филиппа из Лиона; император и императрица

почтили его своим полным доверием; последний его приезд относится к февралю 1906 г.

И вот газеты, дошедшие к нам недавно через скандинавские страны из Франции, содержат известие о том, что Папюс умер 26 октября.

Признаюсь, эта новость ни на одно мгновение не остановила моего внимания; но она, говорят, повергла в уныние лиц, знавших некогда „духовного учителя“, как называли его между собой его восторженные ученики.

Г-жа Р., являющаяся одновременно последовательницей спиритизма и поклонницей Распутина, об‘ясняет мне это уныние странным пророчеством, которое стоит отметить: смерть Папюса предвещает не больше и не меньше, как близость гибели царизма, и вот почему:

В начале октября 1905 г. Папюс был вызван в Санкт-Петербург несколькими высокопоставленными последователями, очень нуждавшимися в его совете в виду страшного кризиса, который переживала в то время Россия. Поражения в Манчжурии вызвали повсеместно в империи революционные волнения, кровопролитные стачки, грабежи, убийства, пожары. Император пребывал в жестокой тревоге, будучи не в состоянии выбрать между противоречивыми и пристрастными советами, которыми ежедневно терзали его семья и министры, приближенные, генералы и весь его Двор. Одни доказывали ему, что он не имеет права отказаться от самодержавия его предков и убеждали не останавливаться перед неизбежными жестокостями беспощадной реакции; другие заклинали его уступить требованиям времени и лойяльно установить конституционный режим.

В тот самый день, когда Папюс прибыл в Санкт-Петербург, Москва была терроризована восстанием, а

какая-то таинственная организация об'явила всеобщую железнодорожную забастовку.

Маг был немедленно приглашен в Царское Село. После краткой беседы с царем и царицей, он на следующий день устроил торжественную церемонию колдовства и вызывания духов усопших. Кроме царя и царицы, на этой тайной литургии присутствовало одно только лицо: молодой ад'ютант императора, капитан Мандрыгка, теперь генерал-майор и губернатор Тифлиса. Интенсивным сосредоточением своей воли, изумительной экзальтацией своего флюидического динамизма духовному учителю удалось вызвать дух благочестивейшего царя Александра III; несомненные признаки свидетельствовали о присутствии невидимой тени.

Несмотря на сжимавшую его сердце жуть, Николай II задал отцу вопрос, должен он или не должен бороться с либеральными течениями, грозившими увлечь Россию. Дух ответил:

„Ты должен во что бы то ни стало подавить начинающуюся революцию; но она еще возродится и будет тем сильнее, чем суровее должна быть репрессия теперь. Что бы ни случилось, бодрись, мой сын. Не прекращай борьбы“.

Изумленные царь и царица еще ломали голову над этим зловещим предсказанием, когда Папюс заявил, что его логическая сила дает ему возможность предотвратить предсказанную катастрофу, но что действие его заклинания прекратится, лишь только он сам исчезнет „с физического плана“. Затем он торжественно совершил ритуал заклинания.

И вот с 26 октября маг Папюс исчез „с физического плана“, и действие его заклинания прекратилось. Значит—скоро революция!...

Простившись с г-жей Р., я возвращаюсь к себе в посольство и открываю „Одиссею“ на XI песне, на знаменитом эпизоде νέκυια (жертвоприношение усопшим для того, чтобывы звать их из подземного царства). Под влиянием только-что выслушанного рассказа, эта великолепная сцена из жизни первобытного человечества, эта мрачная и варварская фантасмагория представляется такой же естественной и правдивой, как если бы она происходила вчера. Я вижу, как Улисс в туманной стране Киммериэн приносит жертву усопшим, копает землю мечом, совершает возлияние из вина и молока, затем над краем ямы перерезывает горло черному барану. И поднявшиеся из Эреба тени толпой бросаются пить текущую ручьями кровь. Но царь Итаки с силой отталкивает их, ибо единственная душа, появления которой он ждет,—душа его матери, достопочтенной Антиклеи, которая откроет ему будущее при посредстве гадателя Тиресия... И я вспоминаю, что от Улисса до Николая II, от гадателя Тиресия до мага Папюса прошло только тридцать столетий.

*Понедельник, 20 ноября.*

Вчера сербы заняли Монастырь; это было в годовщину их вступления в этот город в 1912 г.

Император Франц-Иосиф находится в агонии.

*Вторник, 21 ноября.*

Штюрмер неожиданно выехал вчера в Могилев по вызову царя.

*Среда, 22 ноября.*

Франц-Иосиф I, император австрийский, апостолический король венгерский, король богемский, далматский, кроатский, славянский, иллирийский и галицийский, король иерусалимский и пр., умер на девяносто седьмом году от роду.

Об этом едва говорят, как о факте незначительном,— настолько настоящая действительность превосходит все последствия, которые предвидели когда-то, когда пророчили о кончине старого императора...

Мне некогда писать ему надгробное слово. Но для оценки его царствования мне достаточно вспомнить ужасный отзыв его предшественника, Фердинанда I-го, которого заставили отречься от престола в 1848 г., после чего он жил на покое в Праге до 1875 г. Вскоре после битвы при Садовой, припомнив поражения 1859 г. и потерю Ломбардии, видя затем Австрию окончательно исключенной из союза немецких государств и вынужденной уступить Венецианскую область, свергнутый старик-монарх воскликнул: „Но за что же меня прогнали в 1848 г.? Я способен был бы не менее моего племянника проигрывать сражения и терять провинции“.

*Четверг, 23 ноября.*

Сегодня вечером, в десять часов, в то время, как я работал один в своей квартире, один из моих осведомителей, очень надежный, прислал мне следующую записку:

„Я не хочу ждать до завтра, чтоб сообщить вашему превосходительству крупную новость: г. Штюрмер ушел в отставку и заменен на посту председателя совета министров г. Треповым“.

Новость приводит меня в восхищение, но не захватывает меня врасплох. Расставшись с Штюрмером, император лишний раз доказал, что он способен на превосходные решения, когда освобождается из-под влияния императрицы.

*Пятница, 24 ноября.*

Отставка Штюрмера официально об'явлена сегодня утром. Трепов заменяет его на посту председателя совета министров; новый министр иностранных дел еще не назначен. С точки зрения военной, которая должна преобладать над всякими другими соображениями, назначение Трепова доставляет мне большое облегчение. Во-первых, заслуга Трепова в том, что он не терпит Германии. Его пребывание во главе правительства, значит, гарантирует нам, что Союз будет лойяльно соблюдаться и что германские интриги не будут больше так свободно развиваться. Кроме того, он—человек энергичный, умный и методичный; его влияние на различные ведомства может быть только превосходным.

Другая новость: генерал Алексеев получил отпуск. Временно исполнять его обязанности будет генерал Василий Гурко, сын фельдмаршала, бывшего героя перехода через Балканы.

Отставка генерала Алексеева мотивирована состоянием его здоровья. Правда, генерал страдает внутренней болезнью, которая заставит его в ближайшем будущем подвергнуться операции; но есть, кроме того, и политический мотив: император решил, что его начальник главного штаба слишком открыто выступал против Штюрмера и Протопопова.

Вернется ли генерал Алексеев в Ставку? Не знаю. Если его уход является окончательным, я охотно при-

мириться с этим. Правда, он всем внушает уважение своим патриотизмом, своей энергией, своей щепетильной честностью, своей редкой работоспособностью. К несчастью, ему недоставало других, не менее необходимых качеств: я имею в виду широту взгляда, более высокое понимание значения Союза, полное и синтетическое представление о всех театрах военных операций. Он замкнулся исключительно в функции **начальника генерального штаба высшего командования русских войск**. По правде сказать, миссию, высокую важность которой недостаточно понял генерал Алексеев, должен был бы взять на себя император; но император понимал это еще меньше, в особенности с того дня, как единственным истолкователем Союза при нем сделался Штюрмер.

Генерал Гурко, заменивший ген. Алексеева,—деятельный, блестящий, гибкий ум; но он, говорят, легкомыслен и лишен авторитета.

Сегодня я обедаю в Café de Paris с несколькими друзьями. Опала Штюрмера радостно комментируется всеми присутствующими; на Трепова возлагают большие надежды, учитывают наперед могучее и близкое пробуждение национального сознания. Один только Б. молчит. К нему пристают с вопросами. Он отделывается обычными сарказмами.

— Впредь ничто не остановит победного шествия наших войск!... На Рождестве мы вступим в Константинополь!... Не пройдет трех месяцев, как мы будем в Берлине!... Особенно приводит меня в восхищение Константинополь, потому что, между нами, все мы несколько забыли завещание Петра Великого, св. Софию и пр.

После обеда я увожу Б. в своем автомобиле к одной из наших знакомых, которая живет на Адмиралтейском канале, и спрашиваю его:

— Теперь скажите мне серьезно... Ваше мнение об отставке Штюрмера.

Он минуту подумал, потом очень серьезно сказал:

— Господин Штюрмер—великий гражданин, старавшийся удержать свою родину на роковой наклонной плоскости, до которой ее безумно довели и в конце которой ее ожидают поражение, позор, гибель и революция.

— Вы в самом деле такой пессимист?

— Мы погибли, господин посол.

*Понедельник, 27 ноября.*

Не знаю, кто сказал о Цезаре, что у него „все пороки и ни одного недостатка". У Николая II нет ни одного порока, но у него наихудший для самодержавного монарха недостаток: отсутствие личности. Он всегда подчиняется. Его волю обходят, обманывают или подавляют; она никогда не импонирует прямым и самостоятельным актом. В этом отношении у него много черт сходства с Людовиком XVI, у которого сознание своей природной слабости поддерживало постоянный страх быть порабощенным. Отсюда у того и другого в равной степени наклонность к скрытности.

*Вторник, 28 ноября.*

У меня собралось сегодня вечером за обедом человек тридцать... За столом разговоры туго завязываются и скоро обрываются. Тембру голосов недостает ясности, и самый воздух, которым дышат, как будто отяжелел.

Дело в том, что со всех сторон плохие новости. Во-первых, по городу ходят слухи о забастовке, а ежедневное вздорожание продовольствия вызвало бурные сцены на рынках. Далее, в Румынии германско-болгарские клещи зажали Бухарест; Дунай перейден в Зиммище и Досенкурджеве; линия Ольты прорвана; Камполунги и Пипашты в руках неприятеля; королевское правительство поспешно спасается в Яссы.

С легкостью, с какой русские приходят в уныние, предвидят всегда наихудшие катастрофы и упреждают, так сказать, приговоры судьбы, мои гости учитывают уже появление австро-германцев на Пруте, потерю Бессарабии и Подолии, взятие Киева и Одессы. Я протестую, как могу, против этих зловещих предсказаний, наперед парализующих дух сопротивления, исключая a priori возможность успеха, об'являя неосуществимым то, что лишь сомнительно; я развиваю тему, которую дает мне эта прекрасная мысль Ла Рамфука: „У нас всегда хватало бы, если б хватало воли, и часто мы воображаем что-нибудь невозможное, для того, чтоб себя извинить".

*Среда, 29 ноября.*

Трепов, которого, конечно, нельзя подозревать в снисходительном отношении к Думе или робости перед ней, признает невозможность работать с Протопоповым, обнаруживающим с каждым днем все более явные признаки умственного расстройства.

Принятый третьего дня в Могилеве императором, он умолял его назначить другого министра внутренних дел, напоминая его величеству, что ставил существенным условием для своего согласия принять пост председателя совета министров отставку Протопопова.

Но императрица, которая находится еще в императорской Главной Квартире и бодрствует, предвидела этот удар. И император, надлежащим образом настроенный, ответил Трепову, что он рассчитывает на его лойяльность для того, чтоб облегчить задачу Протопопова. Твердо и почтительно Трепов повторил свои настояния. Император остался непоколебимым.

— В таком случае, — продолжал Трепов, — мне остается просить ваше величество принять мою отставку. Моя совесть не позволяет мне принять на себя ответственность за власть, пока Протопопов сохраняет портфель министра внутренних дел.

После минутного колебания император властно заявил:

— Александр Федорович, я приказываю вам продолжать исполнять ваши обязанности с теми сотрудниками, которых я счел долгом дать вам.

Трепов вышел, закусив губы.

*Четверг, 30 ноября.*

По моему предложению, Трепов награжден званием командора ордена Почетного Легиона. Я тотчас отправляюсь к нему об'явить ему об этом.

— Правительство Республики, — говорю я, — хотело таким образом признать выдающуюся услугу, оказанную вами Союзу тем, что вы так активно повели постройку Мурманской железной дороги; оно хотело, кроме того, засвидетельствовать доверие, которое оно питает к вам, в виду трудных обстоятельств, при которых вы берете власть.

Он, повидимому, очень тронут. Я верю его искренности, так как он всегда любил Францию, где он долго жил.

Затем мы говорим о делах.

Не входя в подробности своей размолвки с императором и препятствий, которые он встречает со стороны Думы, он заявляет мне, что послезавтра он отправится в Таврический дворец и сейчас же возьмет слово. Вот главные пункты, которых он коснется в своей речи: 1) война до конца, Россия не отступит ни пред какой жертвой; 2) декларация о Константинополе и проливах; обещание защищать интересы Румынии; 3) подтверждение того, что Польша будет восстановлена в своих этнических границах и образует автономное государство; 4) торжественный призыв к Думе работать вместе с правительством для доведения войны до благополучного конца.

В заключение Трепов говорит:

Я надеюсь, что Дума окажет мне надлежащий прием. Но я в этом не уверен... Вы отгадываете почему и из-за кого...

Далее он об'ясняет мне, что Дума решила не поддерживать никаких сношений с Протопоповым, освистать его и прервать заседание, если он войдет в залу, и пр. Я спрашиваю:

— Неужели император, имевший мудрость отставить Штюрмера, не понимает, что оставление у власти Протопопова становится общественной, национальной опасностью?

— Император слишком рассудителен, чтоб не отдавать себе в этом отчета. Но вот императрицу следовало бы убедить. А в этом вопросе с ней сговориться невозможно.

Помолчав, он продолжает тихо, как будто говорит сам с собой:

— Для России наступил решительный момент. Если мы будем продолжать идти тем же аллюром, немецкая партия скоро возьмет верх. А тогда катастрофа, революция, позор... Надо положить конец всем этим интригам, и радикально... Надо, чтобы правительство произнесло безвозвратные слова, которые связали бы все будущие правительства перед лицом России, перед лицом мира... Послезавтра в Думе правительство безвозвратно обяжется продолжать войну до разгрома Германии; оно сожжет за собой все мосты.

— С каким удовольствием я вас слушаю!

*Пятница, 1 декабря.*

Штюрмер так удручен своей опалой, что покинул министерство иностранных дел, не простившись с союзными послами, не оставив даже карточки. Знаменательная некорректность со стороны такого традиционного и церемонного человека!

Сегодня днем, проезжая вдоль Мойки на автомобиле, я замечаю его у придворных конюшен: он с трудом подвигается пешком против ветра и снега, сгорбив спину, устремив взгляд на землю, с лицом мрачным и расстроенным. Он меня не видит, он ничего не видит. Сходя с тротуара, чтоб перейти набережную, он чуть не падает.

*Суббота, 2 декабря.*

Был сегодня днем на заседании Думы.

Лишь только в дверях зала показались министры и среди них Протопопов, подымается шум.

Трепов поднимается на трибуну, чтоб прочитать декларацию правительства. Крики становятся сильнее: „Долой министров! Долой Протопопова!“

Очень спокойный, с прямым и надменным взглядом, Трепов начинает свое чтение. Три раза крики крайней левой вынуждают его покидать трибуну.

Наконец, ему дают говорить.

Декларация именно такова, как он излагал мне ее позавчера.

Место, в котором правительство подтверждает свое решение продолжать войну, встречается горячими аплодисментами.

Но фраза, относящаяся к Константинополю, падает в пустоту, образованную индифферентностью и удивлением.

После того, как Трепов кончил чтение, заседание было прервано. Депутаты рассеиваются по кулуарам. Я возвращаюсь в посольство.

Мне сообщают, что вечернее продолжение заседания было отмечено двумя речами, столь же неожиданными, сколь и резкими, двух лидеров правой, графа Владимира Бобринского и Пуришкевича. К изумлению своих политических единомышленников, они произвели стремительную вылазку против „позорящих и губящих Россию темных сил“. Пуришкевич воскликнул даже:

„Надо, чтоб впредь недостаточно было рекомендации Распутина для назначения гнуснейших лиц на самые высокие посты. Распутин в настоящее время опаснее, чем был некогда Лже-Димитрий... Господа министры! Если вы истинные патриоты, поезжайте в Ставку, бросьтесь к ногам царя, имейте мужество заявить ему, что так не может дольше длиться, что слышен гул народного гнева, что грозит революция, и темный мужик не должен дольше управлять Россией“.

*Воскресенье, 3 декабря.*

Положение Трепова весьма деликатное. С одной стороны, он понимает невозможность управлять или, вернее, проводить лойяльную политику Аллианса, пока управление общественным мнением и силами полиции остается в руках Протопопова. С другой стороны, усердно отстаивая легальный статут империи, он отрицает за Думой право вмешиваться в прерогативы верховной власти, из которых одной из важнейших является, несомненно, выбор министров.

Таким образом, конфликт правительства и Думы чреват еще одним прискорбным инцидентом.

*Понедельник, 4 декабря.*

Слова министерской декларации, относящиеся к Константинополю, вызвали и в публике не больше отклика, чем в Думе. Такой же эффект индифферентности и удивления, как если бы Трепов откопал старую утопию, некогда дорогую и с тех пор давно забытую!..

Вот уже несколько месяцев я наблюдаю в народной душе это прогрессивное выцветание византийской мечты. Очарование прошло.

Охладеть к своим мечтам; бросить то, к чему стремился, чего жаждал с величайшим пылом; чувствовать даже известного рода горькую и едкую радость, констатируя свое заблуждение и разочарование — как это по-русски!

Г-жа П. говорит мне сегодня вечером:

— Декларация правительства нелепа. Никто больше не думает о Константинополе. Это было прекрасное безумие, но безумие. А вылечившись от какого-нибудь безумия, его больше не повторяют; делают но-

вое безумие... Трепов и все те, кто пытается оживить в русском народе мечту о Константинополе, напоминает мне тех мужчин, которые думают разбудить любовь женщины, предлагая ей вновь пережить воспоминания прошлого. Сколько бы они ни напоминали, как это было восхитительно в Венеции, ночью, при свете луны, в гондоле—их даже не слушают...

*Четверг, 7 декабря.*

Австро-германцы и болгары вступили вчера в Бухарест.

Румыны дорого платятся за свои ошибки вначале. Между тем, не надо было быть ни великим стратегом, ни великим пророком, чтоб предвидеть, что настоящая катастрофа заключена была в непризнании конвенции Рудеану.

Стратегическая виртуозность Гинденбурга реализовала свой шедевр.

Если всегда главной целью немецкого империализма была гегемония на Востоке, у него теперь в руках все козыри...

*Суббота, 9 декабря.*

Тревожный призыв, раздавшийся в Думе из уст графа Бобринского и Пуришкевича, этих двух паладинов неограниченного самодержавия, огласил даже архаическую цитадель абсолютного монархизма, Государственный Совет [1]).

Высокое собрание осмелилось сегодня выразить пожелание, в котором предостерегает царя против гибель-

---

[1]) Государственный Совет состоит из 192 членов, из которых половина назначается непосредственно царем, а другая половина избирается духовенством, земствами, дворянством, крупными собственниками, торговыми палатами и университетами. *Примечание М. Палеолога.*

ного действия закулисных влияний. Это (столь робкое) заявление протеста вызывает оживленные комментарии.

История представляет лишь длинный ряд повторений. В марте 1830 г. Парижская Палата Депутатов тоже довела до сведения Карла X почтительный совет благоразумия. Но воспользовался ли кто-либо когда-либо уроками истории?..

*Воскресенье, 10 декабря.*

Что политику России делает камарилья императрицы, факт несомненный. Но кто руководит самой этой камарильей? От кого получает она программу и направление?

Конечно, не от императрицы. Публика любит простые идеи и общие олицетворения и не имеет точного представления о роли царицы; поэтому она расширяет эту роль и в значительной степени ее искажает. Александра Федоровна слишком импульсивна, слишком заблуждается, слишком неуравновешена, чтобы создать политическую систему и следить за ее проведением. Она является главным и всемогущим орудием заговора, который я постоянно чувствую вокруг нее: однако, она не более, как орудие.

Точно также лица, группирующиеся вокруг нее: Распутин, Вырубова, генерал Воейков, Танеев, Штюрмер, князь Андронников и пр.,—лишь подручные, статисты, подобострастные интриганы или марионетки. Министр внутренних дел Протопопов, производящий более внушительное впечатление, обязан этой обманчивой внешностью раздражению мозговых оболочек. За его экспансивным фанфаронством и суетливой активностью нет ничего, кроме раздражения спинного мозга. Это мономан, которого скоро отправят в дом для умалишенных.

Кто же, в таком случае, руководит царскосельской камарильей?

Я тщетно расспрашиваю тех, кто, казалось, наиболее способны были бы удовлетворить мое любопытство, и получаю лишь неопределенные или противоречивые ответы, гипотезы, предположения.

Если б я, тем не менее, принужден был сделать выводы, я сказал бы, что пагубная политика, за которую императрица и ее партия будут нести ответственность перед историей, внушается им четырьмя лицами: это — лидер крайней правой в государственном совете Щегловитов; петроградский митрополит, преосвященный Питирим; бывший директор департамента полиции Белецкий, и, наконец, банкир Манус.

Вне этих четырех лиц я вижу лишь игру сил анонимных, коллективных, разбросанных, подчас бессознательных, которые выражают, может быть, исключительно вековое действие царизма, его инстинкт самосохранения, всю органическую жизненность, которая еще остается в нем.

В этом квартете я приписываю особую роль банкиру Манусу: он обеспечивает сношения с Берлином. Это через него Германия заводит и поддерживает свои интриги в русском обществе; он является распределителем германских субсидий.

*Среда, 13 декабря.*

Вчера Германия вручила Северо-Американским Соединенным Штатам ноту, в которой она от имени своего и своих союзников заявляет о своей готовности начать немедленно переговоры о мире. В подтверждение этого торжественного заявления не указано никакого условия.

С первого же взгляда эта нота представляется стра-

тегической уловкой, западней, предназначенной вызвать в лагере врагов пацифистское движение и ослабить нашу коалицию. Пусть Германия сначала сообщит нам, каковы ее планы, на какие репарации она готова согласиться, какие она предлагает нам гарантии, и мы отнесемся серьезно к ее предложению.

Сильно страдая от приступа ревматизма, удерживающего меня в постели, я принимаю визит Бьюкенена и Карлотти. Мы все трое одного мнения.

*Четверг, 14 декабря.*

Император вверил портфель министра иностранных дел государственному контролеру, Николаю Николаевичу Покровскому.

Выбор неожиданный. Покровскому шестьдесят лет; он всю жизнь занят был вопросами, касающимися финансов и государственного контроля; у него нет никакого представления о делах внешних и дипломатии; но, с этой оговоркой, очень важной в настоящий момент, я ничего не имею против его назначения. Во-первых, это—человек осторожный, умный и трудолюбивый, вполне преданный Альянсу. Затем в личных отношениях это—человек редких качеств, душевный и скромный, с небольшой долей насмешливого лукавства. Без состояния, обремененный семьей, он ведет жизнь самую простую, самую приличную. За тридцать пять лет, с тех пор, как он служит в государственном контроле, его никогда не коснулась даже тень подозрения.

*Пятница, 15 декабря.*

Вступая в отправление своих обязанностей, Покровский произнес сегодня в Думе в самом непоколебимом

тоне речь, в которой доказывал иллюзорный и предательский характер немецкого предложения: „Державы Антанты, сказал он, заявляют о своей непоколебимой воле продолжать войну до окончательной победы. Наши бесчисленные жертвы оказались бы напрасными, если бы мы заключили преждевременный мир с противником, истощенным, но еще не побежденным".

Эти слова, представляющие такой счастливый контраст с двусмысленным и лукавым языком Штюрмера, произвели сильное впечатление на Думу; важно было произнести их, чтобы уничтожить эффект немецкой инициативы.

Я все еще вынужден не покидать постели и у меня не было недостатка в визитах. Со всех сторон до меня доходит одна и та же нота: „Очень важный результат составляет уже один тот факт, что вопрос о мире поставлен перед общественным мнением. Умы, таким образом, постепенно подготовляются к благоразумным решениям".

*Суббота, 16 декабря.*

Покровский был у меня сегодня днем.

Я поздравляю его с твердым и откровенным заявлением, которое он сделал вчера в Думе.

— Я точно сообразовался,—ответил он,—с приказаниями его величества императора, с которым я имею честь быть вполне согласным во взглядах. Его величество решил не позволять больше сомневаться в его воле, которая вам известна; император дал мне на этот счет самые категорические инструкции; он даже поручил мне представить ему без замедления проект манифеста, оповещающего армию о том, что Германия просит мира.

Затем мы заговорили об ответе, который надо будет дать на ноту германской коалиции. Не установив еще своего мнения на этот счет, Покровский полагает, что военное положение, или как говорят немцы, „карта войны“ не позволяет нам еще точно выразить наши требования и что мы поступим благоразумно, если будем держаться общих терминов, как „материальные и моральные возмещения..., политические и экономические гарантии“ и пр.

*Понедельник, 18 декабря.*

Б., наблюдающий довольно близко рабочее движение, обращает мое внимание на возрастающую тенденцию вождей социалистических групп освободиться от контроля Думы и организовать свою программу действия вне легальных рамок. Чхеидзе и Керенский повторяют: „Кадеты не имеют никакого представления о пролетариате. Из ничего ничего не сделаешь“.

В настоящее время эти вожди главные усилия своей пропаганды направляют на армию, доказывая ей, что в ее интересах вступить в союз с рабочими, чтоб обеспечить крестьянству, представительницей которого она является, торжество его аграрных требований. В казармах в изобилии распространяются брошюры на классическую тему: „Земля принадлежит трудящимся. Она возвращается им по праву и, следовательно, без выкупа; не выкупается собственность, которая была отнята. Только революция может совершить эту великую социальную реформу“.

Я спрашиваю Б., имеет ли тенденция распространиться в армии „пораженческая“ теория знаменитого Ленина, нашедшего убежище в Женеве.

— Нет,—говорит он мне,—эта теория поддерживается здесь лишь несколькими неистовыми, которых считают подкупленными Германией... или „охранкой“. Пораженцы, как их называют, составляют лишь самое незначительное меньшинство в социал-демократической партии.

Между Маасом и Вевр французы перешли 14 декабря в сильное наступление. Германский фронт был отодвинут на расстоянии 10 километров на 3 километра вглубь. Число пленных около 12.000.

*Четверг, 21 декабря.*

Ежедневно два-три раза Протопопов просит аудиенции у царицы под тем предлогом, будто должен сделать ей доклад и просить ее советов.

На днях, едва войдя к ней, он бросился перед ней на колени, воскликнув:

— О, ваше величество, я вижу за вами Христа.

*Пятница, 22 декабря.*

Президент Соединенных Штатов предложил вчера всем правительствам воюющих держав сообщить „свои взгляды на условия, на которых войне мог бы быть положен конец“. Президент Вильсон подчеркивает, что он „не предлагает мира“, что он не предлагает „даже посредничества“, что он всего только зондирует почву, чтоб выяснить, далеко ли еще до столь желанной „гавани мира“.

*Суббота, 23 декабря.*

Сегодня утром я получил из Парижа проект ответа на американскую ноту.

Отдав должное чувствам, одушевляющим Вильсона, Бриан протестует против „уподобления“, которое как будто проводит нота между двумя группами воюющих, между тем как вся ответственность за нападение падает лишь на одну из этих групп. Затем он определяет „высшие цели“, которые поставили себе союзники. Цели эти включают: полную независимость Польши, Сербии и Черногории, со всеми возмещениями, на какие они имеют право; эвакуацию занятых территорий во Франции, в России и в Румынии, со справедливыми репарациями; реорганизацию Европы по принципу национальностей и права народов на свободное экономическое развитие; возвращение территорий, отнятых некогда у союзников силой или против воли населения; освобождение итальянцев, славян, румын, чехо-словаков; освобождение народов, страдающих под оттоманской тиранией; изгнание турок из Европы; восстановление Польши в ее национальных границах.

Час спустя я в кабинете Покровского, где я назначил свидание Бьюкенену.

Я им читаю проект Бриана. Они слушают меня с величайшим вниманием. И чем дальше я читаю, тем более оживляются их лица. Когда я кончил, оба одновременно восклицают:

— Браво, прекрасно!.. Вот каким языком надо говорить... Вот что надо заявить перед всем миром!

В это время приходит мой итальянский коллега. Покровский, которому я передал копию проекта, перечитывает его вслух, смакуя каждую фразу. Карлотти горячо одобряет.

Прежде чем формулировать свое официальное и окончательное мнение, Покровский просит у меня времени на размышление. Я настаиваю, чтоб он дал мне,

по крайней мере, принципиальное согласие, которым Бриан мог бы воспользоваться перед президентом Вильсоном. В самом деле, мы очень заинтересованы в том, чтоб не оттягивать ответа для того, чтоб помешать германофильским интригам, которые лихорадочно обрабатывают американское общественное мнение.

— Ну, что же, хорошо!—говорит он мне.—Благоволите телеграфировать г. Бриану, что я, в общем, одобряю его проект и даже в восхищении от него. Но я оставляю за собой право предложить ему несколько чисто формальных изменений в параграфах, касающихся особенно близко России, например, в тех, где идет речь о Польше и Армении.

Уезжая, я беру в свой экипаж Бьюкенена. Мы озабочены и молчим. Одна и та же идея пришла нам в голову одновременно: как мы еще далеки от того, чтоб увидеть осуществление этой великолепной программы мира! Потому что, в конце концов, здесь все идет чем дальше, тем хуже.

Мы сообщаем друг другу последние известия: они прискорбны.

Земский и Городской Союзы, эти крупные частные организации, которые с начала войны так замечательно содействовали продовольствованию армии и населения, должны об‘единиться на с‘езде в Москве на будущей неделе. Полиция запретила этот с‘езд. Между тем, оба союза представляют все, что есть самого здорового, самого серьезного, самого активного в русском обществе. Зато влияние Протопопова дошло до апогея. Он сам возложил на себя командировку в провинцию, чтоб избежать всякого контакта с Думой и одновременно преподать губернаторам несколько благих поучений.

Один из моих друзей, который был у меня вчера и который прибыл из Москвы, рассказал мне, что там крайне раздражены против императрицы. В салонах, в магазинах, в кафе открыто заявляют, что „немка“ губит Россию и что ее надо запереть на замок, как сумасшедшую. Об императоре не стесняются говорить, что он хорошо бы сделал, если-б подумал об участи Павла I.

*Понедельник, 25 декабря.*

Как мне сообщил Покровский еще 16-го текущего месяца, император обращается сегодня с манифестом к своим сухопутным и морским войскам, чтоб возвестить им, что Германия предлагает мир, и чтоб еще раз подтвердить свое решение продолжать войну до полной победы.

„Час мира еще не наступил,—говорит он в манифесте.—Неприятель еще не изгнан из занятых им областей. Россия еще не осуществила задач, поставленных этой войной, т.-е. овладения Константинополем и проливами, а также восстановления свободной Польши в составе ее трех частей“.

Заключение отличается характером патетическим и индивидуальным, очень резко выделяющимся из бесцветной банальности этого рода документов:

„Мы остаемся непоколебимы в нашей уверенности в победе. Бог благословит оружие наше: он покроет его вечной славой и даст нам мир, достойный ваших славных подвигов, мои славные войска, такой мир, что будущие поколения благословят вашу святую память“.

Этот благородный и мужественный язык не преминет найти отклик в народном сознании. Он остав-

ляет во мне, однако, тревожное впечатление. Император слишком рассудителен, чтоб не отдавать себе отчета в том, что румынская катастрофа лишила его всяких шансов на приобретение Константинополя и что его народ давно отказался от мечты о Византии. В таком случае, зачем это торжественное упоминание о проекте, неосуществимость которого он знает лучше кого бы то ни было. Хотел ли он, говоря таким образом, реагировать против распространения нерасположения, усиливающегося по отношению к нему среди преданнейших слуг династии? Или же, чувствуя себя погибшим, „покинутым богом", он хотел в последнем акте резюмировать своего рода политическое завещание, мотивы национального величия и национального достоинства, подвергшие русский народ испытанию этой войны. Я очень склонен к этой последней гипотезе.

Румыны до сих пор не в состоянии были задержать австро-германского натиска; наступление на Серет продолжается.

*Среда, 27 декабря.*

Конференция союзников должна собраться в Петрограде к концу января. Представителями французского правительства будут Думер, сенатор, бывший председатель совета, бывший министр иностранных дел, и генерал Кастельно.

Имея в виду инструкции, которые будут даны делегатам, я сообщаю Бриану несколько моих личных соображений. Подтвердив ему, что император попрежнему полон решимости продолжать войну, я заявляю, что постоянство его намерений не составляет, однако, для нас достаточной гарантии.

„На практике“ император беспрерывно делает ошибки. То ли он из слабости уступает настояниям императрицы; то ли у него нет ума и воли, достаточно сильных для того, чтоб справиться со своей бюрократией,— он поминутно совершает или позволяет совершать акты, противоречащие его политике.

В области внутренних дел он предоставляет управление общественным мнением министрам, заведомо скомпрометировавшим себя расположением к Германии, как г. Штюрмер и г. Протопопов, не считая очага германских интриг, которые он терпит в собственном дворце. В области экономической и промышленной он подписывает все, что ему подсовывают. А если иностранное правительство получит от него обещание, которое неприятно его администрации, последней ничего не стоит добиться утверждения решения, косвенно игнорирующего это обещание.

В военной области румынский случай типичен. Вот уже больше шести месяцев председатель Республики, король Георг, послы Франции и Англии ему повторяют, что положение на Дунае имеет решающее значение, что Россия первая заинтересована в том, чтоб пробиться к Софии, так как от этого зависит завоевание Константинополя, и пр. Он обещает все, чего просят. И на этом кончается его личное действие.

Это бессилие, или эта беззаботность по части воплощения своих идей в положительные факты, причиняет нам огромный вред. В то время, как Франция из всех сил налегает на хомут союза, Россия делает лишь половину или треть усилий, на которые она способна. Это положение тем серьезнее, что заключительная фаза войны, может быть, началась и, в таком случае,

важно знать, будет ли у России время наверстать все, что она потеряла раньше, чем решится участь Востока.

Итак, я желаю, чтобы на совещаниях предстоящей конференции делегаты правительства республики постарались заставить императорское правительство принять программу очень точную и очень подробную, которая, в некотором роде, вооружила бы императора против слабости его характера и против предательского влияния его бюрократии.

Относительно дипломатических гарантий, которыми мы, по моему, должны были бы запастись по отношению к России, вы знаете мое мнение; я не буду к нему возвращаться.

Что касается области стратегической, то нахождение генерала Гурко во главе Штаба Верховного Главнокомандующего позволяет нам надеяться, что можно будет составить план очень точный и очень обстоятельный.

Точно так же председатель совета министров, г. Трепов, облегчит нам заключение подробного соглашения по вопросам военного производства, транспорта и снабжения".

*Четверг, 28 декабря.*

Вот уже несколько раз меня расспрашивают о сношениях Бьюкенена с либеральными партиями и даже, серьезнейшим тоном, спрашивают меня, не работает ли он тайно в пользу революции.

Я каждый раз всеми силами протестую. Во-первых, в моих ежедневных беседах с ним, таких сердечных и полных доверия, я никогда не замечал ни малейшего слова, ни малейшего намека, который по-

зволил бы мне думать, что он завел сношения с революционными вожаками. Затем, все, что мне известно о его характере, достаточно было бы, чтобы отвергнуть приписываемую ему роль. Мы завязали знакомство в 1907 г.; мы были коллегами в Софии в течение четырех лет и мы вместе пережили опасный кризис болгарской независимости; мы продолжаем здесь уже три года тесное сотрудничество: мы, значит, взаимно испытали друг друга. И я не знаю более милого человека, более совершенного джентльмена, чем Джордж Бьюкенен. Он—воплощение прямоты и лойяльности; он считал бы позором для себя интриговать против монарха, при котором он аккредитован.

Старый князь В., которому я только-что говорил это, возражает мне с видом угрюмым:

— Но если его правительство приказало ему поощрять анархистов, он, ведь, должен это сделать.

Я отвечаю:

— Если бы его правительство приказало ему украсть вилку, когда он обедает у императора, вы думаете, он повиновался бы?

Обвинение, которое реакционеры направляют теперь против Бьюкенена, имеет прецедент в истории. После убийства Павла I уверяли, что заговор был составлен и организован британским правительством. Легенда скоро распространилась; несколько лет спустя это была почти официальная истина. Прибавляли даже точные подробности: посол, лорд Уитворт, лично организовал покушение и субсидировал его участников при посредстве своей возлюбленной, прекрасной Ольги Жеребцовой, сестры одного из заговорщиков, Платона

Зубова. Забывали, что лорд Уитворт покинул Россию в апреле 1800 г., т.-е. за одиннадцать месяцев до драмы...

*Пятница, 29 декабря.*

Земский и Городской Союзы, коих с'езд недавно был запрещен, приняли, тем не менее, втайне декларацию, которая распространяется в публике и главный пункт коей гласит:

„Наше спасение—в глубоком сознании нашей ответственности перед родиной. Когда власть становится препятствием на пути к победе, ответственность за судьбу России падает на всю страну в целом. Правительство, превратившись в орудие темных сил, ведет Россию к гибели и колеблет императорский трон. Необходимо создать правительство, достойное великого народа в один из самых серьезных моментов его истории. Пусть же Дума в решительной борьбе, начатой ею, оправдает ожидания страны. Нельзя терять ни одного дня.“

Графиня Р., проведшая три дня в Москве, где она заказывала себе платья у известной портнихи Ломановой, подтверждает то, что мне недавно сообщали о раздражении москвичей против царской фамилии:

— Я ежедневно обедала,—говорит она,—в различных кругах. Повсюду сплошной крик возмущения. Если бы царь показался в настоящее время на Красной площади, его встретили бы свистками. А царицу разорвали бы на куски. Великая княгиня такая добрая, сострадательная, чистая, не решается больше выходить из своего монастыря. Рабочие обвиняют ее в том, что она морит народ голодом... Во всех классах общества чувствуется дыхание революции...

*Суббота, 30 декабря.*

Около семи часов вечера превосходный осведомитель, состоящий у меня на службе сообщает мне, что сегодня ночью во время ужина во дворце Юсупова убили Распутина. Говорят, что убийцами являются: молодой князь Феликс Юсупов, женившийся в 1914 г. на племяннице царя, вел. князь Димитрий Павлович и Пуришкевич, лидер крайней правой в Думе. В ужине принимали будто участие две или три женщины из общества. Новость пока еще хранится в строгой тайне.

Прежде, чем телеграфировать в Париж, я стараюсь проверить только-что полученное сообщение.

Я тотчас отправляюсь к г-же Д. Она телефонирует своей тетке, г-же Головиной, великой приятельнице и покровительнице Распутина.

Заплаканный голос отвечает ей:

— Да, отец исчез сегодня ночью. Неизвестно, что с ним сталось... Это ужасное несчастье.

Вечеро́м новость распространяется в Яхт-Клубе. Великий князь Николай Михайлович отказывается ей поверить:

— Десять раз уже,—говорит он,—нам об'являли о смерти Распутина. И каждый раз он воскресал могущественнее, чем когда-либо.

Он все же телефонирует председателю совета министров Трепову, который ему отвечает:

— Я знаю только, что Распутин исчез; я предполагаю, что его убили. Я не могу узнать ничего больше: дело взял в свои руки начальник „охранки“.

*Воскресенье, 31 декабря.*

Тело Распутина все еще не найдено.

Императрица вне себя от горя: она молила императора, находящегося в Могилеве, немедленно вернуться к ней.

Мне подтверждают, что убийцы—князь Феликс Юсупов, великий князь Димитрий и Пуришкевич. Ни одной дамы за ужином не было. Как же в таком случае заманили Распутина во дворец Юсупова?..

Судя по тому немногому, что мне известно, именно присутствие Пуришкевича сообщает драме ее настоящее значение, ее политический интерес. Великий князь Димитрий—изящный молодой человек, двадцати пяти лет, энергичный пламенный патриот, способный проявить храбрость в бою, но легкомысленный, импульсивный и впутавшийся в эту историю, как мне кажется, сгоряча. Князь Феликс Юсупов, двадцати восьми лет, одарен живым умом и эстетическими наклонностями; но его диллетантизм слишком увлекается нездоровыми фантазиями, литературными образами Порока и Смерти; боюсь, что он в убийстве Распутина видел прежде всего сценарий, достойный его любимого автора, Оскара Уайльда. Во всяком случае, своими инстинктами, лицом, манерами он походит скорее на героя „Дориана Грея“, чем на Брута или Лорензаччио.

Пуришкевич, которому перевалило за пятьдесят, напротив, человек идеи и действия. Он поборник православия и самодержавия. Он с силой и талантом поддерживает тезисы: „царь—самодержец, посланный богом“. В 1905 г. он был председателем знаменитой реакционной лиги „Союза Русского Народа“ и это он вдохновлял и направлял страшные еврейские погромы. Его участие в убийстве Распутина освещает все поведение крайней правой в последнее время; оно показывает, что сторонники самодержавия, чувствуя, чем им

грозят безумства императрицы, решили защищать императора, если понадобится, против его воли.

Вечером я пошел в Мариинский театр, где шел живописный балет Чайковского „Спящая Красавица“, с участием Смирновой.

Естественно, только и разговор, что о вчерашней драме, и так как ничего определенного не знают, русское воображение разыгрывается во всю. Прыжки, пируэты и „арабески“ Смирновой не так фантастичны, как рассказы, которые циркулируют в зале.

В первом антракте советник итальянского посольства, граф Нани Моцениго, говорит мне:

— Ну, что же, господин посол, мы, значит, вернулись к временам Парджиа?.. Не напоминает ли вам вчерашний ужин знаменитий пир в Имола?

— Аналогия отдаленная. Тут не только разница в эпохе; тут, главным образом, разница цивилизаций и характеров. По коварству и вероломству вчерашнее покушение, бесспорно, достойно сатанинского Цезаря. Но это не bellissimo ingano, как говорил Валенсиец. Не всякому дано величие в сладострастии и преступлении...

*Понедельник, 1 января 1917 г.*

Если судить лишь по созвездиям русского неба, год начинается при дурных предзнаменованиях. Я констатирую везде беспокойство и уныние; войной больше не интересуются; в победу больше не верят; с покорностью ждут самых ужасных событий.

Сегодня утром я обсуждал с Покровским проект ответа на американскую ноту о наших целях войны. Мы ищем формулу по вопросу о Польше; я указываю на то, что полное восстановление польского государ-

ства, а, следовательно, отторжение Познани от Пруссии имеет капитальное значение; мы должны, значит, громко заявить о своих намерениях. Покровский согласен в принципе, но боится обязаться из боязни дать союзникам право вмешаться в дела Польши. Я со смехом возражаю ему:

— Вы как будто заимствуете ваши аргументы у графа Нессельроде или князя Горчакова?

Он, тоже смеясь, отвечает мне:

— Дайте мне еще несколько дней, чтоб я мог освободиться от этих архаических влияний.

Затем снова сделавшись серьезным, он перечитывает вполголоса проект, который мы только-что обсуждали, и серьезно добавляет:

— Все это прекрасно. Но как мы далеки от этого! Посмотрите настоящую действительность!..

Я утешаю его, как могу, указывая ему на то, что наша окончательная, полная победа зависит исключительно от нашей выдержки и нашей энергии.

Глубоко вздохнув, он продолжает:

— Но посмотрите же, что здесь происходит!

По распоряжению императрицы, адъютант императора, генерал Максимович, арестовал вчера великого князя Дмитрия, который оставлен под надзор полиции в своем дворце на Невском проспекте.

*Вторник, 2 января.*

Тело Распутина найдено вчера в льдах Малой Невки у Крестовского острова, возле дворца Белосельского.

Императрица до последнего момента надеялась, что „бог сохранит ей ее утешителя и единственного друга“.

Полиция не разрешает печатать никаких подробностей драмы. Впрочем, „охранка“ продолжает вести следствие в такой тайне, что еще сегодня утром председатель совета министров Трепов отвечал на нетерпеливые вопросы великого князя Николая Михайловича:

— Клянусь вам ваше высочество, что все делается без меня и я ничего из следствия не знаю.

Народ, узнав третьего дня о смерти Распутина, торжествовал. Люди обнимались на улице, шли ставить свечи в Казанский собор.

Когда стало известно, что великий князь Дмитрий был в числе убийц, толпой бросились ставить свечи перед иконой св. Дмитрия.

Убийство Григория—единственный предмет разговора в бесконечных хвостах женщин, в дождь и ветер ожидающих у дверей мясных и бакалейных лавок распределения мяса, чая, сахара и пр.

Они друг дружке рассказывают, что Распутин был брошен в Неву живым и одобряют это пословицей: „собаке собачья смерть“.

Другая народная версия: „Распутин еще дышал, когда его бросили под лед в Неву. Это очень важно, потому что он, таким образом, никогда не будет святым“...

В русском народе держится поверье, что утопленники не могут быть причислены к лику святых.

*Среда, 3 января.*

Лишь только тело Распутина вытащили из Невы оно было таинственно увезено в Убежище ветеранов Чесмы, расположенное в пяти километрах от Петрограда по дороге в Царское Село.

Осмотрев труп и констатировав следы ран, профессор Косоротов ввел в залу, где производилось вскрытие, сестру Акулину, молодую послушницу, с которой Распутин познакомился когда-то в Октайском монастыре, где он изгнал из нее беса. По письменному повелению императрицы, она, с одним только больничным служителем, приступила к последнему одеванию трупа. Кроме нее, никого к покойному не допустили: его жена, дочери, самые горячие его поклонницы тщетно умоляли разрешить им видеть его в последний раз.

Бывшая одержимая, благочестивая Акулина, провела половину ночи за омовением тела, наполнила его раны благовониями, одела в новые одежды и положила в гроб. В заключение она положила ему на грудь крест, а в руки вложила письмо императрицы.. Вот текст этого письма, как мне его сообщила г-жа Т., приятельница „старца“, очень дружившая с сестрой Акулиной:

„Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтоб оно постоянно было со мной на скорбном пути, который остается мне пройти здесь на земле. И помяни нас на небесах в твоих святых молитвах.

Александра“.

Утром на следующий день, т.-е. вчера, императрица и г-жа Вырубова пришли помолиться над прахом друга, который они засыпали цветами, иконами и причитаниями.

Сколько раз во время моих поездок в Царское Село проезжал я мимо Чесменского приюта (бывшей летней резиденции Екатерины II), который с дороги виден сквозь деревья. В это время года в своем зимнем уборе, на беспредельной туманной и холодной рав-

нине,—место зловещее и унылое. Это как раз подходящая декорация для вчерашней сцены. Императрица и ее зловещая подруга, в слезах перед распухшим трупом развратного мужика, которого они так безумно любили и которого Россия будет проклинать вечно,—много ли создал великий драматург—история—более патетических эпизодов?

Около полуночи гроб перенесли в Царское Село, под руководством г-жи Головиной и полковника Ломана, затем его поставили в часовне в императорском парке.

*Четверг, 4 января.*

Сделал визит Коковцеву в его корректном и методическом аппартаменте на Моховой.

Никогда еще бывший председатель совета министров, пессимизм которого столько раз оправдывался, не формулировал при мне таких мрачных предсказаний. Он предвидит в близком будущем либо дворцовый переворот, либо революцию.

— Я уже очень давно не видел его величество. Но у меня есть очень близкий друг, который часто видит императора и императрицу и который работал с императором последние дни. Впечатления, сообщенные мне этим другом, грустные. Императрица с виду спокойна, но молчалива и холодна. У императора глухой голос, впалые щеки, недобрый взгляд; он с горечью говорит о членах государственного совета, которые, твердя о своей верности самодержавию, позволили себе обратиться к нему с заявлением; он решил, поэтому, сменить председателя и товарища председателя этого высокого собрания, полномочия коих истекают 1 (14-го) января, но которые обычно остаются на

своих постах... Раздражение императора против государственного совета усердно раздувается императрицей, которую уверили, что некоторые члены крайней правой государственного совета говорили о расторжении ее брака с царем и о заключении ее в монастырь. Теперь я вам по секрету скажу: был у меня сегодня утром Трепов и заявил мне, что он больше не хочет нести ответственность за власть и что он просил императора освободить его от обязанностей председателя совета министров. Вы понимаете, что у меня есть основание беспокоиться.

— В конечном счете,—сказал я,—настоящий конфликт принимает все больше характер конфликта между самодержцем и естественными, присяжными защитниками самодержавия. Неужели вы полагаете, что, если император не уступит, мы снова будем свидетелями трагедии Павла I?

— Боюсь, что так.

— А левые партии, как они будут на это реагировать?

— Левые партии (я имею в виду думские фракции) останутся, вероятно, в стороне; они знают, что дальнейшие события могут принять лишь благоприятный для них оборот, и они будут ждать. А что касается народных масс, это другой вопрос.

— Неужели вы уже предвидите их выступление?

— Не думаю, чтобы было довольно проявлений текущей политики или даже дворцового переворота для того, чтоб поднять народ. Но восстание вспыхнет немедленно в случае военного поражения или голодного кризиса.

Я сообщаю Коковцеву, что я намерен просить у императора аудиенции:

— Оффициально я буду иметь возможность говорить только о делах дипломатических. Но, если я увижу, что он доверчиво настроен, я попытаюсь перевести разговор на почву внутренней политики.

— Ради бога, скажите ему все, без колебаний.

— Я буду говорить по существу, если он согласится меня выслушать. Если он станет уклоняться, я ограничусь тем, что дам ему понять, как меня беспокоит все, что происходит и о чем я не имею права ему сказать.

— Может быть, вы правы. В том настроении, в каком находится император, к нему надо подходить осторожно; но я знаю, что он расположен к вам, и поэтому меня не удивило бы, если бы он говорил с вами с известной откровенностью.

С тех пор, как великий князь Димитрий находится под арестом в своем дворце на Невском проспекте, его друзья боятся за его личную безопасность. На основании сведений, коих источник мне неизвестен, они боятся, что министр внутренних дел Протопопов решил убить его с помощью караулящих его полицейских. Махинация, подготовленная „охранкой“, состоит будто бы в том, что будет симулирована попытка к побегу; полицейский сделает вид, будто подвергся угрозам со стороны великого князя и вынужден был употребить оружие для самозащиты.

На всякий случай председатель совета министров послал генералу Хабалову приказ поставить во дворце великого князя караул из солдат пехоты. Впредь на каждого полицейского будет приходиться, таким образом, по часовому, который будет за ним наблюдать.

*Пятница, 5 января.*

Чтобы сбить со следа гипотезы и поиски всеобщего любопытства, „охранка“ распускает слух, что гроб Распутина был перевезен в село Покровское возле Тобольска, не то в какой-то монастырь на Урале.

В действительности погребение происходило очень секретно прошлой ночью в Царском Селе.

Гроб был погребен под иконостасом строющейся часовни на опушке императорского парка, возле Александровска—часовни св. Серафима.

Присутствовали только император, императрица, четыре молодые великие княгини, Протопопов, г-жа Вырубова, полковник Ломан и Мальцев, наконец, совершавший отпевание придворный протоиерей отец Васильев.

Императрица потребовала себе окровавленную рубашку „мученика Григория“ и благовейно хранит ее, как реликвию, как палладиум, от которого зависит участь династии.

В тот же день вечером крупный промышленник Богданов давал у себя обед, на котором присутствовали: члены императорской фамилии, князь Гавриил Константинович, несколько офицеров, в том числе граф Капнист, ад'ютант военного министра, член государственного совета Озеров и несколько представителей крупного финансового капитала, в том числе Путилов.

За обедом, который был очень оживлен, только и было разговоров, что о внутреннем положении. Под влиянием шампанского его изображали в самых мрачных красках с любезным русскому воображению чрезмерным пессимизмом.

Обращаясь к князю Гавриилу, Озеров и Путилов говорили, что, по их мнению, единственное средство

спасти царствующую династию и монархический режим это—собрать всех членов императорской фамилии, лидеров партий Государственного Совета и Думы, а также представителей дворянства и армии, и торжественно об'явить императора ослабевшим, не справляющимся со своей задачей, неспособным дольше царствовать и возвестить воцарение наследника под регентством одного из великих князей.

Нисколько не протестуя, князь Гавриил ограничился тем, что формулировал несколько возражений практического характера; тем не менее, он обещал передать своим дядюшкам и двоюродным братьям то, что ему сказали.

Вечер закончился тостом „за царя, умного, сознающего свой долг и достойного своего народа".

Император отказался принять отставку Трепова, без единого слова об'яснения.

Вечером я узнал, что в семье Романовых великие тревоги и волнение.

Несколько великих князей, в числе которых мне называют трех сыновей великой княгини Марии Павловны: Кирилла, Бориса и Андрея, говорят ни больше, ни меньше, как о том, чтобы спасти царизм путем дворцового переворота. С помощью четырех гвардейских полков, которых преданность уже поколеблена, двинутся ночью на Царское Село; захватят царя и царицу; императору докажут необходимость отречься от престола; императрицу заточат в монастырь; затем об'явят царем наследника Алексея, под регентством великого князя Николая Николаевича.

Инициаторы этого плана полагают, что великого князя Димитрия его участие в убийстве Распутина делает самым подходящим исполнителем, способным увлечь

войска. Его двоюродные братья, Кирилл и Андрей Владимировичи, пришли к нему в его дворец на Невском проспекте и изо всех сил убеждали его „довести до конца дело народного спасения“. После долгой борьбы со своей совестью, Димитрий Павлович в конце концов отказался „поднять руку на императора“; его последним словом было: „я не нарушу своей присяги в верности“.

Гвардейские части, в которых организаторы успели завязать сношения: Павловский полк, расквартированный в казармах на Марсовом поле, Преображенский полк, в казармах у Зимнего дворца, Измайловский полк, в казармах у Обводного канала, гвардейские казаки, в казармах за Александро-Невской Лаврой, и, наконец, один эскадрон императорского гусарского полка, входящего в состав гарнизона Царского Села.

Все происходившее в казармах почти тотчас стало известно „охранке“, и Белецкому поручено было начать расследование в связи с следствием, которое он производит по делу Распутина; главным его сотрудником в его розысках является жандармский полковник Невданов, начальник собственной его величества охраны, недавно заменивший генерала Спиридовича.

*Суббота, 6 января.*

Об убийстве Распутина продолжают циркулировать самые противоречивые, самые фантастические версии. Тайна тем глубже, что с первой же минуты императрица поручила вести следствие лично знаменитому Белецкому, бывшему директору департамента полиции, теперь сенатору; он тотчас принялся за дело с начальником „охранки“, жандармским генералом Глобачевым, и его расторопным помощником, полковником Кирпич-

никовым. Требуя, чтобы все полномочия для ведения следствия были сосредоточены в руках Белецкого, императрица усиленно повторяла: „я только ему доверяю; я поверю лишь тому, что мне скажет он, один он...“

Из двух различных источников, из коих один очень интимный, я получил в общем итоге сведения, дающие мне возможность восстановить главные фазы убийства. Меня уверяют, что эти подробности совпадают с фактами, установленными в настоящее время полицейским следствием.

Драма произошла в ночь с 29 на 30 декабря во дворце князя Юсупова, на Мойке, дом № 94.

До того у Феликса Юсупова были с Распутиным лишь весьма неопределенные отношения. Чтоб заманить его к себе в дом, князь прибег к довольно неэлегантному стратегическому приему. 28 декабря он отправился к „старцу“ и сказал ему:

— Моя жена, прибывшая из Крыма, безумно хочет с тобой познакомиться. И она хотела бы видеть тебя совершенно интимно, чтобы спокойно поговорить с тобой. Не хочешь ли ты завтра придти ко мне домой выпить чашку чаю? Приходи попозже, так в половине двенадцатого, потому что у нас будет обедать моя теща, но к этому времени она уже, наверное, уйдет.

Надежда завязать знакомство с очень красивой княгиней Иреной, дочерью великого князя Александра Михайловича и племянницей императора, тотчас соблазнила Распутина, и он обещал придти. Княгиня Ирена, впрочем, вопреки утверждению Юсупова, находилась еще в Крыму.

На следующий день 29 декабря, около 11 часов вечера, все заговорщики собрались во дворце Юсупова, в одном из салонов верхнего этажа, где был сервиро-

ван ужин. Князя Феликса окружали: великий князь Димитрий, депутат Государственной Думы Пуришкевич, капитан Сухотин и польский врач, доктор Станислав Лазоверт, прикомандированный к одной из крупных военно-санитарных организаций. Что бы ни рассказывали, никакой оргии в этот вечер во дворце Юсупова не было; в обществе не было ни одной женщины: ни княгини Р., ни г-жи Д., ни графини П., ни танцовщицы Корелли.

В четверть двенадцатого князь Феликс отправился в автомобиле к Распутину, который живет на Гороховой, № 68, приблизительно в двух километрах от Мойки.

Юсупов ощупью поднялся по лестнице, ведущей в квартиру Распутина, так как свет в доме был уже погашен, а ночь была очень темная. В этом мраке он плохо ориентируется. В тот момент, когда он звонит, он боится, что ошибся дверью, может быть, этажом. Тогда он мысленно произносит: „если я ошибусь, значит, судьба против меня—и Распутин должен жить".

Он звонит, сам Распутин открывает ему дверь; за ним следует его верная служанка Дуня.

— Я за тобой, отец, как было условлено. Моя машина ждет внизу.

И в порыве сердечности, по русскому обычаю, звонко целует старца в губы.

Тот, охваченный инстинктивным недоверием, насмешливо восклицает:

— Ну, и целуешь же ты меня, малый... Надеюсь, это не иудино лобзанье... Ну, пойдем. Ступай вперед... Прощай, Дуня!

Через десять минут, т. е. около полуночи, они вышли из автомобиля у дворца на Мойке.

Юсупов вводит своего гостя в небольшой аппартамент нижнего этажа, выходящий в сад. Великий князь Димитрий, Пуришкевич, капитан Сухотин и доктор Лазоверт ожидают в верхнем этаже, откуда доносятся время от времени звуки граммофона, исполняющего мотивы танцев.

Юсупов говорит Распутину:

— Моя теща и несколько наших знакомых молодых людей еще наверху, но все они собираются уходить. Моя жена сойдет к нам тотчас после их ухода... Сядем.

Они усаживаются в широкие кресла и беседуют об оккультизме, некромантии.

„Старец“ никогда не нуждается в стимуле, чтоб разглагольствовать без конца о подобных вещах. К тому же он в этот вечер в ударе; глаза его блестят, и он кажется очень довольным самим собой. Чтоб предстать пред молодой княгиней Иреной во всеоружии всех своих средств обольщения, он надел свой лучший костюм, костюм знаменательных дней: на нем широкие черные бархатные шаровары, запущенные в высокие сапоги; белая шелковая рубаха, украшенная голубой вышивкой; наконец, пояс из черного сатина, расшитый золотом, подарок царицы.

Между креслами, в которых развалились Юсупов и его гость, заранее поставлен был круглый стол, на котором размещены на двух тарелках пирожные с кремом, бутылка марсалы и поднос с шестью стаканами.

Пирожные, поставленные возле Распутина, были отравлены цианистым калием, доставленным врачем Обуховской больницы, знакомым князю Феликсу.

Каждый из трех стаканов, стоящих возле этих пирожных, содержит по три центиграмма цианистого

калия, растворенного в нескольких каплях воды; как ни слабой кажется эта доза, она, однако, огромна, потому что уже доза в четыре цептиграмма смертельна.

Едва началась беседа, Юсупов небрежно наполняет по стакану из каждой серии и берет пирожное с ближайшей к нему тарелки.

— Ты не пьешь, отец, Григорий?—спрашивает он „старца".

— Нет, мне пить не хочется.

Они продолжают довольно оживленно беседовать о чудесах спиритизма, колдовства и ворожбы.

Юсупов еще раз предлагает Распутину выпить вина, с'есть пирожное. Новый отказ.

Но, когда часы пробили час утра, Гришка внезапно приходит в раздражение и грубо кричит:

— Да что же это? Жена твоя не придет... Я, знаешь, ждать не привык. Никто не позволяет себе заставлять меня ждать, никто... даже императрица.

Зная, как вспыльчив Распутин, князь Феликс примирительно лепечет:

— Если Ирены не будет здесь через несколько минут, я пойду за ней.

— Ты хорошо сделаешь, потому что мне становится здесь скучно.

С непринужденным видом, но сдавленной глоткой, Юсупов пытается возобновить беседу. „Старец" неожиданно выпивает свой стакан. И, щелкнув языком, говорит:

— Марсала у тебя знатная. Я бы еще выпил.

Машинально Юсупов наполняет не тот стакан, который протягивает ему Гришка, а два других, содержащих цианистый калий.

Распутин хватает стакан и выпивает его единым духом. Юсупов ждет, что жертва свалится в обмороке.

Но яд все не оказывает действия.

Третий стакан. Все никакого эффекта.

Обнаруживавший до этого момента замечательное хладнокровие и непринужденность убийца начинает волноваться. Под предлогом, будто он идет за Иреной, он выходит из салона и подымается на верхний этаж, чтобы посоветоваться со своими сообщниками.

Совещание было непродолжительно. Пуришкевич энергично высказывается за ускорение развязки.

— Не то,—заявляет он,—негодяй уйдет от нас. И так как он, по крайней мере, наполовину отравлен, мы подвергнемся всем последствиям убийства, не получив от него никакой выгоды.

— Но у меня нет револьвера,—возражает Юсупов.

— Вот мой револьвер,—отвечает великий князь Димитрий.

Юсупов, держа за спиной в левой руке револьвер, возвращается вниз.

— Моя жена в отчаянии, что заставляет тебя ждать,—говорит он:—ее гости только-что ушли, она сейчас будет здесь.

Но Распутин едва слушает его; отдуваясь и рыгая, он мечется взад и вперед. Цианистый калий подействовал.

Юсупов не решается, однако, воспользоваться своим револьвером. А если он промахнется!... Хрупкий и изнеженный, он боится открыто напасть на коренастого мужика, который мог бы раздавить его одним ударом кулака. Однако, нельзя терять больше ни одной минуты. С секунды на секунду Распутин может заметить, что попал в ловушку, схватить своего противника за горло и спастись, переступив через его труп.

Совершенно овладев собой, Юсупов говорит:

— Так как ты на ногах, пройдем в соседнюю комнату. Я хочу показать тебе очень красивое итальянское распятие эпохи Ренессанса, которое я давно купил.

— Да, покажи его мне; никогда нелишне посмотреть изображение нашего распятого Спасителя.

Они заходят в соседнюю комнату.

— Вот посмотри, вот здесь, на этом столе,—сказал Юсупов:—не правда-ли красиво?

И в то время, как Распутин склоняется над святым изображением, Юсупов становится слева и, почти в упор, два раза стреляет ему в бок.

Распутин издает:

— Ах!

И всей своей массой падает на пол.

Юсупов наклоняется над телом, щупает пульс, осматривает глаз, подняв веко, и не констатирует никаких признаков жизни. На выстрел быстро сходят оставшиеся наверху сообщники. Великий князь Димитрий заявляет:

— Теперь надо поскорее бросить его в воду... Я пойду за своим автомобилем.

Его спутники снова поднимаются на верхний этаж, чтоб сговориться, как увезти труп.

Минут через десять Юсупов заходит в салон нижнего этажа посмотреть на свою жертву и отступает в ужасе.

Распутин, опираясь на руки, наполовину поднялся. В последнем усилии он выпрямляется, опускает свою тяжелую руку на плечо Юсупова и срывает с него эполету, выдохнув замирающим голосом:

— Негодяй!... Завтра ты будешь повешен! Потому что я все расскажу императрице!

Юсупов с трудом вырывается, выбегает из салона, возвращается на верхний этаж. И бледный, залитый кровью, кричит прерывающимся голосом своим сообщникам:

Он еще жив... Он со мной говорил...

Затем он в обмороке падает на диван. Пуришкевич хватает его своими сильными руками, встряхивает, поднимает, берет у него его револьвер и вместе с ним и остальными заговорщиками сходит в аппартамент нижнего этажа.

Распутина нет уже больше в салоне. У него хватило энергии открыть дверь в сад и он ползет по снегу.

Пуришкевич выпускает одну пулю ему в затылок и другую в спину, а в это время Юсупов, взбешенный, рыча, бежит за бронзовым канделябром и наносит им жертве несколько страшных ударов по черепу.

Четверть третьего утра.

В этот момент к садовой калитке под'езжает автомобиль великого князя Димитрия. С помощью надежного слуги заговорщики одевают Распутина в шубу, надевают ему даже галоши, чтобы во дворце не осталось никаких вещественных доказательств, и кладут тело в автомобиль, в который торопливо садятся: великий князь Димитрий, доктор Лазоверт и капитан Сухотин.

Затем, автомобиль, под управлением Лазоверта, полным ходом несется к Крестовскому.

Накануне капитан Сухотин обследовал берега. По его указанию, автомобиль останавливается у небольшого моста, ниже которого скоростью течения нагромождены

были льдины, резделенные полыньями. Там не без труда трое сообщников подносят тяжеловесную жертву к краю проруби и сталкивают труп в воду. Но физическая трудность операции, густой ночной мрак, пронзительное завывание ветра, страх быть захваченными врасплох, нетерпенье покончить со всем,—до крайности напрягают их нервы, и они не замечают, как, сталкивая труп за ноги, они уронили одну галошу, которая затем осталась на льду; три дня спустя нахождение этой галоши открыло полиции место погружения трупа в воду.

В то время, как на Крестовском острове совершалась эта погребальная работа, происходил инцидент во дворце на Мойке, где князь Феликс и Пуришкевич, оставшиеся там одни, заняты были поспешным уничтожением следов убийства.

Когда Распутин покинул свою квартиру на Гороховой, агент „охранки" Тихомиров, которому обычно поручалась охрана „старца", тотчас перенес свое дежурство к дворцу Юсупова. Начало драмы, конечно, ускользнуло от его внимания.

Но, если он не мог слышать первых револьверных выстрелов, ранивших Распутина, он явственно слышал выстрелы в саду. Встревоженный, он поспешил предупредить полицейского пристава соседнего участка. Вернувшись, он видел, как из ворот дворца Юсупова выехал автомобиль и с бешеной скоростью помчался к Синему мосту.

Пристав хочет войти во дворец, но дворецкий князя, принимая его на пороге, говорит ему:

— То, что произошло, вас не касается. Его императорское высочество великий князь Димитрий доложит завтра кому следует. Уходите.

Энергичный пристав проникает в дом. В вестибюле он натыкается на Пуришкевича, который заявляет ему:

— Мы только-что убили человека, позорившего Россию.

— Где труп?

— Этого вы не узнаете. Мы поклялись сохранить абсолютную тайну обо всем, что произошло.

Пристав поспешно возвращается в участок на Морской и телефонирует полицеймейстеру 2-й части, полковнику Григорьеву. Не прошло получаса, как градоначальник генерал Балк, командующий отдельным корпусом жандармов генерал граф Татищев, начальник „охранки", генерал Глобачев, наконец, директор департамента полиции Васильев прибыли в Юсуповский дворец.

*Воскресенье, 7 января.*

Покровский об'явил мне вчера, что император примет меня сегодня в шесть часов, и добавил:

Умоляю вас говорить с ним откровенно, без недомолвок... Вы можете оказать нам большую услугу.

— Если император сколько-нибудь расположен будет выслушать меня, я скажу ему все, что накипело у меня на сердце. Но в том настроении, в котором он, как мне известно, находится, моя задача будет нелегка.

— Да вдохновит вас бог!

— Надо еще, чтобы богу представили случай вдохновить меня.

Немного раньше шести часов церемониймейстер Теплов, сопровождавший меня от Петрограда в императорском поезде, вводит меня в царскосельский дворец. Гофмаршал князь Долгоруков и дежурный ад'ютант принимают меня на пороге первого салона.

Придя в библиотеку, за которой находится кабинет императора и где дежурный эфиоп застыл на часах, мы разговариваем минут десять. Мы говорим о войне и о том, что она еще долго будет продолжаться; мы выражаем уверенность в конечной победе; мы признаем необходимость заявить себя более, чем когда-либо решившимися уничтожить германское могущество и пр. Но твердые заявления моих собеседников опровергаются мрачным и беспокойным выражением их лиц, немым советом, который я читаю в их глазах: „ради бога, говорите откровенно с его величеством“.

Эфиоп открывает дверь.

Лишь только я вошел, меня поражает утомленный вид императора, напряженное и озабоченное выражение его лица.

— Я просил, ваше величество, принять меня,—говорю я,—потому что я всегда находил у вас много утешения, а я очень нуждаюсь в этом сегодня.

Голосом без тембра, голосом, какого я не знал у него, он отвечает мне:

— Я попрежнему полон упорной решимости продолжать войну до победы, до решительной и полной победы. Вы читали мой последний приказ армии?

— Да, конечно, и я был восхищен уверенностью и непоколебимой энергией, которыми дышит этот документ. Но какая пропасть между этим блестящим заявлением вашей самодержавной воли и реальными фактами.

Император недоверчиво смотрит на меня. Я продолжаю:

— В этом приказе вы заявляете о вашей непреклонной решимости завоевать Константинополь. Но как доберутся до него ваши войска? Не пугает ли

вас то, что происходит в Румынии?... Если отступление румынских войск не будет немедленно остановлено, они скоро должны будут очистить всю Молдавию и отступить за Пруг и даже за Днестр. И не боитесь ли вы, что при этом случае Германия образует в Бухаресте временное правительство, возведет на трон другого Гогенцоллерна и заключит мир с восстановленной таким образом Румынией?

— Это, действительно, перспектива очень тревожная. И я делаю все возможное, чтобы увеличить армию генерала Сахарова; но затруднения переброски и снабжения огромны. Тем не менее, я надеюсь, что дней через десять мы в состоянии будем возобновить наступление в Молдавии.

— Ах... дней через десять! А 31 пехотная дивизия и 12 кавалерийских дивизий, которые требовал генерал Сахаров, уже на фронте?

Он отвечает мне уклончиво:

— Не могу вам сказать, я не помню. Но у него уже много войск, много... И я пошлю еще много других, много...

— В скором времени?

— Да, надеюсь,

Разговор тянется вяло. Мне не удается больше остановить ни взгляда императора, ни его внимания. Мне кажется, мы за тысячу лье друг от друга.

Тогда я пускаю в ход великий аргумент, который всегда оказывался такой силой и открывал передо мной двери его мысли: я взываю к памяти его отца Александра III, перед портретом которого мы ведем беседу.

— Государь, Вы мне часто говорили, что в тяжелые моменты вы апеллировали к вашему любезному

отцу и что просьба ваша никогда не оставалась тщетной. Пусть же теперь вдохновит вас его благородная душа. Обстоятельства так серьезны.

— Да, воспоминание о моем отце для меня большая помощь.

И на этой неопределенной фразе он снова прекращает разговор.

Я продолжаю, сделав жест уныния:

— Государь, я вижу, что я выйду из этого кабинета гораздо более встревоженным, чем я вошел сюда. Впервые я не чувстую себя в контакте с вашим величеством.

Он дружески протестует:

— Но вы пользуетесь моим полным доверием. Нас связывают такие воспоминания. И я знаю, что я могу рассчитывать на вашу дружбу.

— Именно в силу этой дружбы вы и видите меня полным печали и тоски; ибо я сообщил вам лишь меньшую часть моих опасений. Есть сюжет, о котором посол Франции не имеет права говорить с вами; вы догадываетесь, какой. Но я был бы недостоин доверия, которое вы всегда мне оказывали, еслибы я скрыл от вас, что все симптомы, поражающие меня вот уж несколько недель, растерянность, которую я наблюдаю в лучших умах, беспокойство, которое я констатирую у самых верных ваших подданных, внушают мне страх за будущее России.

— Я знаю, что в петроградских салонах сильно волнуются.

И, не дав мне времени подхватить эти слова, он спрашивает меня с равнодушным видом:

— Как поживает наш друг, царь болгарский?

Холоднейшим официальным тоном я отвечаю:

— Государь, уже много месяцев я не имею о нем никаких известий.

И я умолкаю.

С своей обычной застенчивостью и неловкостью император не находит, что сказать. Тяжелое молчание тяготит нас обоих. Однако, он не отпускает меня, не желая, без сомнения, чтобы я расстался с ним под неприятным впечатлением. Мало-по-малу его лицо смягчается и озаряется меланхолической улыбкой. Мне жаль его, и я спешу помочь его бессловесности. На столе, возле которого мы сидим, я увидел около дюжины роскошно переплетенных томов с шифром Наполеона I:

— Ваше величество оказали послу Франции деликатное внимание, окружив себя сегодня этими книгами. Наполеон—великий учитель, с которым следует советоваться в критических обстоятельствах; это—человек, более всех одолевший судьбу.

— И у меня культ к нему.

Я удерживаю готовую сорваться с моих губ реплику: „О! очень платонический культ". Но император встает и проводит меня до дверей, долго удерживая, с дружелюбным видом, мою руку. Пока императорский поезд отвозит меня обратно в Петроград, сквозь снежную метель, я резюмирую в уме воспоминания об этой аудиенции. Слова императора, его молчание, его недомолвки, серьезное и сосредоточенное выражение его лица, его неуловимый и далекий взгляд, замкнутость его мысли, все смутное и загадочное в его личности, утверждают меня в мысли, которая уже несколько месяцев не оставляет меня, а именно: что император чувствует себя подавленным и побежденным событиями,

что он больше не верит ни в свою миссию, ни в свое дело; что он, так сказать, отрекся внутренне; что он уже примирился с мыслью о катастрофе и готов на жертву. Его последний приказ войскам, его гордое требование Польши и Константинополя были лишь, как я сначала и предчувствовал, своего рода политическим завещанием, последним заявлением славной мечты, которую он лелеял для России и гибель которой он констатирует в настоящее время.

*Понедельник, 8 января.*

Великий князь Димитрий, по высочайшему повелению, отправлен в Персию, в Казвин, где он будет состоять при главном штабе одной из действующих армий. Князь Феликс Юсупов выслан в свое имение в Курскую губ. Что касается Пуришкевича, то престиж, которым он пользуется среди крестьян, влияние его в реакционной партии, как одного из вождей „черных сотен", привели императора к мысли, что его опасно было бы трогать; он оставлен на свободе, но на следующий день после убийства уехал на фронт, где за ним следит военная полиция.

Мысль убить Распутина возникла в уме Феликса Юсупова, повидимому, в середине ноября. Около этого времени он говорил об этом с одним из лидеров кадетской партии, блестящим адвокатом Василием Маклаковым; но тогда он рассчитывал убить „старца" при помощи наемных убийц, а не действовать лично. Адвокат благоразумно отговорил его от этого способа: „негодяи, которые согласятся убить Распутина за плату, едва получив от вас задаток, пойдут продать вас „охранке"...

Пораженный Юсупов спросил: „Неужели нельзя найти надежных людей?“—на что Маклаков остроумно ответил: „Не знаю, у меня никогда не было бюро убийц“.

2 декабря Феликс Юсупов окончательно решился действовать лично.

В этот день он был на открытом заседании Думы и сидел в ложе против трибуны. На трибуну только что поднялся Пуришкевич и громил в страшном обвинительном акте „темные силы, позорящие Россию“. Когда оратор воскликнул перед взволнованной аудиторией: „Встаньте, господа министры, поезжайте в Ставку, бросьтесь к ногам царя, имейте мужество сказать ему, что растет народный гнев и что не должен темный мужик дальше править Россией“... Юсупов затрепетал от сильного волнения. Г-жа П., сидевшая возле него, видела, как он побледнел и задрожал.

На следующий день, 3 декабря, он отправился к Пуришкевичу. Взяв с него слово сохранить все в абсолютной тайне, он рассказал ему, что ведет с некоторого времени знакомство с Распутиным с целью проникнуть в интриги, которые затеваются при Дворе, и что он не останавливался ни перед какой лестью, чтоб снискать доверие Распутина. Ему это чудесно удалось, так как он только-что узнал от самого „старца“, что сторонники царицы готовятся свергнуть Николая II, что императором будет об'явлен царевич Алексей под регентством матери и что первым актом нового царствования будет предложение мира германским империям. Затем видя, что его собеседник ошеломлен этим разоблачением, он открыл ему свой проект убить Распутина и заключил: „Я хотел бы иметь возможность рассчитывать на вас, Владимир Митрофанович, чтобы осво-

бодить Россию от страшного кошмара, в котором она мечется“. Пуришкевич, у которого пылкое сердце и скорая воля, с восторгом согласился. В один момент составили они программу засады и установили для выполнения ее дату: 29 декабря.

Делегаты Франции, Англии и Италии на конференции союзников должны на этих днях выехать в Петроград. Бьюкенен, Карлотти и я советуем своим правительствам отложить их от‘езд. Бесполезно подвергать их утомлению и риску путешествия по арктическим морям, если они найдут здесь потерявшее почву правительство.

---

## VII. Конференция союзников.

*Вторник, 9 января.*

Сэр Джордж Бьюкенен, который не меньше моего встревожен положением, полагает, что император окажется, может быть, чувствительным к совету своего кузена, короля Англии; и он подсказал Бальфуру мысль добиться, чтобы король послал личную телеграмму царю; передавая эту телеграмму, Бьюкенен устно сделал необходимые комментарии. Бальфур одобрил этот план, и мой коллега только-что испросил аудиенцию у императора.

*Среда, 10 января.*

Около месяца тому назад великая княгиня Виктория Федоровна, супруга великого князя Кирилла, была принята императрицей и, чувствуя ее менее обыковенного замкнутой, рискнула заговорить с ней о больных вопросах:

— С болью и ужасом,—сказала она,—я констатирую всюду распространенное неприязненное отношение к вашему величеству.

Императрица прервала ее:

— Вы ошибаетесь, моя милая. Впрочем, я и сама ошибаюсь. Еще совсем недавно я думала, что Россия меня ненавидит. Теперь я осведомлена. Я знаю, что

меня ненавидит только петроградское общество, это развратное, нечестивое общество, думающее только о танцах и ужинах, занятое только удовольствиями и адюльтером, в то время как со всех сторон кровь течет ручьями... кровь... кровь...

Она как будто задыхалась от гнева, произнося эти слова; она вынуждена была на мгновение остановиться. Затем она продолжала:

— Теперь, напротив, я имею великое счастье знать, что вся Россия, настоящая Россия, Россия простых людей и крестьян — со мной. Если бы я показала вам телеграммы и письма, которые я получаю ежедневно со всех концов империи, вы тогда увидели бы. Тем не менее, я благодарю вас за то, что вы откровенно поговорили со мной.

Бедная царица не знает, что Штюрмеру пришла в голову гениальная мысль, подхваченная и развитая Протопоповым, заставлять через „охранку" отправлять ей ежедневно десятки писем и телеграмм в таком стиле:

— „О, любезная государыня наша, мать и воспитательница нашего обожаемого царевича!... Хранительница наших традиций!... О, наша великая и благочестивая государыня!... Защити нас от злых!... Сохрани нас от врагов... Спаси Россию"...

На этих днях ее сестра, вдова великого князя Сергея, игуменья Марфо-Мариинской обители, нарочно приехала из Москвы, чтоб рассказать ей о растущем в московском обществе раздражении и обо всем, что затевается под сенью Кремля.

Она встретила со стороны императора и императрицы ледяной прием: она была так поражена этим, что спросила:

— Так я лучше бы сделала, если бы не приезжала?

— Да,—сухо ответила императрица.

— Мне лучше уехать?

— Да, с первым поездом,—резко заметил император.

Трепов, неоднократно настаивавший на своем увольнении, получил вчера „отставку“. Его преемник—князь Николай Дмитриевич Галицын принадлежит к крайним правым государственного совета. До сих пор его карьера была исключительно административной... и незаметной. Говорят, он человек серьезный и честный, но слабый и беззаботный.

Дело союзников теряет в Трепове свою самую сильную гарантию. И я боюсь, что и царская монархия тоже теряет в этом лойяльном и суровом слуге свою последнюю поддержку, свою последнюю защиту...

*Четверг, 11 января.*

Вчера великая княгиня Мария Павловна передала мне приглашение позавтракать у нее вместе с моим первым секретарем Шарлем де-Шанбрен.

В час без нескольких минут я прибыл во дворец великого князя Владимира.

Я начинаю подниматься по лестнице, когда генерал Кнорринг, состоящий при особе великой княгини, поспешно сходит ко мне навстречу и передает какое-то письмо какому-то полковнику, который быстро удаляется.

— Извините, что я не встретил вас в вестибюле. Мы переживаем такие важные моменты.

Я замечаю его землистый цвет лица, его вытянувшееся лицо.

Мы не поднялись вместе и на четыре ступеньки, как у входной двери появляется другой полковник; Кнорринг сейчас же спускается снова вниз.

Добравшись до верхней площадки, я вижу через широко открытую дверь салона великолепную декорацию Невы, Петропавловский собор, бастионы крепости, государственную тюрьму. В амбразуре окна прелестная m-elle Олив, фрейлина великой княгини, сидит, глубоко задумавшись, лицом к крепости; она не слышит моего прихода.

Я прерываю ее задумчивость:

— Mademoiselle, я только что узнал, если не ваши мысли, то, по крайней мере, направление ваших мыслей. Мне кажется, вы очень внимательно смотрите на тюрьму.

— Да, я смотрю на тюрьму. И в такое время нельзя удержаться, чтоб не смотреть на нее.

Она прибавляет со своей милой улыбкой, обращаясь к моему секретарю.

— Г-н Шанбрен, когда я буду там, напротив, на тюремной соломе, вы придете меня навестить?

В час десять минут великая княгиня, обычно такая точная, входит, наконец, со своим третьим сыном великим князем Андреем. Она бледна, похудела.

— Я опоздала,—говорит она,—но это не моя вина. Вы знаете, вы догадываетесь, какие я переживаю волнения... Мы поговорим спокойно после завтрака. А пока говорите со мной о войне. Что вы о ней думаете?

Я ей отвечаю, что, несмотря на неизвестность и затруднения настоящего момента, я сохраняю непоколебимую веру в нашу конечную победу.

— Ах, какое удовольствие доставляют мне ваши слова!

Докладывают о том, что завтрак подан. За столом нас шесть человек: великая княгиня, я, великий князь Андрей, m-elle Олив, Шанбрен и генерал Кнорринг.

Разговор сначала не вяжется. Затем мало-по-малу обиняком мы касаемся сюжета, который занимает всех нас: внутреннего кризиса, великой грозы, циклона, который начинается на горизонте.

После завтрака великая княгиня предлагает мне кресло возле своего и говорит мне:

— Теперь поговорим.

Но подходит слуга и докладывает, что прибыл великий князь Николай Михайлович, что его пригласили в соседний салон. Великая княгиня извиняется передо мной, оставляет меня с великим князем Андреем и выходит в соседнюю комнату.

В открытую дверь я узнаю великого князя Николая Михайловича: лицо его красно, глаза серьезны и пылают, корпус выпрямлен, грудь выпячивается вперед, поза воинственная.

Пять минут спустя великая княгиня вызывает сына.

Мы остаемся одни: m-lle Олив, генерал Кнорринг, Шанбрен и я.

— У нас тут настоящая драма,—говорит нам m-lle Олив.—Вы заметили, какой потрясенный вид был у великой княгини? О чем пришел говорить с ней великий князь Николай?

В два часа без десяти минут входит великая княгиня, дыхание у нее прерывается. Делая усилия, чтобы казаться спокойной, она засыпает меня расспросами о моей последней аудиенции у императора.

— Так вы не могли,— спрашивает она меня,—говорить с ним о внутреннем положении?

— Нет, он хранил упорное молчание по этому вопросу. Один момент после многих околичностей, мне казалось, что мне удастся заставить его выслушать

меня. Но он перебил меня вопросом, не получил ли я в последнее время известий о царе Фердинанде.

— Это ужасно!—сказала она, опуская руки с жестом безнадежности.

Помолчав, она продолжает:

— Что делать?.. Кроме той, от которой все зло, никто не имеет влияния на императора. Вот уже пятнадцать дней мы все силы тратили на то, чтобы попытаться доказать ему, что он губит династию, губит Россию, что его царствование, которое могло бы быть таким славным, скоро закончится катастрофой. Он ничего слушать не хочет. Это трагедия... Мы, однако, сделаем попытку коллективного обращения,—выступления императорской фамилии. Именно об этом приходил говорить со мной великий князь Николай.

— Ограничится ли дело платоническим обращением?

Мы молча смотрим друг на друга. Она догадывается, что я имею в виду драму Павла I, потому что она отвечает с жестом ужаса:

— Боже мой! Что будет?..

И она остается мгновенье безмолвной, с растерянным видом. Потом она продолжает робким голосом:

— Не правда ли, я могу в случае надобности рассчитывать на вас?

— Да.

Она отвечает торжественным тоном:

— Благодарю вас.

Нас прерывает слуга. Великая княгиня об'ясняет мне, что вся императорская фамилия собралась в соседнем салоне и ждет только ее, чтоб приступить к совещанию. В заключение она произносит следующие слова:

— Теперь просите бога, чтоб он защитил нас.

Рука, которую она мне протягивает, вся дрожит.

*Пятница, 12 января.*

Меня уверяют с разных сторон, что позавчера было совершено покушение на императрицу во время обхода госпиталя в Царском Селе и что виновник покушения—офицер—был вчера утром повешен. О мотивах и обстоятельствах этого акта—абсолютная тайна.

Все члены императорской фамилии, в том числе и вдовствующая королева греческая, собравшиеся вчера у великой княгини Марии Павловны, обратились к императору с коллективным письмом.

Это письмо, составленное в самых почтительных выражениях, указывает царю на опасность, которой подвергает Россию и династию его внутренняя политика; оно кончается мольбой о помиловании великого князя Димитрия, дабы избежать великих опасностей.

Сазонов, которому я днем сделал визит, говорит мне:

— Путь, на который вступил император, не имеет выхода. Если судить по нашим историческим прецедентам, открывается эра покушений. С точки зрения войны нам придется туго; потрясение будет сильное; но затем все пойдет хорошо... Я сохраняю непоколебимую веру в нашу конечную победу.

*Суббота, 13 января 1917 г.*

Сэр Джордж Бьюкенен был принят вчера императором.

Сообщив ему о серьезных опасениях, которые внутреннее положение России внушает королю Георгу и британскому правительству, он просил у него позволения говорить с полной откровенностью.

Этими первыми фразами они обменялись стоя. Не приглашая Бьюкенена сесть, император сухо ответил ему:

— Я вас слушаю.

Тогда голосом очень твердым и проникновенным Бьюкенен изобразил ему огромный вред, причиняемый России, а, следовательно, и ее союзникам смутой и тревогой, которые распространяются во всех классах русского общества. Он не побоялся разоблачить интриги, которые немецкие агенты поддерживают вокруг императрицы и которые лишили его расположения ее подданных; он напомнил злосчастную роль Протопопова и пр. Наконец, заявляя о своей личной преданности царю и царице, он заклинал императора не колебаться между двумя дорогами, которые открываются перед ним, из которых одна ведет к победе, а другая к самой ужасной катастрофе.

Император, чопорный и холодный, прервал молчание лишь для того, чтоб формулировать два возражения. Вот первое:

— Вы мне говорите, господин посол, что я должен заслужить доверие моего народа. Не следует ли скорее народу заслужить мое доверие?...

Вот второе:

— Вы, повидимому, думаете, что я пользуюсь чьими-то советами при выборе моих министров. Вы ошибаетесь; я один их выбираю...

После этого он положил конец аудиенции следующими простыми словами:

— Благодарю вас, господин посол!

В сущности император выражал лишь чистую теорию самодержавия, в силу которой он занимает престол. Весь вопрос в том, сколько времени он еще останется на троне в силу этой теории.

Вот буквально ответ императора на письмо, с которым императорская фамилия обратилась к нему третьего дня:

— Я не допускаю, чтоб мне давали советы. Убийство всегда убийство. Я знаю, впрочем, что у многих, подписавших это письмо, совесть не чиста.

*Воскресенье, 14 января.*

Сегодня первый день нового года по православному календарю. Император принимает в Царском Селе поздравления от дипломатического корпуса.

Жестокий холод:—38.

Лошади, впряженные в придворные экипажи, ожидающие нас перед императорским вокзалом, обледенели. И до самого Большого дворца я не различаю ничего из пейзажа,—такими непроницаемыми стали стекла от толстого слоя снега.

В тот момент, когда мы вступаем в большую залу, в которой должно было происходить торжество, церемониймейстер Е., горячий патриот, пылкий националист, который часто приходил ко мне изливать свое отвращение к Распутину и свою ненависть к германофильской партии, дрожащим голосом шепчет мне на ухо:

— Ну, что же, господин посол, не прав ли я был, повторяя месяцами, что нашу великую, святую Русь ведут к пропасти?... Неужели вы не чувствуете, что мы теперь совсем близки к катастрофе?...

Едва мы заняли наши места, как появляется император, окруженный своими генерал-ад'ютантами и высшими сановниками. Он проходит по очереди перед персоналом каждого посольства, каждой миссии. Ба-

нальный обмен пожеланий и поздравлений, улыбок и рукопожатий. Николай II держит себя, как всегда, приветливо и просто, принимая даже вид непринужденный; но бледность и худоба его лица обнаруживают истинный характер его затаенных мыслей.

В тот момент, когда он кончает свой обход, я говорю с моим итальянским коллегой, маркизом Карлотти, и мы одновременно делаем одно и то же наблюдение: во всей пышной и покрытой галунами свите, сопровождающей царя, нет ни одного лица, которое не выражало бы тревоги...

Отвозя нас обратно на императорский вокзал, наши экипажи проезжают мимо небольшой, живописной и одинокой, церкви в московском стиле. Это Федоровский собор, в нижнем этаже которого, в таинственном склепе находится любимая молельня Александры Федоровны... Уже темно. Под толстым снежным саваном смутно выделяется во мраке купол храма... Я думаю о всех экзальтированных вздохах и покаянных коленопреклонениях императрицы, свидетелями которых были стены храма. И мне кажется, будто я вижу, как призрак Распутина бродит вокруг паперти.

*Понедельник, 15 января.*

Великий князь Николай Михайлович выслан в свое имение Грушевку, Херсонской губернии, находящуюся вдали от всякого города и даже от всякого жилища.

Царский приказ об'явлен был вчера, несмотря на новогоднее торжество. Ему не было предоставлено никакой отсрочки и он уехал в тот же вечер.

При получении известия об этом, мне тотчас приходит на память один исторический прецедент. 19 ноя-

бря 1787 г. Людовик XVI выслал герцога Орлеанского в его имение Виллер-Коттрэ, чтоб наказать его за то, что он заявил в парижском парламенте, что только генеральные штаты имеют право разрешить королю дополнительные налоги. Так неужели Россия дошла до 1787 г.?—Нет!... Она зашла уже гораздо дальше.

Подвергая суровому наказанию великого князя Николая Михайловича, император хотел, очевидно, терроризировать императорскую фамилию и ему это удалось, потому что она в ужасе; но Николай Михайлович не заслужил, может быть, „ни эту чрезмерную честь, ни эту обиду". В сущности он не опасен. Решающий кризис, который переживает царизм в России, требует Ретца или Мирабо. А Николай Михайлович скорее критик и фрондер, чем заговорщик; он слишком любит салонные эпиграммы. Он не является ни в малейшей степени человеком риска и натиска.

Как бы там ни было, заговор великих князей дал осечку. Член думы Маклаков был прав, когда говорил третьего дня г-же Д., от которой я узнал об этом:

— „Великие князья не способны согласиться ни на какую программу действий. Ни один из них не осмеливается взять на себя малейшую инициативу и каждый хочет работать исключительно для себя. Они хотели бы, чтобы Дума зажгла порох... В общем итоге, они ждут от нас того, чего мы ждем от них".

*Среда, 17 января.*

Покровский имел вчера продолжительную аудиенцию у императора. Он изложил ему в энергичных выражениях невозможность для него принять на себя при настоящих обстоятельствах ответственность за внешнюю политику. Ссылаясь на все свое прошлое, на свою

лойяльность и преданность, он умолял императора не следовать дальше гибельным советам Протопопова; он даже молил его, ломая руки, открыть глаза на „неминуемую катастрофу“.

Очень кротко выслушав его, царь велел ему сохранить свои функции, уверяя его, что „положение не так трагично и что все устроится“.

Вчера вечером его величество принял своего нового председателя совета министров.

Князь Николай Голицын, безукоризненно порядочный человек, несколько раз отказывался от поста председателя совета министров, но он был ему навязан „по высочайшему повелению“. Поэтому он считал себя в праве об‘ясниться вполне откровенно с императором; он нарисовал ему самую мрачную картину состояния умов, царящего в России, в особенности в Москве и Петрограде; он не скрыл от него, что жизнь царя и царицы в опасности и что в московских полках открыто говорят об об‘явлении другого царя. Император принял эти заявления с невозмутимой беспечностью; он возразил только:

— Императрица и я знаем, что мы в руке божией. Да будет воля его!

Князь Голицын закончил мольбой императору принять его отставку. Он получил тот же ответ, что и Покровский.

В это время императрица молилась на могиле Распутина. Ежедневно в сопровождении г-жи Вырубовой, она там погружается в продолжительную молитву.

*Суббота, 20 января.*

Наследный румынский принц Кароль и председатель совета министров Братиано только-что прибыли в Петроград.

Министр иностранных дел поспешил принять Братиано. Их беседа была очень сердечна. С первых же слов Братиано об'явил Покровскому свое решение установить на прочных основаниях союз между Россией и Румынией:

— Этот союз,—сказал он, — не должен ограничиваться настоящей войной; я горячо желаю, чтоб он продлился и в будущем.

Принц Кароль и Братиано приглашены царем и царицей завтра к обеду.

*Воскресенье, 21 января.*

Император дал дружески понять своей тетке, великой княгине, что его двоюродным братьям, великим князьям Кириллу и Андрею, следовало бы в собственных интересах удалиться на несколько недель из Петрограда.

Великий князь Кирилл, морской офицер, „исходатайствовал" себе инспекторскую командировку в Архангельск и Колу; великий князь Андрей, у которого слабая грудь, поедет на Кавказ.

Сазонов назначен послом в Лондон, вместо недавно умершего графа Бенкендорфа.

*Вторник, 23 января.*

Обедал в Царском Селе у великого князя Павла.

По выходе из-за стола великий князь уводит меня в отдаленный небольшой салон, чтоб мы могли поговорить наедине. Он делится со мной своими тревогами и печалью.

— Император более, чем когда-либо, находится под влиянием императрицы. Ей удалось убедить его, что неприязненное отношение, которое распространяется

против нее и которое, к несчастью, начинает захватывать и его, только заговор великих князей и салонный бунт. Это не может кончиться иначе, как трагедией.... Вы знаете мои монархические взгляды и то, насколько священным является для меня император. Вы должны понять, как я страдаю от того, что происходит, и от того, что готовится....

По тону его слов, по его волнению, я вижу, что он в отчаянии от того, что его сын Димитрий замешан в прологе драмы. У него неожиданно вырывается:

— Не ужасно ли, что по всей империи жгут свечи перед иконой св. Димитрия и называют моего сына „освободителем России?"

Идея, что завтра его сын может быть об'явлен царем, кажется, даже не приходит ему в голову. Он остается таким, каким он всегда был: вполне лойяльным и рыцарски благородным.

Он рассказывает мне, что, узнав в Могилеве об убийстве Распутина, он сейчас вернулся с императором в Царское Село.

Прибыв на вокзал 31 декабря к концу дня, он застал на платформе принцессу Палей, которая сообщила ему, что Димитрий арестован в своем дворце в Петрограде. Он немедленно попросил аудиенцию у императора, который согласился принять его в тот же вечер в одиннадцать часов, но „только на пять минут", так как ему было очень некогда.

Введенный к своему августейшему племяннику, великий князь Павел энергично протестовал против ареста своего сына:

— Никто не имеет права арестовать великого князя без твоего формального приказа. Прикажи его освободить, прошу тебя... Неужели ты боишься, что он убежит?

Император уклонился от всякого точного ответа и прекратил разговор.

На следующий день утром великий князь Павел отправился в Петроград обнять своего сына во дворце на Невском проспекте. Там он спросил его:

— Ты убил Распутина?

— Нет.

— Ты готов поклясться пред святой иконой Богородицы и над портретом твоей матери?

— Да.

Тогда великий князь Павел протянул ему икону Богородицы и портрет покойной в. к. Александры.

— Теперь, поклянись, что не ты убил Распутина.

— Клянусь.

Рассказывая мне это, великий князь был поистине трогателен в своем благородстве, наивности и достоинстве. Он закончил следующими словами:

— Я ничего больше не знаю о драме и ничего больше не хотел знать.

На обратном пути по железной дороге в Петроград, я разговариваю с г-жей П. обо всем, что сказал мне великий князь Павел:

— Я еще больше пессимистка, чем он,—заявляет она мне с сверкающими глазами.—Трагедия, которая готовится, будет не только династическим кризисом, это будет страшная революция, и мы не уйдем от нее... Попомните сделанное мною предсказание: катастрофа близка.

Я тогда цитирую зловещее пророчество, которое ослепление Людовика XVI и Марии Антуанеты внушило Мирабо уже в сентябре 1789 г.: „Все пропало. Король и королева погибнут; чернь будет издеваться над их трупами“.

Она продолжает:

— Если-б у нас был, по крайней мере, Мирабо!

*Четверг, 25 января.*

Самые преданные слуги царизма и даже некоторые из тех, кто обычно составляет общество царя и царицы, начинают приходить в ужас от оборота, какой принимают события.

Так, я узнаю из очень верного источника, что адмирал Нилов, генерал-ад'ютант императора и один из самых преданных его приближенных, имел недавно мужество открыть ему всю опасность положения; он дошел до того, что умолял удалить императрицу, как единственное остающееся еще средство спасти империю и династию. Николай II, обожающий свою жену и рыцарски благородный, отверг эту идею с резким негодованием:

— Императрица,—сказал он,—иностранка; у нее нет никого, кроме меня, для того, чтоб защитить ее. Ни в коем случае я ее не покину... Впрочем, все, в чем ее упрекают, неверно. На ее счет распространяют гнусные клеветы; но я сумею заставить ее уважать...

Вмешательство адмирала Нилова тем более поразительно, что до последнего времени он всегда был за императрицу. Он был большим приятелем с Распутиным и очень связан со всей его шайкой; он аккуратно являлся на знаменитые обеды по средам у финансиста Мануса; на нем, значит, лежит большая доля ответственности за презрение и позор, которые пали в настоящее время на императорский двор. Но, в сущности, это хороший человек и патриот: он видит, наконец, пропасть, открывающуюся перед Россией, и пытается, слишком поздно, очистить свою совесть.

*Пятница, 26 января.*

Старый князь С., маэстро в оккультизме, имел в эти последние вечера удовлетворение вызвать дух Распутина.

Он тотчас пригласил министра внутренних дел Протопопова и министра юстиции Добровольского, которые не замедлили явиться. С тех пор все трое ежевечерно остаются часами взаперти, прислушиваясь к торжественным речам усопшего.

Какой странный человек этот старый князь С!.. Сутулый стан, лысая голова, нос крючком, землистый цвет лица, острые и угрюмые глаза, впалые щеки, медленный загробный голос, зловещий вид,—настоящий тип некроманта.

На похоронах графа Витте, два года тому назад, видели, как он в течение нескольких минут созерцал высокомерное лицо покойника—по православному обычаю гроб оставался открытым; затем слышали, как он произнес своим могильным голосом: „Мы заставим тебя придти сегодня вечером“...

*Понедельник, 29 января.*

Делегаты Франции, Англии и Италии на конференции союзников прибыли сегодня утром в Петроград. Они употребили только три дня на дорогу от Порта Романова; их поезд—первый, проехавший от одного конца до другого по Мурманской линии.

Предоставив генерала Кастельно заботам моего военного атташе, я везу Думера в Европейскую гостиницу.

Он расспрашивает меня о внутреннем положении России. Я ему описываю его, не щадя мрачных красок, и прихожу к выводу о необходимости ускорить военные операции.

— С русской стороны,—говорю я,—время больше не работает за нас. Здесь перестают интересоваться войной. Все правительственные пружины, все колеса административной машины портятся один за другим. Лучшие умы убеждены в том, что Россия идет к пропасти. Надо нам спешить.

— Я не знал, что зло пустило такие глубокие корни.

— Вы сами отдадите себе в этом отчет.

Он сообщает мне, что правительство республики хотело бы получить от императора формальное обещание вставить в мирный договор статью, предоставляющую Франции все гарантии, какие она считает нужным обеспечить себе в рейнских провинциях, чтобы застраховать себя от пробуждения в будущем немецкого милитаризма.

После интимного завтрака в посольстве, я веду Думера и генерала Кастельно в министерство иностранных дел, где должно иметь место предварительное и оффициальное заседание конференции, для установления основных принципов ее работ.

Присутствуют:

От России: г. Покровский, министр иностранных дел; великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор артиллерии; г. Войновский, министр путей сообщения; г. Барк, министр финансов; генерал Беляев, военный министр; генерал Гурко, начальник Штаба Верховного Главнокомандующего; адмирал Григорьев, морской министр; г. Сазонов, только-что назначенный послом в Лондон, и г. Нератов, товарищ министра иностранных дел;

От Англии: Лорд Мильнер, министр без портфеля; сэр Джордж Бьюкенен; лорд Ревелеток и генерал сэр Генри Вильсон;

От Италии: г. Шалойа, министр без портфеля; маркиз Карлотти и генерал граф Рудженери;

От Франции: г. Думер, министр колоний; генерал Кастельно и я.

С первых же слов становится ясно, что делегаты западных держав получили лишь неопределенные инструкции, у них нет никакого направляющего принципа для координирования усилий союзников, никакой программы коллективного действия для ускорения общей победы. После длинного обмена многословными фразами, пустоту которых каждый чувствует, скромно соглашаются заявить, что недавние конференции в Париже и в Риме определили с достаточной точностью предмет настоящего собрания. Затем принимают постановление о том, что вопросы политического порядка будут изучены первыми делегатами и послами; планы операций будут согласованы генералами; техническая комиссия рассмотрит вопросы о материале, снаряжении, транспорте и пр.; наконец, окончательные решения будут приняты конференцией в пленарном заседании.

*Вторник, 30 января.*

Император примет завтра членов конференции. А первое оффициальное заседание назначено на послезавтра.

Большой завтрак на сорок приборов в посольстве.

Время после завтрака проходит в прогулках и визитах.

Председатель румынского совета министров Братиано продлил свое пребывание в Петрограде; он примет оффициозное участие в работах конференции по всем вопросам, в которых будут затронуты интересы его страны.

В восемь часов обед-гала в министерстве иностранных дел. Князь Николай Голицын, председатель совета министров, присутствует, но в качестве лица без слов, простого статиста. Он несет с абсолютной индифферентностью, с полным равнодушием, возложенные на него тяжелые обязанности. Тем не менее, при условии, что вы не говорите с ним о политике, он отвечает вам с отменной любезностью.

*Среда, 31 января.*

В одиннадцать часов император принимает членов конференции в малом дворце Царского Села.

Этикет Двора требует, чтобы послы пользовались первенством перед своими миссиями, и порядок представления определяют поэтому по их старшинству.

Три миссии расставлены поэтому кругом в следующем порядке: английская миссия, итальянская миссия, французская миссия.

Английская миссия первая не только по привилегии старшинства Бьюкенена, но и по числу своих членов. Так, она насчитывает двух гражданских делегатов, лорда Мильнера и лорда Ревелстока, тогда как миссии итальянская и французская имеют лишь по одному гражданскому делегату: Шалойа и Думер, и та же английская миссия включает в себе шесть генералов против двух итальянских и двух французских. Тем не менее, с точки зрения военной, Кастельно, несомненно, доставляет нам первенство морального и технического авторитета: блестящие услуги, оказанные им в эту войну, славная смерть его трех сыновей, христианский стоицизм его смирения, благородство его характера, его смелое сердце окружают его чело неким ореолом...

Бьюкенен и Карлотти последовательно представляют свои делегации. Я лишний раз замечаю, что император едва обменивается несколькими словами с первыми в ряду, но охотно затягивает свои разговоры со своими собеседниками более скромного ранга.

В свою очередь я представляю ему Думера и слышу из его уст неизбежные вопросы:

— Вы хорошо доехали?... Вы не слишком устали?... Вы первый раз в России?...

Затем несколько незначительных фраз о союзе, войне, победе. Думер, который может только нравиться Николаю II своей откровенностью и сердечной простотой, делает тщетные усилия поднять тон диалога.

С генералом Кастельно император не менее бесцветен; он как будто даже и не подозревает выдающейся роли, которую он играл во Франции, не находит нужным сказать ему ни одного слова о его трех сыновьях, павших на поле брани.

После нескольких приветливых слов младшим чиновникам и офицерам, входящим в состав французской миссии, Николай II уходит. И аудиенция кончена.

На обратном пути в Петроград я наблюдаю у лорда Мильнера, у Шалойа, у Думера одно и то же разочарование от всей этой церемонии.

Внутренно я думаю о том эффекте, который извлек бы из таких обстоятельств монарх, увлеченный своим делом, напр., Фердинанд Болгарский. Я представляю себе всю игру вопросов и инсинуаций, намеков и претензий, излияний и лести, которой предался бы он. Но царь, как я уже часто замечал это, не любит на деле своей власти. Если он ревниво защищает свои самодержавные прерогативы, то это исключительно по причинам мистическим. Он никогда не забывает, что

получил власть от самого бога и постоянно думает об отчете, который он должен будет отдать в долине Иосафата. Эта концепция его державной роли совершенно противоположна той, которую внушило Наполеону знаменитое обращение Редерера:

„Я люблю власть; но я ее люблю, как художник; я люблю ее, как музыкант любит свою скрипку, чтоб извлекать из нее звуки, аккорды, гармонии"...

Добросовестность, человечность, кротость, честь,— таковы, кажется мне, выдающиеся достоинства Николая II, но ему не хватает божественной искры.

*Четверг, 1 февраля.*

Я пригласил на завтрак Коковцева, Трепова, генерала Гурко, Думера и генерала Кастельно.

Оживленный и задушевный разговор. На сей случай Коковцев спрятал поглубже свой слишком законный пессимизм. Трепов говорит откровенно об опасностях внутреннего кризиса, который переживает Россия; но в его словах, а еще больше, может быть, в его личности такая сила энергии и повелительности, что зло кажется легко поправимым. Генерал Гурко выказывает себя еще более стремительным, чем обыкновенно. Я чувствую, что вокруг меня реет живительная атмосфера, принесенная Думером и Кастельно из Франции.

В три часа заседание конференции в Мариинском дворце; мы заседаем в большом круглом зале, выходящем окнами на Исаакиевскую площадь.

Покровский председательствует; но его неопытность в дипломатических делах, его кротость, его скромность мешают ему вести совещание, которое несется по течению. Говорят о Греции, Японии, Сербии, Америке,

Румынии, скандинавских странах и пр. Все это без последовательности, без руководящей идеи, без практического вывода. Несколько раз лорд Мильнер, с которым я сижу рядом, нетерпеливо шепчет мне на ухо:

— We are wasting time! Мы теряем наше время.

Но вот председатель дает слово начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего.

Своим звонким и прерывающимся голосом генерал Гурко читает нам ряд вопросов, которые он хочет предложить конференции в области военных операций.

Первый вопрос приводит нас в изумление, так как он формулирован в следующих выражениях: „Должны ли будут кампании 1917 года иметь решительный характер? Или не следует ли отказаться добиться окончательных результатов в течение этого года?"

Все делегаты, французские, английские и итальянские, энергично настаивают на том, чтоб были начаты сильные и согласованные наступления на различных фронтах в возможно кратчайший срок.

Но генерал Гурко дает нам понять, что русская армия не в состоянии будет начать большое наступление до того, как будет подкреплена шестьюдесятью новыми дивизиями, сформирование которых было недавно решено. А для того, чтоб эти дивизии составить, обучить и снабдить всем необходимым материалом, понадобятся долгие месяцы, может быть, год. До тех пор русская армия в состоянии будет начать лишь второстепенные операции, которых, однако, достаточно будет для того, чтоб удержать врага на восточном фронте.

Вопрос слишком серьезен, чтобы конференция пожелала высказаться без мотивированного мнения генералов.

Другие вопросы, которые прочитывает нам генерал Гурко, являются лишь следствием первого или имеют отношение к задачам технического характера. Поэтому весь список вопросов передается на рассмотрение в военную комиссию.

*Суббота, 3 февраля.*

Император принял сегодня в особой аудиенции первых делегатов конференции. Думер энергично высказался за необходимость ускорения общего наступления. Император ответил:

— Я вполне с вами согласен.

Я предпочел бы согласие менее абсолютное, более оттененное, умеренное даже несколькими возражениями.

Думер затронул затем вопрос о левом береге Рейна. Он основательно развил все стороны: политическую, военную, экономическую этого важного вопроса, который царит, так сказать, в нашей национальной истории, потому что он ставился между Францией и Германией уже в эпоху Лотара, и над знаменитым „договором о дележе“, подписанным в Вердене в ~~1843 г.~~ 843 году, нам полезно подумать еще и теперь.

После внимательного рассмотрения Николай II признал законность гарантий, которых мы требуем, и обещал содействовать тому, чтоб они были включены в мирный договор.

Думер заявил затем, что союзники должны были бы сговориться на счет того, чтоб не признавать за Гогенцоллернами права говорить от имени Германии, когда наступит время для переговоров. Эта идея, которую император давно лелеял и о которой он несколько раз говорил со мной, и он обещал Думеру поручить рас-

смотреть вопрос с точек зрения исторической и юридической своему министру иностранных дел.

Далее обменялись несколькими словами о будущем союзе, о братских чувствах, соединяющих с этих пор и навсегда Францию и Россию, и пр. После этого аудиенция кончилась.

В восемь часов парадный обед в Александровском дворце. По правде сказать, торжественность выражается только в ливреях, освещении и серебре; меню отличается крайней простотой, совершенно буржуазной простотой, которая составляет контраст всегдашней роскоши императорской кухни, но к которой принуждают моральные обязательства во время войны.

У царя лицо, какое бывает у него в хорошие дни: он боялся, говорят мне, как бы делегаты не заставили его выслушать какой-нибудь неприятный совет на счет внутренней политики; теперь он спокоен. Царица больна и осталась в своих апартаментах.

За столом император сидит между Бьюкененом направо и Карлотти налево. Граф Фредерикс, министр Двора, занимает место напротив его величества; я сижу направо от него, а направо от меня князь Николай Голицын, председатель совета министров.

Старый и славный граф Фредерикс, очень утомленный летами, рассказывает мне, как он страдает от нападок прессы и салонных эпиграмм, которые представляют его немцем:

— Во-первых,—говорит он мне,—моя семья не немецкого происхождения, а шведского; кроме того, она более столетия, с царствования Екатерины Великой, находится на русской службе.

Точнее будет сказать, что его семья родом из шведской Померании и дала длинный ряд покорных слуг

русского самодержавия. Он, следовательно, прекрасно представляет ту касту „балтийских баронов“, которые с царствования Анны Иоанновны управляют Россией, все очень преданные лично царям, но имеющие мало общего с русской душой и почти все имеющие родственников на военной или гражданской службе в Германии. Привязанность к династии Романовых у них не только традиция и семейная добродетель: это смысл их существования.

Поэтому меня не удивляет наивное заявление, сделанное мне за десертом графом Фредериксем:

— Конференция должна была бы придти к соглашению на счет того, чтобы после войны союзники взаимно оказывали друг другу помощь в случае внутренних беспорядков. Мы все заинтересованы в том, чтоб бороться с революцией.

Он не ушел дальше священного союза; он отстал лишь всего на одно столетие: O, sancta et senilis simplicitas!

Наконец, обед кончается. Переходят в смежный салон, где подано кофе.

Император закуривает папиросу и переходит от одной группы к другой. Лорд Мильнер, Шалойа, Думер, генерал Кастельно, лорд Ревелсток, генерал Руджиери, генерал Вильсон, трое послов, по очереди удостаиваются нескольких любезных слов, но больше ничего, так как он долго не остается ни с кем.

Пока развертываются эти поверхностные разговоры, императрица по очереди принимает в своем аппартаменте первых делегатов. Она была очень любезна с Думером и сказала ему в заключение: „Пруссия должна быть наказана“.

Несколько раньше десяти часов Николай II возвращается на середину салона, затем делает знак ми-

нистру Двора и самой любезной своей улыбкой прощается с присутствующими.

*Понедельник, 5 февраля.*

У меня завтракают: Думер, председатель Думы Родзянко, председатель румынского совета министров Братиано, несколько членов Государственного Совета, в том числе граф Алексей Бобринский и Михаил Стахович, финансист Путилов и пр.

Кроме Путилова, который замкнулся в красноречивом молчании, все мои русские гости обнаруживают оптимизм, от которого они были очень далеки всего несколько дней тому назад. Впрочем, со времени прибытия иностранных делегатов, то же оптимистическое течение циркулирует в петроградском обществе. Но, увы, как только они уедут, барометр опять опустится до самой низшей точки. Ни один народ не поддается так легко влиянию и внушению, как народ русский.

Братиано сносит с замечательной твердостью души несчастье своей родины и бремя своей личной ответственности. Несчастье делает его великим.

Сегодня вечером большой обед на сто пятнадцать приборов в Военном клубе. Чтобы заседать на дипломатической конференции, первое условие—иметь хороший желудок. Уходя, я повторяю лорду Мильнеру его фразу, сказанную им на днях:

— We are wasting time! Мы теряем свое время.

*Среда, 7 февраля.*

Работы конференции проходят неинтересно. Из всего этого дипломатического словоизвержения не получается никакого положительного результата. Например, ищут формул, чтоб побудить Японию увеличить свою помощь,

Одна только техническая комиссия по снаряжению и транспорту делает полезную работу. Но потребности русского генерального штаба превосходят все предвидения, а его требования еще превосходят его потребности. Вопрос, по-моему, не столько в том, чего России недостает, сколько в том, чтоб проверить, что она способна утилизировать. Зачем ей посылать пушки, пулеметы, снаряды, аэропланы, которые нам так нужны, если у нее нет ни возможности доставить их на фронт, ни воли воспользоваться ими?

Между генералом Кастельно и генералом Гурко полное доверие. Генерал Кастельно настаивает на том, чтоб русское наступление началось к 15 апреля, чтобы совпасть с французским наступлением; но генерал Гурко считает невозможным начать операцию в значительном масштабе раньше 15 мая...

*Четверг, 8 февраля.*

Я пытаюсь доставить Думеру возможно полный обзор русского общества, знакомя его с самыми характерными представителями его. Сегодня утром я собираю вокруг него за моим столом: генерала Поливанова и великого математика Васильева, либеральных членов Государственного Совета, а также Милюкова, Маклакова и Шингарева, лидеров кадетской партии в Думе.

Разговор, очень свободный и оживленный, касается главным образом внутренней политики.

Одно мгновение Думер, считая, что мои гости слишком возбуждены, слишком уже рвутся начать бой с царизмом, проповедует им терпение.

При одном слове „терпение", Милюков и Маклаков вскакивают, как ужаленные:

— Довольно терпения!... Мы истощили все свое терпение... Впрочем, если мы не перейдем скоро к действиям, массы перестанут нас слушать.

И Маклаков вспоминает слова Мирабо: „Берегитесь просить отсрочки. Несчастье никогда ее не ждет“.

Думер очень благоразумно продолжает:

— Я говорил о терпении, а не о покорности... Я понимаю ваши тревоги, вашу досаду и крайнюю, затруднительность вашего положения. Но прежде всего думайте о войне!

Я замечаю, что Маклаков, уроженец Москвы, депутат Москвы, тип истого москвича, не говорит никогда Петроград, а Петербург, и я спрашиваю его, почему.

— Потому, что его настоящее имя Петербург; это— немецкий город, который не имеет права называться славянским именем. Я буду называть его Петроградом, когда он это заслужит...

*Пятница, 9 февраля.*

Князь О. прибыл из Костромы, где у него крупные дела в области сельского хозяйства и мануфактурного производства. Старый город Кострома, который высится на левом берегу Волги между Ярославлем и Нижним-Новгородом, богат воспоминаниями: он когда-то служил убежищем и цитаделью для Романовых; в нем хранится в знаменитом Ипатьевском монастыре прах героического крестьянина Сусанина, легенда о котором прославлена „Жизнью за царя“. Это—одна из тех губерний империи, где династический лойялизм наиболее живуч, где сохраняются в наибольшей неприкосновенности наследственные наклонности, общественные привычки и национальные чувства русского народа. Мне

поэтому интересно знать настроение умов в этом районе. К тому же мне лучше всего обратиться к князю О., потому что он отличается уменьем разговаривать с мужиками. На мои вопросы он отвечает:

— Плохо... Устали от войны; ничего больше в ней не понимают, кроме того, что победа невозможна. Однако, еще не требуют мира. Я чувствовал всюду унылое и покорное недовольство... Убийство Распутина произвело сильное впечатление на массы.

— А! А какого рода впечатление?

— Это очень интересное явление и характерное для русской традиции. Для мужиков Распутин стал мучеником. Он был из народа; он доводил до царя голос народа; он защищал народ против придворных: и вот придворные его убили. Вот что повторяется во всех избах.

— Но в Петрограде народ был в восторге, узнав о смерти Гришки. Бросились даже в церкви возжигать свечи перед иконой св. Димитрия, потому что тогда думали, что великий князь Димитрий убил „собаку".

— В Петрограде слишком хорошо знали об оргиях Распутина. И потом, радуясь его смерти, они в некотором роде манифестировали против императора и императрицы. Но я представляю себе, что, в общем, все русские мужики думают, как костромские...

*Суббота, 10 февраля.*

Братиано сегодня вечером покинул Петроград, чтобы вернуться прямо в Яссы.

Когда он пришел проститься со мной, я нашел его в душевном состоянии, которое делает ему честь, т.-е.

спокойным, грустным и решительным. Ни одной напрасной жалобы; никакой попытки личной защиты. Он видит и судит положение с совершенной об'ективностью; он, впрочем, заявил, что он очень доволен разнообразными беседами, которые он имел с министрами императора и членами междусоюзной конференции. Но в особенности он рад был внимательному и сердечному доверию, которое выказал ему генерал Гурко: он слишком умен, чтоб не заметить, что вся политика России по отношению к Румынии находится отныне в прямой зависимости от военного верховного командования и он очень ловко подружился с начальником штаба. У меня, однако, не остается впечатления, чтобы во время своих переговоров с генералом Гурко он успел добиться практического результата по двум вопросам, встающим в настоящее время во всей их величайшей неотложности: 1) о снабжении продовольствием гражданского населения Молдавии; 2) о возобновлении операций в северных Карпатах и в районе Дуная.

Меня уверяют, что во время своего пребывания в Петрограде Братиано запросил императора о его возможном согласии на брак великой княгини Ольги с принцем Каролем, вероятным наследником. Проект этого брака выдвигался уже несколько раз. Ответ императора был довольно благосклонен: „Я не буду возражать против этого брака, если моя дочь и принц Кароль понравятся друг другу".

*Понедельник, 12 февраля.*

Пользуясь тем, что генералы уехали осмотреть галицийский фронт, гражданские делегаты конференции осматривали Москву.

*Вторник, 13 февраля.*

Одиннадцать рабочих, входящих в состав центрального комитета военной промышленности, арестованы по обвинению в том, что они „подготовляли революционное движение, имеющее целью об'явление республики“.

Аресты этого рода нередки в России; но обычно публика о них ничего не знает. После тайной процедуры обвиняемые заключаются в государственную тюрьму или ссылаются вглубь Сибири; ни одна газета об этом не говорит; часто даже семья не знает, что сталось с исчезнувшими. И молчание, обычно окружающее эти короткие расправы, много содействовало установлению трагической репутации „охранки“. На этот раз отказались от тайны. Сенсационное сообщение возвестило прессе арест одиннадцати рабочих. Протопопов хотел таким путем доказать, что он занят спасением царизма и общества.

*Суббота, 17 февраля.*

Генерал Бертело, глава французской военной миссии в Румынии, только-что прибыл в Петроград для совещания с генералом Кастельно и генералом Гурко.

Вот уже четыре месяца, как генерал Бертело фактически руководит операциями и реорганизацией румынской армии. При самых неблагоприятных, самых отчаянных условиях он всем внушал уважение своей рассудительной и методической активностью, своим холодным умом, своей неизменной и заразительной уверенностью, своей упорной и спокойной энергией. Когда Румыния оправится от своего настоящего испытания, он окажется одним из лучших работников по ее восстановлению...

*Вторник, 20 февраля.*

У меня завтракают в строго интимном кругу Думер и генерал Кастельно. Так как они—тонкие лакомки и их происхождение связывает одного с Лангедоком, другого с Гасконью, я их угощаю буйабессом по-фокайски, кассулетом по-тулузски, сальми из рябчиков по-провансальски, белыми грибами по-бордоски, все это орошенное шато икемом и мутон-д'армайак.

Мы вспоминаем период, предшествовавший войне. Думер, бывший в то время председателем совета министров и министром иностранных дел, один из первых, кто увидел, кто согласился увидеть угрожавшую действительность.

После завтрака я расспрашиваю генерала Кастельно о впечатлениях, какие он вынес с фронта и о ценности содействия, какого мы можем ждать от России.

— Дух войск,—говорит он,—показался мне превосходным; люди сильны, хорошо вытренированы, полны мужества, с прекрасными светлыми и кроткими глазами... но высшее командование плохо организовано, вооружение совершенно недостаточное, служба транспорта желает многого. И что может быть еще важнее, так это—слабость технического обучения. Недостаточно освободились от устаревших метод; русская армия отстала больше чем на год от наших западных армий; она отныне неспособна провести наступление в большом масштабе...

*Среда, 21 февраля.*

После бесконечной серии завтраков, обедов, приемов в посольстве, в министерстве финансов, в русско-французской Торговой Палате, в квартире председателя совета министров, в городской думе, у великой княгини

Марии Павловны, в яхт-клубе и проч. иностранные делегаты отправляются, наконец, обратно на Запад... через арктический Ледовитый океан.

Результат этой конференции, вокруг которой было одновременно столько таинственности и столько шума, скудный. Обменялись мнениями о блокаде Греции, о недостаточности японской помощи, о вероятной ценности американского вмешательства, о критическом положении Румынии, о необходимости более тесного и более действительного соглашения между союзниками; измерили огромные потребности русской армии в области материальной и сговорились по возможности удовлетворить их. Вот и все.

Когда Думер и генерал Кастельно пришли проститься со мной, я дал им поручение.

— Благоволите передать от моего имени г. президенту республики и г. председателю совета министров, что вы меня оставляете в большой тревоге. В России готовится революционный кризис; он чуть было не разразился пять недель тому назад; он только отложен. С каждым днем русский народ все больше утрачивает интерес к войне, и анархистский дух распространяется во всех классах, даже в армии. Приблизительно в конце октября в Петрограде произошел очень показательный инцидент, о котором я осведомил г. Бриана. На Выборгской стороне вспыхнула стачка, и полиция была сильно потрепана рабочими; вызвали два пехотных полка, расквартированных по соседству. Эти два полка стреляли в полицию. Пришлось поспешно вызвать дивизию казаков, чтобы образумить мятежников. Следовательно, в случае восстания нельзя рассчитывать на армию... Мой вывод, что время больше не работает за нас, по крайней мере, в России, что

мы должны уже теперь предвидеть банкротство нашей союзницы и сделать из этого все необходимые выводы.

— Я не менее вас пессимистичен,—отвечает мне Думер,—я не только передам все ваши слова г. президенту республики и г. Бриану, но я их подтвержу.

*Пятница, 23 февраля.*

Едва иностранные делегаты покинули Петроград, как горизонт на Неве снова омрачился.

Государственная Дума должна возобновить свои занятия в ближайший вторник, 27 февраля, и это вызывает возбуждение в промышленных районах. Сегодня агитаторы обошли Путиловские заводы, балтийские верфи и Выборгскую сторону, проповедуя всеобщую забастовку для протеста против правительства, против голода, против войны.

Волнение настолько сильно, что военный губернатор столицы велел расклеить афиши, воспрещающие скопища и извещающие население, что „всякое сопротивление власти будет немедленно подавлено силой оружия“.

Сегодня вечером я даю обед великой княгине Марии Павловне и ее сыну, великому князю Борису. Другие мои гости: Сазонов, бывший посол в Вене Шебеко, княгиня Мария Трубецкая, княгиня Белосельская, князь Михаил Горчаков с супругой, супруга князя Станислава Радзивила, г. и г-жа Половцовы, граф Александр Шувалов с супругой, граф Иосиф Потоцкий с супругою, г-жа Вера Нарышкина, граф Адам Замайский и мой персонал.

Великая княгиня занимает за столом председательское место. Я сижу налево от нее, а Сазонов направо;

напротив нее великий князь, а направо от него жена моего секретаря, виконтесса дю-Альгуэ, которая заменяет хозяйку дома, а налево от нее княгиня Мария Трубецкая.

За обедом мой разговор с великой княгиней носит совершенно поверхностный характер и слова, которыми она обменивается с Сазоновым, такого же рода.

Но, вернувшись в салон, она просит меня сесть возле нее, и мы говорим более интимно. С очень убитым видом она об'являет мне, что должна послезавтра ехать в Кисловодск, на северном склоне Кавказа:

— Мне очень нужны солнце и покой—говорит она мне.—Волнения последнего времени истощили меня. И я уеду с сердцем, полным страха... Что успеет произойти до тех пор, пока я снова увижу вас? Так продолжаться не может!

— Дела идут не лучше?

— Нет. И как им идти лучше? Императрица вполне овладела императором, а она советуется только с Протопоповым, который каждую ночь спрашивает совета у духа Распутина... Я не могу вам сказать, до какой степени я упала духом. Со всех сторон я все вижу в черном свете. Я жду наихудших несчастий... Но бог не может хотеть, чтоб Россия погибла.

— Бог поддерживает лишь тех, кто борется, и я никогда не слыхал, чтоб он помешал самоубийству. А ведь то, что сейчас делает император, это настоящее самоубийство для него самого, для его династии и для его народа.

— Но что же делать?

— Бороться! Недавнее вмешательство великих князей не удалось: надо его возобновить на более широких основаниях и, разрешите мне прибавить, в более серьез-

ном, менее фрондирующем, более политическом духе... В Государственном Совете и в Думе есть, как направо, так и налево, превосходные элементы для организации сопротивления злоупотреблениям самодержавия. Если бы все благоразумные люди и патриоты, заседающие в этих двух собраниях, об'единились для общего дела общественного спасения; если бы они умеренно, последовательно и твердо взялись доказать императору, что он ведет Россию к пропасти; если бы императорская фамилия сговорилась, чтоб заговорить таким же языком, старательно избегая всякой тени тайны и заговора; если бы удалось создать таким образом в высших сферах государства единодушную волю к национальному возрождению,—я думаю, что Протопопов, Добровольский и вся камарилья императрицы скоро пали бы... Но надо спешить! Опасность близка; важен каждый час. Если спасение не придет сверху, революция произойдет снизу. А тогда это будет катастрофа!

Она отвечает мне только безнадежным жестом. Затем, вспомнив о своей придворной роли, где она занимает первое место, она приглашает несколько дам подойти к ней...

*Понедельник, 26 февраля.*

Продовольственное положение в Молдавии с каждым днем ухудшается: румынская армия получает рацион ниже нормы, а гражданское население умирает от голода.

По мнению генерала Бертело, единственным выходом было бы наступление к северу от Добруджи, которое освободило бы рукав Дуная и открыло бы таким образом путь для доставки продовольствия. Но генерал

Гурко отказывается предпринять это наступление, которое кажется ему чрезвычайно опасным и которое к тому же не согласуется с его стратегическими планами.

Румынское правительство, должно быть, понимает теперь, какую огромную ошибку оно сделало, об'явив войну немецким державам и не урегулировав во всех подробностях вопрос о содействии, на которое оно могло рассчитывать со стороны русских. Не надо было ждать до 17 августа 1916 г., чтобы наспех заключить военную конвенцию; генеральным штабам русскому и румынскому следовало еще в январе 1915 года сговориться о практических условиях возможного союза; они тотчас констатировали бы, что железнодорожное сообщение между обеими странами оказывается недостаточным для военного транзита и что надо было бы, по крайней мере, утроить число путей; тогда секретно подготовили бы эту работу, собрали бы материал, скомбинировали бы весь технический механизм и всю административную организацию, которые необходимы для осуществления обширной программы перевозок.

Наконец, к стольким неосторожностям и ошибкам не следовало прибавлять внезапного, непоправимого непризнания конвенции Рудеану.

Я коснулся несколько дней тому назад этого деликатного вопроса в разговоре с Братиано. Вот резюме его тезиса, который история оценит, когда у нее в руках будут все документы:

„Военная конвенция, которую полковник Рудеану подписал в Шантийли 23 июля с. г., была лишь проектом, представленным на утверждение румынского правительства. Главные решительные переговоры продолжались в Бухаресте между генералами Илиеско и пол-

ковником Татариновым. А ни тот, ни другой никогда не имели в виду плана русско-румынского вторжения на юг от Дуная, как постановлено было в Шантийли. Впрочем, разве этот план не был очень опасен? Забравшись на болгарскую территорию, румынская армия оказалась бы в самом критическом положении, если бы немцы, успев форсировать Карпаты, отрезали бы ей отступление по Дунаю... Что касается тайных переговоров между Бухарестом и Софией, то верно, что Радославов делал Братиано косвенные заявления, предлагая нейтралитет Болгарии. Но эти предложения, в которых легко было распознать обычное коварство царя Фердинанда, едва заняли внимание румынского кабинета, и лично Братиано никогда не верил, что Болгария останется нейтральной".

*Среда, 28 февраля.*

На какую ни стать точку зрения—политическую, умственную, нравственную, религиозную—русский представляет всегда парадоксальное явление чрезмерной покорности, соединенной с сильнейшим духом возмущения.

Мужик известен своим терпением и фатализмом, своим добродушием и пассивностью, он иногда поразительно прекрасен в своей кротости и покорности. Но вот он вдруг переходит к протесту и бунту. И тотчас его неистовство доводит его до ужасных преступлений и жестокой мести, до пароксизма преступности и дикости.

Такой же контраст в области религиозной. Изучая историю и теологию русской православной церкви, „истинной церкви Христовой", приходится признать характерными ее чертами: консервативный дух, незыблемую неподвижность догмы, уважение к канонам,

большое значение формул и обрядов, рутинную набожность, пышный церемониал, внушительную иерархию, смиренную и слепую покорность верующих. Но наряду с этим мы видим в большой секте раскольников, отделившейся от официальной церкви в XVII веке и насчитывающей не меньше одиннадцати миллионов последователей, упразднение священства, суровый упрощенный культ, отрицательный и разрушительный радикализм. Бесчисленные секты, в свою очередь, отделившиеся от раскола — хлысты, духоборы, странники, поморцы, душители, молокане, скопцы—идут еще гораздо дальше. Тут безграничный индувидуализм: никакой организации, никакой дисциплины; разнузданный разврат; все фантазии и все заблуждения религиозного чувства, абсолютная анархия.

В области личной морали, личного поведения равным образом проявляется эта двойственная натура русского. Я не знаю ни одной страны, где общественный договор больше пропитан традиционным и религиозным духом; где семейная жизнь серьезнее, патриархальнее, более наполнена нежностью и привязанностью, более окружена интимной поэзией и уважением; где семейные обязанности и тяготы принимаются легче; где с большим терпением переносят стеснения, лишения, неприятности и мелочи повседневной жизни. Зато ни в одной другой стране индивидуальные возмущения не бывают так часты, не разражаются так внезапно и так шумно. В этом отношении хроника романических преступлений и светских скандалов изобилует поразительными примерами.

Нет излишества, на которые не были бы способны русский мужчина или русская женщина, лишь только они решили „утвердить свою свободную личность“.

*Пятница, 2 марта.*

Удар кнута, которым была конференция союзников для русской администрации или, по крайней мере, для петроградских канцелярий, уже больше не дает себя чувствовать.

Администрация артиллерийского ведомства, заводов, продовольствия, транспорта и пр. опять вернулась к своему нерадению и беспечности. Нашим офицерам и инженерам противопоставляют те же уклончивые ответы, ту же силу инерции и нерадивости, что и прежде. Можно отчаяться во всем. О, как я понимаю посох Ивана Грозного и дубинку Петра Великого!

*Суббота, 3 марта.*

Мне только-что передали длинный разговор, который вела недавно императрица с вятским епископом, преосвященным Феофаном. Этот духовный сановник— креатура Распутина; но язык, которым он говорил с императрицей, свидетельствует о его свободном и серьезном уме.

Царица сначала расспрашивала его об отношении его пасомых к войне. Преосвященный Феофан ответил, что в его епископии, простирающейся на восток от Урала, патриотизм не очень пострадал: конечно, страдали от столь долгого испытания, вздыхали, критиковали, однако, готовы были вынести еще много похорон, много лишений, чтобы добиться победы. В этом отношении епископ мог успокоить императрицу... Но у него были с других точек зрения важные причины для печали и тревоги: он каждый день констатировал ужасающие успехи деморализации народа. Солдаты, прибывающие из армии, больные, раненые, отпускные, про-

поведуют гнусные идеи; они прикидываются неверующими атеистами; они доходят до богохульства и святотатства; видно сейчас, что они знались с интеллигентами и евреями... Кинематографы, которые теперь можно видеть в любом местечке, тоже являются причиной нравственного разложения. Эти мелодраматические приключения, сцены похищения, воровства, убийства слишком опьяняют простые души мужиков; их воображение воспламеняется; они теряют рассудок. Епископ этим об'яснял небывалое число сенсанционных преступлений, зарегистрированных за последние несколько месяцев не только в Вятской епископии, но и в соседних епископиях: в Екатеринбурге, Тобольске, Перми и Самаре. В подтверждение своих слов он показал императрице фотографии разгромленных магазинов, разграбленных домов, трупов изувеченных, с явно ненормальной дерзостью и преступностью... Он, наконец, указал на совсем недавно появившийся порок, о котором русские массы не имели даже никакого представления до последнего времени и который представляет для них гнусную привлекательность: морфий. Зло вышло из всех этих военных госпиталей, покрывающих страну. Многие врачи и аптекари приобрели привычку впрыскивать себе морфий; через них употребление этого лекарства распространилось среди офицеров, чиновников, инженеров, студентов. Вскоре и больничные служители последовали этому примеру. Это было гораздо опаснее, потому что они начали морфий продавать; все знали в Вятке кабаки, в которых производилась торговля морфием. У полиции были основательные причины для того, чтобы закрывать на это глаза...

Преосвященный Феофан заключил так:

— Средства от подобного зла надо, казалось бы, искать в энергичном влиянии духовенства. Но я, к при-

скорбию, должен признаться вашему величеству, что всеобщая деморализация не пощадила наших священников, в особенности, сельских. Среди них есть настоящие святые, но большинство опустилось и испортилось. Они не имеют никакого влияния на своих прихожан. Все религиозное воспитание народа надо начать сначала. А для этого надо прежде всего вернуть духовенству его нравственный авторитет. Первое условие—упразднить торговлю таинствами. Священник должен был бы получать от государства жалованье, которого ему хватало бы на жизнь. Тогда можно было бы запретить ему брать какие бы то ни было деньги, кроме данных добровольно на церковь или на бедных. Нужда, до которой доведен в настоящее время священник, принуждает его на позорное торгашество, которое лишает его всякого престижа, всякого достоинства. Я предвижу великие несчастья для нашей святой церкви, если ее верховный покровитель, наш обожаемый благочестивый государь скоро не реформирует ее...

В устах епископа-распутинца такая речь является знаменательным предсказанием.

Я знаю, с другой стороны, что два духовных сановника, никогда не соглашавшихся мириться с Распутиным, из числа наиболее уважаемых представителей русского епископата: преосвященный Владимир, архиепископ Пензенский, и преосвященный Андрей, епископ Уфимский, высказываются в таких же выражениях, как и преосвященный Феофан.

*Вторник, 6 марта.*

Петроград терпит недостаток в хлебе и дровах, народ страдает.

Сегодня утром у булочной на Литейном я был поражен злым выражением, которое я читал на лицах всех бедных людей, стоявших в хвосте, из которых большинство провело там всю ночь.

Покровский, с которым я говорил об этом, не скрыл от меня своего беспокойства. Но что делать? Железнодорожный кризис, действительно, ухудшился. Сильные морозы, которые держатся во всей России (—43°), вывели из строя, — вследствие того, что полопались трубы паровиков,—более тысячи двухсот локомотивов, а запасных труб, вследствие забастовок, не хватает. Кроме того, в последние недели выпал исключительно обильный снег, а в деревнях нет рабочих для очистки путей. В результате—5700 вагонов в настоящее время застряли.

*Четверг, 8 марта.*

Весь день Петроград волновался. По главным улицам проходили народные шествия. В нескольких местах толпа кричала: „хлеба и мира". В других местах она запевала „Рабочую Марсельезу". Произошло несколько стычек на Невском проспекте.

Сегодня вечером у меня обедал Трепов, граф Толстой, директор Эрмитажа, мой испанский коллега, маркиз Вилласинда и около двадцати моих обычных гостей.

Уличные инциденты бросают тень озабоченности на лица и разговоры. Я расспрашиваю Трепова о мерах, которые правительство намеревается принять для снабжения Петрограда продовольствием и без которых положение рискует скоро ухудшиться. В его ответах нет ничего успокоительного.

Когда я вернулся к моим гостям, я не нашел больше следа беспокойства ни на их лицах, ни в их разговорах.

Говорят больше всего о вечере, который супруга князя Леона Радзивилла устраивает в воскресенье, который будет многолюден, блестящ и где, надеются, будут музыка и танцы.

Трепов и я посмотрели друг на друга. Одна и та же фраза приходит на уста:

— Странный момент выбрали для устройства празднества!

В группе обмениваются мнениями о танцовщицах Мариинского театра, о пальме первенства таланта, которую следует отдать Павловой, Кшесинской, Карсавиной и пр.

Несмотря на то, что в воздухе столицы чувствуется восстание, император, проведший только-что два месяца в Царском Селе, выехал сегодня вечером в Ставку.

*Пятница, 9 марта.*

Волнения в промышленных районах приняли сегодня утром резкую форму. Много булочных было разгромлено на Выборгской стороне и на Васильевском острове. В нескольких местах казаки аттаковали толпу и убили несколько рабочих.

Покровский сообщает мне о своей тревоге:

— Я придавал бы этим беспорядкам лишь второстепенное значение, если бы у моего дорогого коллеги по внутренним делам был еще хоть проблеск рассудка. Но чего ждать от человека, который вот уже много недель потерял всякое чувство действительности и который ежевечерне совещается с тенью Распутина? Еще в эту ночь он провел два часа в вызывании призрака „старца“.

## VIII. Революция.

*Суббота, 10 марта.*

Тревожный вопрос о продовольствии рассматривался сегодня ночью в „экстренном заседании“ совета министров, на котором были все министры, кроме министра внутренних дел, председатель Государственного Совета, председатель Думы и петроградский городской голова. Протопопов не соблаговолил принять участие в этом совещании; он, без сомнения, советовался с призраком Распутина.

Множество жандармов, казаков и солдат по всему городу. Приблизительно до четырех часов пополудни манифестации не вызвали никакого беспорядка. Но скоро публика начала приходить в возбуждение. Пели Марсельезу, носили красные знамена, на которых было написано: „Долой правительство.... Долой Протопопова.... Долой войну.... Долой немку“.... Немного позднее пяти часов на Невском произошли одна за другой несколько стычек. Были убиты три манифестанта и трое полицейских чиновников; насчитывают до сотни раненых.

Вечером спокойствие восстановлено. Я пользуюсь этим, чтоб пойти с женой моего секретаря, виконтессой дю-Альгуэ, послушать немного музыку в концерте Зилоти. По дороге мы поминутно встречаем патрули казаков.

Зал Мариинского театра почти пуст, не больше пятидесяти человек; много также неявившихся среди музыкантов. Мы выслушиваем, скорее претерпеваем первую симфонию молодого композитора Стравинского; произведение неровное, местами довольно сильное, но все эффекты которого пропадают в изысканности смелых диссонансов и сложности гармонических формул. Эти тонкости техники заинтересовали бы меня в другое время: сегодня вечером они меня раздражают. Очень кстати на сцене появляется затем скрипач Энеско. Окинув грустным взглядом пустой зал, он подходит к креслам, которые мы занимаем в углу оркестра, как будто бы собираясь играть для нас одних. Никогда удивительный виртуоз, достойный соперник Изаи и Крейслера, не производил на меня более сильное впечатление своей игрой, простой и широкой, способной доходить до самых деликатных модуляций и самого бурного воодушевления. Фантазия Сен-Санса, которую он исполнял в заключение,—дивная по своему пламенному романтизму. После этого номера мы уходим.

Площадь Мариинского театра, обычно такая оживленная, имеет вид унылый; на ней стоит один только мой экипаж. Жандармский пост караулит мост на Мойке; войска сосредоточены перед Литовским замком.

Пораженная, как и я, этим зрелищем, г-жа дю-Альгуэ говорит мне:

— Мы, может быть, только-что видели последний вечер режима.

*Воскресенье, 11 марта.*

Сегодня ночью министры заседали до пяти часов утра. Протопопов соблаговолил присоединиться к своим коллегам; он доложил им об энергичных мерах, которые

он прописал для поддержания порядка „во что бы то ни стало“, вследствие чего генерал Хабалов, военный губернатор Петрограда, велел расклеить сегодня утром следующее об‘явление:

„Всякие скопища воспрещаются. Предупреждаю население, что возобновил войскам разрешение употребить для поддержания порядка оружие, ни пред чем не останавливаясь“.

Возвращаясь около часу ночи из министерства иностранных дел, я встречаю одного из корифеев кадетской партии, Василия Маклакова:

— Мы имеем теперь дело с крупным политическим движением. Все измучены настоящим режимом. Если император не даст стране скорых и широких реформ, волнение перейдет в восстание. А от восстания до революции один только шаг.

— Я вполне с вами согласен и я сильно боюсь, что Романовы нашли в Протопопове своего Полиньяка... Но если события будут развиваться скорым темпом, вам, наверное, придется играть в них роль. Я умоляю вас не забыть тогда об элементарных обязанностях, которые налагает на Россию война.

— Вы можете положиться на меня.

Несмотря на предупреждение военного губернатора, толпа становится все более шумной и аггрессивной; она разрастается с каждым часом на Невском проспекте. Четыре или пять раз войска вынуждены были стрелять залпами, чтобы не быть стиснутыми; насчитывают десятки убитых.

К концу дня двое из моих агентов-информаторов, которых я послал в фабричные кварталы, докладывают мне, что беспощадная жестокость репрессии привела

в уныние рабочих, и они повторяют: „Довольно нам идти на убой на Невском проспекте“.

Но другой информатор сообщает мне, что один гвардейский полк, Волынский, отказался стрелять. Это является новым элементом в положении и напоминает мне зловещее предупреждение 31 октября прошлого года.

Чтобы отдохнуть от всей работы и всей суеты, которые мне доставил этот день (потому что меня осаждала своими тревогами французская колония), я отправляюсь после обеда выпить чашку чаю у графини П., которая живет на улице Глинки. Расставаясь с ней около одиннадцати часов, я узнаю, что манифестации продолжаются перед Казанским собором и у Гостиного двора. Поэтому, чтобы вернуться в посольство, я считаю благоразумным обогнуть по Фонтанке. Едва мой автомобиль выехал на набережную, как я замечаю ярко освещенный дом, перед которым дожидается длинный ряд экипажей. Это — вечер супруги князя Леона Радзивилла в полном разгаре; проезжая мимо, я узнаю автомобиль великого князя Бориса.

По словам Ренака де-Мелана, много веселились и в Париже 5 октября 1789 года.

*Понедельник, 12 марта.*

В пол-девятого утра, когда я кончал одеваться, я услышал странный и продолжительный гул, который шел как будто от Александровского моста. Смотрю: мост, обычно такой оживленный, пуст. Но почти тотчас же на том конце, который находится на правом берегу Невы, показывается беспорядочная толпа с красными знаменами, между тем как с другой стороны спешит полк солдат. Так и кажется, что сейчас про-

изойдет столкновение. В действительности, обе массы сливаются в одну. Солдаты братаются с повстанцами.

Несколько минут спустя приходят мне сообщить, что гвардейский Волынский полк взбунтовался сегодня ночью, убил своих офицеров и обходил город, призывая народ к революции, пытаясь увлечь оставшиеся верными войска.

В десять часов сильная перестрелка и зарево пожара приблизительно на Литейном проспекте, который находится в двух шагах от посольства. Затем тишина.

В сопровождении моего военного атташе, подполковника Лавернь, я отправляюсь посмотреть, что происходит. Испуганные обыватели бегут по всем улицам. На углу Литейного невообразимый беспорядок. Солдаты вперемежку с народом строят баррикаду. Пламя вырывается из здания Окружного суда. С треском валятся двери арсенала. Вдруг треск пулемета прорезывает воздух; это регулярные войска только-что заняли позицию со стороны Невского проспекта. Повстанцы отвечают. Я достаточно видел, чтобы не сомневаться больше на счет того, что готовится. Под градом пуль я возвращаюсь в посольство с Лавернь, который из кокетства спокойно и медленно прошел к самому опасному месту.

Около половины двенадцатого я отправляюсь в министерство иностранных дел, а по дороге захожу за Бьюкененом.

Я осведомляю Покровского о том, что я только-что видел.

— В таком случае,—говорит он,—это еще серьезнее, чем я думал.

Он сохраняет, однако, полное спокойствие, которое получает оттенок скептицизма, когда он излагает мне меры, на которые решились сегодня ночью министры:

— Сессия Думы отложена на апрель, и мы отправили императору телеграмму, умоляя его немедленно вернуться. За исключением г. Протопопова, мои коллеги и я полагали, что необходимо безотлагательно установить диктатуру, которую следовало бы вверить генералу, пользующемуся некоторым престижем в глазах армии, например, генералу Рузскому.

Я отвечаю, что, судя по тому, что я видел сегодня утром, верность армии уже слишком поколеблена, чтобы возлагать все надежды на спасение, на „сильную власть", и что немедленное назначение министерства, внушающего доверие Думы, мне кажется более, чем когда-либо, необходимым; потому нельзя больше терять ни одного часа. Я напоминаю, что в 1789 г., в 1830 г., в 1848 г. три французские династии были свергнуты, потому что слишком поздно поняли смысл и силу направленного против них движения. Я добавляю, что в таких серьезных обстоятельствах, представитель союзной Франции имеет право подать императорскому правительству совет, касающийся внутренней политики.

Покровский нам отвечает, что он лично разделяет наше мнение, но что присутствие Протопопова в совете министров парализует всякое действие.

Я спрашиваю его:

— Неужели же нет никого, кто мог бы открыть императору глаза на это положение?

Он делает безнадежный жест:

— Император слеп!

Глубокое страдание изображается на лице этого честного человека, этого прекрасного гражданина, чью прямоту сердца, патриотизм и бескорыстие я никогда не в состоянии буду достаточно восхвалить.

Он предлагает нам опять придти в конце дня.

К моменту, когда я вернулся в посольство, положение много ухудшилось.

Мрачные известия приходят одно за другим. Окружный суд представляет из себя лишь огромный костер; арсенал на Литейном, дом министерства внутренних дел, дом военного губернатора, дом министра Двора, здание слишком знаменитой „Охранки", около двадцати полицейских участков об'яты пламенем; тюрьмы открыты, и все арестованные освобождены; Петропавловская крепость осаждена; овладели Зимним дворцом, бой идет во всем городе.

В пол-седьмого я с Бьюкененом опять прихожу в министерство иностранных дел.

Покровский сообщает нам, что, в виду серьезности событий, совет министров берет на себя сместить Протопопова с поста министра внутренних дел и назначить „временным управляющим министерством" генерала Макаренко. Он тотчас осведомил об этом императора; он, кроме того, умолял его немедленно облечь чрезвычайными полномочиями какого-нибудь генерала для принятия всех исключительных мер, которых требует положение, а именно назначения других министров.

Кроме того, он сообщает нам, что, несмотря на указ об отсрочке, Дума собралась сегодня после полудня в Таврическом дворце. Она образовала временный комитет, который должен взять на себя посредничество между правительством и восставшими войсками. Родзянко, председатель этого комитета, телеграфировал императору, что династия подвергается величайшей опасности и что малейшее промедление будет для нее роковым.

Совсем уже темно, когда мы, Бьюкенен и я, выходим из министерства иностранных дел; ни один фо-

нарь не горит. В тот момент, когда наш автомобиль выезжает с Миллионной перед Мраморным дворцом, нас задерживает какая-то свалка между солдатами. Происходит что-то непонятное у казарм Павловского полка. Солдаты в бешенстве кричат, воют, дерутся на площади. Мой экипаж окружен; против нас поднимается оглушительный крик. Тщетно мой егерь и мой шоффер стараются об'яснить, что мы—послы Франции и Англии. Открывают портьеры. Наше положение становится опасным, когда какой-то унтер-офицер, верхом на лошади, узнает нас и громовым голосом предлагает „ура Франции и Англии“. Мы выходим из этой передряги под дождем приветствий.

Я употребляю вечер на то, чтоб попытаться получить кое-какие сведения о Думе. Затруднение велико, потому что всюду выстрелы и пожары.

Мне доставляют, наконец, кое-какие информации, которые согласуются между собой.

Дума, говорят мне, не щадит своих усилий для организации Временного Правительства, восстановления какого-нибудь порядка и обеспечения столицы продовольствием.

Такая скорая и полная измена армии является большим сюрпризом для вождей либеральных партий и даже для рабочей партии. В самом деле, она ставит перед умеренными депутатами, которые пытаются руководить народным движением (Родзянко, Милюков, Шингарев, Маклаков и пр.), вопрос о том, можно ли еще спасти династический режим. Страшный вопрос, потому что республиканская идея, пользующаяся симпатиями петроградских и московских рабочих, чужда общему духу страны, и невозможно предвидеть, как армии на фронте примут столичные события!

*Вторник, 13 марта.*

Стрельба, которая утихла сегодня утром, около десяти часов возобновляется; она, кажется, довольно сильна около Адмиралтейства. Беспрерывно около посольства проносятся полным ходом автомобили с забронированными пулеметами, украшенные красными флагами. Новые пожары вспыхивают в нескольких местах в городе.

Чтоб не подвергаться инциденту в роде вчерашнего, я предпочитаю не пользоваться своим автомобилем для того, чтоб доехать до министерства иностранных дел; я отправляюсь туда пешком, в сопровождении моего егеря, верного Леонида, в штатском.

У Летнего сада я встречаю одного из эфиопов, которые караулили у двери императора, и который столько раз вводил меня в кабинет к императору. Милый негр тоже одел цивильное платье, и вид у него жалкий. Мы проходим вместе шагов двадцать; у него слезы на глазах. Я говорю ему несколько слов утешения и пожимаю ему руку. В то время, как он удаляется, я следую за ним опечаленным взглядом. В этом падении целой политической и социальной системы, он представляет для меня былую царскую пышность, живописный и великолепный церемониал, установленный некогда Елизаветой и Екатериной Великой, все обаяние, которое вызывали эти слова, отныне ничего не означающие: „русский Двор“.

Я опять встречаю Бьюкенена в вестибюле министерства. Покровский нам говорит:

— Совет министров беспрерывно заседал всю ночь в Мариинском дворце. Император не обманывается на счет серьезности положения, так как он облек генерала Иванова чрезвычайными полномочиями для восстано-

вления порядка; он, впрочем, повидимому, решил вновь завоевать свою столицу силой, не допуская ни на один миг идеи о переговорах с войсками, которые убили своих офицеров и водрузили красное знамя. Но я сомневаюсь, чтобы генерал Иванов, который вчера был в Могилеве, мог добраться до Петрограда: в руках повстанцев все железные дороги. Кроме того, если б ему удалось добраться, что мог бы он сделать? Все полки перешли на сторону Революции. Остается лишь несколько отдельных отрядов и некоторые полицейские войска, которые не оказывают еще сопротивления. Что касается моих коллег министров, большинство бежало, несколько арестованы. Мне самому сегодня ночью очень трудно было выбраться из Мариинского дворца... И теперь я жду своей участи.

Он говорит ровным голосом, таким простым, полным достоинства, спокойно-мужественным и твердым, который придает его симпатичному лицу отпечаток благородства. Чтобы вполне оценить его спокойствие, надо знать, что, пробыв очень долго генеральным контролером финансов империи, он не имеет ни малейшего личного состояния и обременен семейством.

— Вы только-что прошли по городу,—спрашивает он меня,—осталось у вас впечатление, что император может еще спасти свою корону?

— Может быть, потому что растерянность большая со всех сторон. Но надо было бы, чтобы император немедленно преклонился перед совершившимися фактами, назначив министрами временный комитет Думы и амнистировав мятежников. Я думаю даже, что, если бы он лично показался армии и народу, если бы он сам с паперти Казанского собора заявил, что для России начинается новая эра, его бы приветствовали... Но завтра

это было бы уже слишком поздно... Есть прекрасный стих Лукиана, который применим к началу всех революций: Ruit irrevocabile vulgus. Я повторял его себе сегодня ночью. В бурных условиях, какие мы сейчас переживаем, безвозвратное совершается быстро.

— Мы даже не знаем, где император. Он, должно быть, покинул Могилев вчера вечером или сегодня утром на рассвете. Что касается императрицы, я не имею о ней никаких известий. Невозможно снестись с Царским Селом.

При выходе из здания министерства, сэр Джордж Бьюкенен говорит мне:

— Вместо того, чтоб идти по Миллионной, пройдем лучше по Дворцовой набережной. Нам не надо будет тогда проходить у гвардейских казарм.

Но когда мы выходим на набережную, нас узнает группа студентов, которые нас приветствуют и провожают нас. Перед Мраморным дворцом толпа разрастается и приходит в возбуждение. К крикам „Да здравствует Франция“, „Да здравствует Англия“ неприятно примешиваются крики: „Да здравствует Интернационал“, „Да здравствует мир“.

На углу Суворовской площади Бьюкенен покидает меня, посоветовав мне вернуться в свое посольство, чтоб избежать толпы, которая слишком возбуждена. Но уже поздно; я хочу до завтрака отправить телеграмму в Париж и продолжаю свой путь.

У Летнего сада я совершенно окружен толпой, которая задерживает на ходу автомобиль с забронированными пулеметами и хочет меня посадить и отвезти в Таврический дворец. Студент-верзила, размахивая красным флагом, кричит мне в лицо на хорошем французском языке:

— Идите приветствовать русскую Революцию. Красное знамя отныне—флаг России; почтите его от имени Франции.

Он переводит эти слова по-русски. Они вызывают неистовое „ура“. Я отвечаю:

— Я не могу лучше почтить русскую свободу, как предложив вам крикнуть вместе со мной: „Да здравствует война“!

Он, конечно, остерегается перевести мои слова. Но вот мы, наконец, перед французским посольством. Не без некоторых усилий, при энергичном содействии моего егеря, мне удается выбраться из толпы и войти к себе.

Революция идет своим логическим, неизбежным путем... Ruit irrevocabile vulgus.

Одно за другим доходят до меня известия об аресте князя Голицына, председателя совета министров, митрополита Питирима, Штюрмера, Добровольского, Протопопова и пр. Новые пожары бросают тут и там зловещие отблески. Петропавловская крепость сделалась главной квартирой повстанцев. Очень энергичная борьба завязалась вокруг Адмиралтейства, где нашли убежище военный министр, морской министр и несколько высокопоставленных сановников. В остальных частях города повстанцы ожесточенно преследуют „предателей“: полицейских и жандармов. Стрельба от времени до времени настолько усиливается на улицах, прилегающих к посольству, что мои дворники отказываются отнести мои телеграммы на центральный телеграф, который один только еще функционирует, и я вынужден обратиться к картье-метру французского флота, который находится в командировке в Петрограде и не боится пуль.

Около пяти часов, один высокопоставленный сановник, К., сообщает мне, что комитет Думы старается образовать Временное Правительство, но что председатель Думы Родзянко, Гучков, Шульгин и Маклаков совершенно огорошены анархическими действиями армии.

— Не так,—добавляет мой информатор,—представляли они себе Революцию; они надеялись руководить ею, сдержать армию. Теперь войска не признают никаких начальников и распространяют террор по всему городу.

Затем он неожиданно заявляет, что он пришел ко мне от председателя Думы Родзянко и спрашивает меня, не имею-ли передать ему какое-нибудь мнение или указание.

— В качестве посла Франции,—говорю я,—меня больше всего озабочивает война. Итак, я желаю, чтобы влияние Революции было, по возможности, ограничено и чтобы порядок был поскорей восстановлен. Не забывайте, что французская армия готовится к большому наступлению и что честь обязывает русскую армию сыграть при этом свою роль.

— В таком случае, вы полагаете, что следует сохранить императорский режим?

— Да, но в конституционной, а не самодержавной форме.

— Николай II не может больше царствовать, он никому больше не внушает доверия, он потерял всякий престиж. К тому же, он не согласился бы пожертвовать императрицей.

— Я допускаю, чтобы вы переменили царя; но сохранили царизм.

И я стараюсь ему доказать, что царизм самая основа России, внутренняя и незаменимая броня русского общества, наконец, единственная связь, объединяющая все разнообразные народы империи.

— Если бы царизм пал, будьте уверены, он увлек бы в своем падении русское здание.

Он уверяет меня, что и Родзянко, Гучков и Милюков такого же мнения; что они энергично работают в этом направлении, но что элементы социалистические и анархические делают успехи с каждым часом.

— Это еще одна причина,—говорю я,—чтобы поспешить!

С наступлением вечера я решаюсь выйти со своим секретарем Шанбрэн, чтобы пойти сказать несколько слов ободрения знакомым дамам, которые живут по соседству и, я знаю, очень беспокоятся. После короткого визита к супруге князя Станислава Радзивилла и графине Робьен, мы решаемся вернуться к себе, так как, несмотря на мрак, каждое мгновение раздаются выстрелы и, проходя по Сергиевской, мы слышим свист пуль.

В этом дне, который полон столь важных событий и который, может быть, определит будущее России более, чем на столетие, я отмечаю эпизод, с первого взгляда ничтожный, но в сущности довольно характерный. Дом Кшесинской, расположенный в начале Каменноостровского проспекта, напротив Александровского парка, был сегодня разгромлен с верху до низу ворвавшимися в него повстанцами. Я припоминаю подробность, которая объясняет мне, почему народная ярость обратилась против этого жилища знаменитой балерины. Это было прошлой зимой; холод был страшный; термометр упал до 35°. Сэр Джордж Бьюкенен,

...сольство которого отапливается при помощи „центральной системы“, не мог достать себе каменного угля, который является необходимым топливом при этой системе. Но днем, пользуясь тем, что небо было ясно и ... было ветра, мы вышли погулять на Острова. В тот момент, когда свернули на Каменноостровский проспект, Бьюкенен воскликнул:

— О, это уже слишком!

И он показал мне у дома танцовщицы четыре военных повозки, нагруженные мешками угля, которые выгружал взвод солдат.

— Успокойтесь, сэр Джордж,—сказал я ему.—Вы не можете сослаться на те права, которые имеет Кшесинская, на заботы императорской власти.

Вероятно, годами многие тысячи русских делали аналогичные замечания по поводу милостей, которыми осыпали Кшесинскую. Мало-по-малу создалась легенда. Балерина, которую когда-то любил цесаревич, за которой с тех пор ухаживали одновременно два великих князя, сделалась своего рода символом императорской власти. На этот-то символ набросилась чернь. Революция всегда, в большей или меньшей степени, итог или санкция.

*Среда, 14 марта.*

Сегодня утром еще много боев и пожаров. Солдаты занимаются охотой на офицеров и жандармов, охотой жестокой, обнаруживающей все дикие инстинкты, скрытые в душе мужиков.

Среди царящей в Петрограде всеобщей анархии три руководящих органа стремятся организоваться:

1. „Исполнительный Комитет Думы“ под председательством Родзянко, состоящий из двенадцати членов,

среди которых. Милюков, Шульгин, Коновалов, Керенский и Чхеидзе. В нем представлены, таким образом, все партии прогрессивной группы и крайней левой. Он старается немедленно осуществить необходимые реформы, чтобы спасти режим, провозгласив в случае надобности другого императора; но Таврический дворец переполнен повстанцами; Комитет, поэтому, заседает среди шума и под угрозами толпы.

2. „Совет Рабочих и Солдатских Депутатов". Он заседает на Финляндском вокзале (?). Объявить социальную республику и положить конец войне—таковы его девизы и лозунги. Вожаки его уже объявляют членов Думы предателями Революции и открыто принимают по отношению к законному представительству позицию, которую занимала Парижская Коммуна по отношению к Законодательному Собранию в 1792 году.

3. „Главная квартира войск". Она помещается в Петропавловской крепости. Составленная из нескольких младших офицеров, перешедших на сторону Революции, и нескольких унтер-офицеров и солдат, произведенных в офицеры, она старается внести немного порядка в дело снабжения продовольствием бойцов; она их снабжает продовольствием и снаряжением. Главное же она держит в зависимости Думу. Благодаря ей солдатня теперь всемогуща. Несколько батальонов, расположенных в крепости и по соседству с ней, представляют единственную организованную силу Петрограда; это—преторианцы Революции, такие же решительные, невежественные и фанатичные, как и знаменитые батальоны предместья Сент-Антуан и предместья Сен-Марсель—все в том же 1792 году.

С тех пор, как началась русская революция, воспоминания из французской революции часто приходят

мне на память. Но дух обоих движений совершенно разный... По своему происхождению, по своим принципам, по своему характеру—социальному, еще больше чем политическому,—настоящий кризис имеет больше сходства с революцией 1848 года.

Император покинул Могилев вчера утром. Поезд направился в Бологое, расположенное на половине дороги между Москвой и Петроградом. Предполагают, что император хочет вернуться в Царское Село; во всяком случае, возникает еще вопрос, не думает-ли он доехать до Москвы, чтобы организовать там сопротивление революции.

Решительная роль, которую присвоила себе армия в настоящей фазе революции, только-что на моих глазах нашла подтверждение в зрелище трех полков, продефилировавших перед посольством по дороге в Таврический дворец. Они идут в полном порядке, с оркестром впереди. Во главе их несколько офицеров, с широкой красной кокардой на фуражке, с бантом из красных лент на плече, с красными нашивками на рукавах. Старое полковое знамя, покрытое иконами, окружено красными знаменами.

Великий князь Кирилл Владимирович объявил себя за Думу.

Он сделал больше. Забыв присягу в верности и звание флигель-адъютанта, которое он получил от императора, он пошел сегодня в четыре часа преклониться пред властью народа. Видели, как он в своей форме капитана 1-го ранга, отвел в Таврический дворец гвардейские экипажи, коих шефом он состоит, и представил их в распоряжение мятежной власти.

Немного спустя, старый Потемкинский дворец послужил рамой другой не менее грустной картины.

Группа офицеров и солдат, присланных гарнизоном Царского Села, пришла заявить о своем переходе на сторону революции.

Во главе шли казаки свиты, великолепные всадники, цвет казачества, надменный и привилегированный отбор императорской гвардии. Затем прошел полк его величества, священный легион, формируемый путем отбора из всех гвардейских частей и специально назначенный для охраны особ царя и царицы. Затем прошел еще железнодорожный полк его величества, которому вверено сопровождение императорских поездов и охрана царя и царицы в пути. Шествие замыкалось императорской дворцовой полицией: отборные телохранители, приставленные к внутренней охране императорских резиденций и принимающие участие в повседневной жизни, в интимной и семейной жизни их властелинов.

И все, офицеры и солдаты, заявляли о своей преданности новой власти, которой они даже названия не знают, как будто они торопились устремиться к новому рабству.

Во время сообщения об этом позорном эпизоде я думаю о честных швейцарцах, которые были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца 10 августа 1792 г. Между тем, Людовик XVI не был их национальным государем, и, приветствуя его, они называли его „царь-батюшка“.

Вечером ко мне зашел осведомиться о положении граф С. Я. Между прочим, рассказываю об унизительном поведении царскосельского гарнизона в Таврическом дворце. Он сперва отказывается мне верить. Затем, после долгой паузы скорбного размышления, он продолжает:

— Да, то, что вы мне только-что рассказали, отвратительно. Гвардейские войска, которые принимали участие в этой манифестации, покрыли себя позором... Но вся вина, может быть, не их одних. В их постоянной службе при их величествах эти люди видели слишком много такого, чего они не должны были бы видеть; они слишком много знают о Распутине...

Как я писал вчера по поводу Кшесинской, революция всегда, в большей или меньшей степени, итог или санкция.

Около полуночи мне сообщают, что лидеры либеральных партий устроили сегодня вечером тайное совещание, без участия и ведома социалистов, чтобы сговориться на счет будущей формы правления. Они все оказались единодушными в своих заявлениях в том, что монархия должна быть сохранена, но что Николай, ответственный за настоящие несчастия, должен быть принесен в жертву для спасения России. Бывший председатель Думы, Александр Иванович Гучков, теперь член Государственного Совета, развил затем это мнение: „Чрезвычайно важно, чтобы Николай II не был свергнут насильственно. Только его добровольное отречение в пользу сына или брата могло бы обеспечить без больших потрясений прочное установление нового порядка. Добровольный отказ от престола Николая II— единственное средство спасти императорский режим и династию Романовых“. Этот тезис, который мне кажется очень правильный, был единодушно одобрен. В заключение либеральные лидеры решили, что Гучков и депутат националистической правой, Шульгин, немедленно отправятся к императору умолять его отречься в пользу сына.

*Четверг, 15 марта.*

Гучков и Шульгин выехали из Петрограда сегодня утром в 9 часов. При содействии инженера, заведующего эксплуатацией железной дороги, им удалось получить специальный поезд, не возбудив внимания социалистических комитетов.

Дисциплина мало-по-малу восстанавливается в войсках. В городе царит порядок; магазины робко открываются.

Исполнительный комитет Думы и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов сговорились на счет следующих пунктов:

1. Отречение императора.
2. Об'явление цесаревича императором.
3. Регентство великого князя Михаила, брата императора;
4. Образование ответственного министерства.
5. Избрание Учредительного Собрания всеобщей подачей голосов.
6. Об'явление равноправия национальностей.

Молодой депутат Керенский, создавший себе, как адвокат, репутацию на политических процессах, оказывается наиболее деятельным и наиболее решительным из организаторов нового режима. Его влияние на Совет велико. Это—человек, которого мы должны попытаться привлечь на нашу сторону. Он один способен втолковать Совету необходимость продолжения войны и сохранения союза. Поэтому я телеграфирую в Париж, чтоб посоветовать Бриану передать немедленно через Керенского воззвание французских социалистов, обращенное к патриотизму русских социалистов.

Но весь интерес дня сосредоточен на небольшом городе Пскове, на полпути между Петроградом и Двин-

ском. Именно там императорский поезд, не имея возможности добраться до Царского Села, остановился вчера, в 8 часов вечера.

Выехав из Могилева 13 марта в половине пятого утра, император решил отправиться в Царское Село, куда императрица умоляла его вернуться безотлагательно. Известия, посланные ему из Петрограда, ее беспокоили чрезмерно. Возможно, впрочем, что генерал Воейков скрыл от него часть истины. 14 марта, около трех часов утра, в то время, как локомотив императорского поезда набирал воду на станции Малая Вишера, генерал Цабель, начальник железнодорожного полка его величества, взялся разбудить императора, чтобы сообщить ему, что дорога в Петроград не свободна и что Царское Село находится во власти революционных войск. Выразив свое удивление и раздражение по поводу того, что его не осведомляли достаточно точно, император сказал:

— Москва остается верной мне. Едем в Москву.

Затем он прибавил со своей обычной апатией:

— Если Революция восторжествует, я охотно откажусь от престола. Я уеду в Ливадию; я обожаю цветы.

Но на станции Дно стало известно, что все московское население перешло на сторону Революции. Тогда император решил искать убежища среди своих войск в Главной Квартире северного фронта, главнокомандующим которого состоит генерал Рузский, во Пскове.

Императорский поезд прибыл в Псков вчера вечером, в восемь часов.

Генерал Рузский тотчас явился на совещание к императору и без труда доказал ему, что он должен

отречься. Он к тому же сослался на единодушное мнение генерала Алексеева и всех командующих армиями, которых он опросил по телеграфу.

Император поручил генералу Рузскому довести до сведения председателя Думы Родзянко свое намерение отказаться от престола.

Покровский сегодня утром сложил с себя функции министра иностранных дел; он сделал это с тем простым и спокойным достоинством, которое делает его столь симпатичным.

— Моя роль кончена,—сказал он мне.—Председатель совета министров и все мои коллеги арестованы или бежали. Вот уже три дня, как император не подает признаков жизни. Наконец, генерал Иванов, который должен был привезти нам распоряжения его величества, не приезжает. При таких условиях я не имею возможности исполнять свои функции; итак, я расстаюсь с ними, оставив дела моему товарищу по административной части. Я избегаю, таким образом, измены моей присяге императору, так как я воздерживаюсь от всяких сношений с революционерами.

В течение сегодняшнего вечера лидеры Думы успели, наконец, образовать „Временное Правительство“ под председательством князя Львова, который берет портфель министра внутренних дел; остальные министры: военный—Гучков, иностранных дел—Милюков, финансов—Терещенко, юстиции—Керенский и пр.

Этот первый кабинет нового режима удалось образовать лишь после бесконечных споров и торгов с Советом. В самом деле, социалисты поняли, что русский пролетариат еще слишком не организован и невежествен, чтобы взять на себя ответственность оффициальной власти, но они пожелали оставить за собой тайное мо-

гущество. Поэтому они потребовали назначения Керенского министром юстиции, чтобы держать под надзором Временное Правительство.

*Пятница, 16 марта.*

Николай II отрекся от престола вчера, незадолго до полуночи.

Прибыв в Псков около 9 часов вечера, комиссары Думы, Гучков и Шульгин, встретили со стороны царя обычно для него приветливый и простой прием.

В полных достоинства словах и несколько дрожащим голосом Гучков изложил императору предмет своего визита; он закончил следующими словами:

— Только отречение вашего величества в пользу сына может еще спасти отечество и сохранить династию.

Самым спокойным тоном, как если бы дело шло о самой обыкновенной вещи, император ответил ему:

— Я вчера еще решил отречься. Но я не могу расстаться с моим сыном; это было бы выше моих сил; его здоровье слишком слабо; вы должны меня понять... Поэтому я отрекаюсь в пользу моего брата Михаила Александровича.

Гучков сейчас же преклонился перед доводами отцовской нежности, на которую ссылался царь. Шульгин тоже согласился.

Император прошел тогда с министром Двора в свой рабочий кабинет; вышел оттуда спустя десять минут, подписавши акт об отречении, который граф Фредерикс передал Гучкову.

Вот текст этого памятного акта:

„Божьей милостью Мы, Николай II, император всероссийский, царь польский, ве-

ликий князь финляндский и пр., и пр., и пр.— об'являем всем нашим верноподданным:

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать на Россию новое тяжкое испытание.

Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны.

Судьбы России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша, совместно со славными нашими союзниками, сможет окончательно сломить врага.

В эти решительные дни в жизни России, почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, признали мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть.

Не желая расстаться с любимым сыном нашим, Мы передаем наследие наше брату нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу.

Во имя горячо любимой родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним—повиновением Царю в тяжелую минуту всенародного испытания, и помочь Ему, вместе с представителями Народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.

*Николай*".

Прочитав этот акт, написанный на машинке на листе обыкновенной бумаги, делегаты Думы, очень взволнованные, едва в состоянии говорить, простились с Николаем II, который, попрежнему бесстрастный, любезно пожал им руки.

Как только они вышли из вагона, императорский поезд направился к Двинску, чтобы вернуться в Могилев.

История насчитывает мало событий столь торжественных, такого глубокого значения, такой огромной важности. Но из всех, зарегистрированных ею, есть-ли хоть одно, которое произошло бы в такой простой, обыкновенной, прозаической форме и, в особенности, с подобной индифферентностью, с подобным стушеванием главного героя?

Бессознательность-ли это у императора?—Нет! Акт отречения, который он долго обдумывал, если не сам его редактировал, внушен самыми высокими чувствами, и общий тон царственно величествен. Но его моральная позиция в этой критической конъюнктуре оказывается вполне логичной, если допустить, как я уже неоднократно отмечал, что уже месяцы несчастный монарх чувствовал себя осужденным, что давно уже он внутренне принес эту жертву и примирился со своей участью.

Воцарение великого князя Михаила подняло бурю в Совете: „Не хотим Романовых,—кричали со всех сторон,—мы хотим Республику“.

Соглашение, с таким трудом достигнутое вчера между Исполнительным Комитетом Думы и Советом, на мгновение нарушилось. Но из страха перед неистовыми, господствующими на Финляндском вокзале и в крепости, представители Думы уступили. Делегация Исполнительного Комитета отправилась к великому князю Михаилу, который без малейшего сопротивления, согласился принять корону лишь в тот день, когда она будет ему предложена Учредительным Собранием. Может быть, он не согласился бы так легко, если бы его супруга, честолюбивая и ловкая графиня Брасова, была с ним, а не в Гатчине.

Отныне хозяин—Совет.

Впрочем, в городе начинается волнение. В полуденное время мне сообщают о многочисленных манифестациях против войны. Целые полки готовятся придти протестовать к французскому и английскому посольствам. В семь часов вечера Исполнительный Комитет посчитает долгом занять для охраны солдатами оба посольства. Тридцать два юнкера Пажеского корпуса приходят разместиться в моем посольстве.

*Суббота, 17 марта.*

Погода сегодня утром мрачная. Под большими темными и тяжелыми облаками падает снег такими частыми хлопьями и так медленно, что я не различаю больше парапета, окаймляющего в двадцати шагах от моих окон обледенелое русло Невы: можно подумать, что сейчас худшие дни зимы. Унылость пейзажа и вра-

ждебность природы хорошо гармонируют с зловещей картиной событий.

Вот, по словам одного из присутствовавших, подробности совещания, в результате которого великий князь Михаил Александрович подписал вчера свое временное отречение.

Собрались в десять часов утра в доме князя Павла Путятина, № 12, по Миллионной.

Кроме великого князя и его секретаря Матвеева, присутствовали: князь Львов, Родзянко, Милюков, Некрасов, Керенский, Набоков, Шингарев и барон Нольде; к ним присоединились около половины десятого Гучков и Шульгин, прямо прибывшие из Пскова.

Лишь только открылось совещание, Гучков и Милюков смело заявили, что Михаил Александрович не имеет права уклоняться от ответственности верховной власти.

Родзянко, Некрасов и Керенский заявили, напротив, что об'явление нового царя разнуздает революционные страсти и повергнет Россию в страшный кризис; они приходили к выводу, что вопрос о монархии должен быть оставлен открытым до созыва Учредительного Собрания, которое самостоятельно решит его. Тезис этот защищался с такой силой и упорством, в особенности Керенским, что все присутствующие, кроме Гучкова и Милюкова, приняли его. С полным самоотвержением великий князь сам согласился с ним.

Гучков сделал тогда последнее усилие. Обращаясь лично к великому князю, взывая к его патриотизму и мужеству, он стал ему доказывать необходимость немедленно явить русскому народу живой образ народного вождя:

— Если вы боитесь, ваше высочество, немедленно возложить на себя бремя императорской короны, примите, по крайней мере, верховную власть в качестве „Регента империи на время, пока не занят трон“, или, что было бы еще более прекрасным, титулом в качестве „Прожектора народа“, как назывался Кромвель. В то же время вы могли бы дать народу торжественное обязательство сдать власть Учредительному Собранию, как только кончится война.

Эта прекрасная мысль, которая могла еще все спасти, вызвала у Керенского припадок бешенства, град ругательств и угроз, которые привели в ужас всех присутствовавших.

Среди этого всеобщего смятения великий князь встал и об‘явил, что ему нужно несколько мгновений подумать одному, и направился в соседнюю комнату. Но Керенский одним прыжком бросился к нему, как бы для того, чтобы перерезать ему дорогу:

— Обещайте мне, ваше высочество, не советоваться с вашей супругой.

Он тотчас подумал о честолюбивой графине Брасовой, имеющей безграничное влияние на мужа. Великий князь ответил, улыбаясь:

— Успокойтесь, Александр Федорович, моей супруги сейчас нет здесь; она осталась в Гатчине.

Через пять минут великий князь вернулся в салон. Очень спокойным голосом он об‘явил:

— Я решил отречься.

Керенский, торжествуя закричал:

— Ваше высочество, вы — благороднейший из людей!

Среди остальных присутствовавших, напротив, наступило мрачное молчание; даже те, которые наиболее энергично настаивали на отречении, как князь Львов

и Родзянко, казались удрученными только-что совершившимся, непоправимым. Гучков облегчил свою совесть последним протестом:

— Господа, вы ведете Россию к гибели; я не последую за вами на этом гибельном пути.

После этого Некрасов, Набоков и барон Нольде средактировали акт временного и условного отречения. Михаил Александрович несколько раз вмешивался в их работу и каждый раз для того, чтобы лучше подчеркнуть, что его отказ от императорской короны находится в зависимости от позднейшего решения русского народа, предоставленного Учредительным Собранием.

Наконец, он взял перо и подписал.

В продолжение всех этих долгих и тяжелых споров великий князь ни на мгновенье не терял своего спокойствия и своего достоинства. До тех пор его соотечественники невысоко его ценили; его считали человеком слабого характера и ограниченного ума. В этот исторический момент он был трогателен по патриотизму, благородству и самоотвержению. Когда последние формальности были выполнены, делегаты Исполнительного Комитета не могли удержаться, чтобы не засвидетельствовать ему, какое он оставлял в них симпатичное и почтительное воспоминание. Керенский пожелал выразить общее чувство лапидарной фразой, сорвавшейся с его губ в театральном порыве:

— Ваше высочество! Вы великодушно доверили нам священный сосуд вашей власти. Я клянусь вам, что мы передадим его Учредительному Собранию, не пролив из него ни одной капли.

Генерал Ефимович, который только-что в полдень приходил ко мне, принес мне кое-какие сведения о Царском Селе.

Императрица через великого князя Павла узнала вчера об отречении императора, о котором она не имела два дня никаких известий. Она воскликнула:

— Это невозможно... Это неправда... Еще одна газетная утка... Я верю в бога и верю армии. Ни тот, ни другая не могли нас покинуть в такой серьезный момент.

Великий князь прочитал ей только-что опубликованный акт об отречении. Тогда она поняла и залилась слезами.

Временное Правительство скоро капитулировало перед требованиями социалистов. В самом деле, оно только-что согласилось на это унизительное постановление Совета:

Войска, принимавшие участие в революционном движении, не будут разоружены и останутся в Петрограде.

Таким образом, первым делом революционной армии было заставить обещать себе, что ее не пошлют больше на фронт, что она не будет больше сражаться. Какое позорное пятно на русской революции!.. И как не вспомнить, по контрасту, о добровольцах 1792 года! Впрочем, вид солдатни на улицах вызывает отвращение непристойностью, распущенностью, гнусностью. Благодаря своей скандальной требовательности, Совет составил себе страшную милицию, потому что гарнизон Петрограда и окрестностей (Царское Село, Петергоф, Красное Село и Гатчина) насчитывает не менее 170.000 человек.

Милюков вступил сегодня в управление министерством иностранных дел. Он пожелал немедленно видеть меня так же, как моих английского и итальянского коллегу. Мы тотчас отправились по его приглашению.

Я нахожу его очень изменившимся, очень утомленным, постаревшим на десять лет. Дни и ночи, проведенные им в жаркой борьбе, без минуты отдыха, истощили его.

Я его спрашиваю:

— Прежде всего и прежде, чем вы заговорите оффициальным языком, скажите мне откровенно, что вы думаете о положении?

В порыве искренности он отвечает:

— В двадцать четыре часа я перешел от полнейшего отчаяния к почти полной уверенности.

Затем мы говорим оффициально.

— Я еще не имею возможности,—говорю я, — заявить вам, что правительство республики признает режим, который вы установили; но я уверен, что предупреждаю только мои инструкции, уверяя вас в своей самой деятельной и самой сочувственной поддержке.

Горячо поблагодарив меня, он продолжает:

— Мы не хотели этой революции пред лицом неприятеля, я даже не предвидел ее: она произошла без нас, по вине, по преступной вине императорского режима. Все дело в том, чтобы спасти Россию, продолжая войну до конца, до победы. Но народные страсти так возбуждены и трудности положения так страшны, что мы должны немедленно дать большое удовлетворение народному сознанию.

В числе ближайших необходимых шагов он называет мне: арест большого числа министров, генералов, чиновников и пр.; об'явление всеобщей амнистии, из которой, конечно, будут исключены слуги старого режима; уничтожение всех императорских эмблем; созыв в ближайшем будущем Учредительного Собрания,—одним

словом, все, что может рассеять у русского народа боязнь контр-революции

— В таком случае династия Романовых свергнута?

— Фактически—да, но юридически,—нет. Одно только Учредительное Собрание будет уполномочено изменить политический строй России.

— Но как вы выберете это Учредительное Собрание? Согласятся ли солдаты, сражающиеся на фронте,—согласятся-ли они не голосовать?

В большом затруднении он признается:

— Мы вынуждены будем предоставить солдатам фронта право голоса..

— Вы дадите право голоса солдатам фронта... Но большинство их сражаются за тысячи верст от их деревень и не умеют ни читать, ни писать.

Милюков дает мне понять, что, в сущности, он со мной согласен, и сообщает мне, что он старается не давать никакого определенного обязательства на счет даты всеобщих выборов.

— Но,—прибавляет он,—социалисты требуют немедленных выборов. Они очень могущественны и положение их очень серьезно, очень серьезно.

Так как я настаиваю, чтобы он об'яснил мне свои последние слова, он рассказывает мне, что, если порядок до некоторой степени восстановлен в Петрограде, то в Балтийском флоте и кронштадском гарнизоне восстание в полном разгаре.

Я спрашиваю Милюкова об оффициальном названии нового правительства.

— Это название,—заявляет он мне,—еще не установлено. Мы называемся в настоящее время Временным Правительством. Но под этим названием мы сосредоточиваем в своих руках все виды исполнительной

власти, в том числе и верховную власть; мы, следовательно, не ответственны перед Думой.

— В общем, вы получили власть от Революции?

— Нет, мы ее получили, наследовали от великого князя Михаила, который передал ее нам своим актом об отречении.

Эта юридическая попытка открывает мне, насколько у „умеренных“ нового режима—Родзянко, князя Львова, Гучкова, даже Милюкова—смущена совесть и встревожена душа при мысли о нарушении прав самодержавия. В глубине души, по нормальному закону революции, они уже чувствуют себя опереженными и с ужасом спрашивают себя, что будет с ними завтра.

У Милюкова такой усталый вид, и потеря голоса за последние дни делает для него разговор столь мучительным, что я вынужден сократить беседу. Все же перед тем, как расстаться с ним, я настаиваю на том, чтобы Временное Правительство не откладывало дальше торжественного заявления своей воли продолжать войну до конца и верности Союзу:

— Вы понимаете, что такое ясное заявление необходимо. Я, конечно, не сомневаюсь в ваших личных чувствах. Но направление русской политики отныне подчинено новым силам: надо их немедленно ориентировать.... У меня есть другой мотив желать, чтобы об упорном продолжении войны и сохранении союзов было громко заявлено. В самом деле, в германофильских придворных кругах, в камарилье Штюрмера и Протопопова, я неоднократно улавливал заднюю мысль, которая меня очень беспокоила; признавали, что император Николай не может заключить мира с Германией, пока русская территория не будет совершенно очищена, потому что он поклялся в этом на Евангелии и на

иконе Казанской божьей матери; но говорили между собой, что, если бы удалось довести императора до отречения в пользу цесаревича под регентством императрицы, его несчастная клятва не связывала бы его наследника. Ну, вот, я хотел бы быть уверен, что новая Россия считает себя связанной клятвой своего бывшего царя.

— Вы получите все гарантии в этом отношении.

Сегодня вечером публика очень мрачно настроена; она уже видит, как крайние пролетарские теории распространяются по всей России, дезорганизуют армию, разрушают национальное единство, распространяют повсюду анархию, голод и разрушение.

Увы, мой прогноз не менее мрачен! Ни один из людей, стоящих в настоящее время у власти, не обладает ни политическим кругозором, ни решительностью, ни бесстрашием и смелостью, которых требует столь ужасное положение. Эти „октябристы", „кадеты" — сторонники конституционной монархии, люди серьезные, честные, благоразумные, бескорыстные. Они напоминают мне о том, чем были в июле 1830 г. все эти Моле, Одилоны, Парро и пр. А нужен был, по крайней мере, Дантон. Впрочем, на одного из них мне указывают, как на человека действия: это—молодой министр юстиции, Керенский, представитель „трудовой" группы в Думе, которого Совет ввел в состав Временного Правительства.

И в самом деле, именно в Совете надо искать людей инициативы, энергичных и смелых. Разнообразные фракции партии социалистов-революционеров и партии социал-демократии: народники, трудовики, террористы, большевики, меньшевики, пораженцы и пр. не испытывают недостатка в людях, доказавших свою решительность и смелость в заговорах, в ссылке, в из-

гнании. Назову лишь. Чхеидзе, Церетелли, Зиновьева и Аксельрода. Вот настоящие герои начинающейся драмы!

*Воскресенье, 18 марта.*

Я еще ничего не знаю о впечатлении, которое произвела русская революция во Франции, но боюсь иллюзий, которые она там может породить, и слишком легко откладываю темы, которые она рискует доставить социалистической фразеологии. Я считаю поэтому благоразумным предостеречь свое правительство и телеграфирую Бриану:

„Прощаясь в прошлом месяце с г. Думером и генералом Кастельно, я просил их передать г. президенту республики и вам растущее беспокойство, которое вызывало во мне внутреннее положение империи; я прибавил, что было бы грубой ошибкой думать, что время работает за нас, по крайней мере, в России; я приходил к выводу, что мы должны по возможности ускорить наши военные операции.

Я более, чем когда-либо, убежден в этом.

За несколько дней до революции я уже сообщал вам, что решения недавно происходившей конференции были уже мертвой буквой, что беспорядок в военной промышленности и в транспорте возобновился и еще усилился и пр. Способно-ли новое правительство быстро осуществить необходимые реформы? Оно искренно утверждает это, но я нисколько этому не верю. В военной и гражданской администрации царит

уже не беспорядок, а дезорганизация и анархия.

Становясь на самую оптимистическую точку зрения, на что можем мы рассчитывать? Я освободился бы от большой тревоги, если бы был уверен, что войска на фронте не будут заражены демагогическими крайностями и что дисциплина будет скоро восстановлена в гарнизонах внутри империи. Я еще не отказываюсь от этой надежды. Хочу также верить, что социал-демократы не предпримут непоправимых шагов для реализации своего желания кончить войну. Я, наконец, допускаю, что в некоторых районах страны может произойти как бы пробуждение патриотического одушевления. Все-таки произойдет ослабление национального усилия, которое и без того было уже слишком анемично и беспорядочно. И восстановительный кризис рискует быть продолжительным у расы, обладающей в такой малой степени духом методы и предусмотрительности".

Отправив эту телеграмму, я выхожу, чтобы побывать в нескольких церквах: мне интересно видеть, как держат себя верующие во время воскресной обедни с тех пор, как имя императора упразднено в общественных молитвах. В православной литургии беспрерывно призывали благословение божие на императора, императрицу, цесаревича и всю императорскую фамилию; молитва эта повторялась поминутно, как припев. По распоряжению святейшего синода молитва за царя упразднена и ничем не заменена. Я вхожу в Преображенский

собор, в церковь святого Симеона, в церковь святого Пантелеймона. Везде одна и та же картина: публика серьезная, сосредоточенная, обменивается изумленными и грустными взглядами. У некоторых мужиков вид растерянный, удрученный, у многих на глазах слезы. Однако, даже среди наиболее взволнованных я не вижу ни одного, который не был бы украшен красным бантом или красной повязкой. Они все поработали для Революции, они все ей преданы, и все-таки они оплакивают своего „батюшку-царя“.

Затем я отправляюсь в министерство иностранных дел.

Милюков говорит мне, что он вчера говорил со своими коллегами о формуле, которую надо будет включить в ближайший манифест Временного Правительства, относительно продолжения войны и сохранения союзов. И смущенно прибавляет:

— Я надеюсь провести формулу, которая вас удовлетворит.

— Как? Вы надеетесь?... Но мне нужна не надежда: мне нужна уверенность.

— Ну, что же? Будьте уверены, что я сделаю все возможное.. Но вы не представляете себе, как трудно иметь дело с нашими социалистами. А мы прежде всего должны избегать разрыва с ними. Не то—гражданская война.

— По каким бы мотивам вы не щадили неистовых из Совета, вы должны понять, что я не могу допустить никакой двусмысленности на счет вашей решимости сохранить ваши союзы и продолжать войну.

— Доверьтесь мне!

Милюков, впрочем, кажется, менее оптимистичен, чем вчера. Известия о Кронштадте, Балтийском флоте

и Севастополе, плохи. Наконец, на фронте беспорядки; были случаи убийства офицеров.

После полудня я иду погулять на Острова, более заброшенные, чем когда-либо и совсем еще занесенные снегом.

Припоминая свой утренний обход церквей, я задумываюсь над странным бездействием духовенства в Революции; оно не играло никакой роли: его нигде не видели; оно не проявило себя никак. Это воздержание, это исчезновение тем более удивительно, что не было торжества, церемонии, какого-либо акта общественной жизни, где церковь не выставляла бы на первом плане своих обрядов, костюмов, гимнов.

Об'яснение напрашивается само собой, и для того, чтобы формулировать его, мне достаточно было бы перелистать этот дневник. Во-первых, русский народ гораздо менее религиозен, чем кажется: он, главным образом, мистичен. Его беспрестанные крестные знамения и поклоны, его любовь к церковным службам и процессиям, его привязанность к иконам и реликвиям являются исключительно выражением потребностей его живого воображения. Достаточно немного проникнуть в его сознание, чтобы открыть в нем неопределенную, смутную, сентиментальную и мечтательную веру, очень бедную элементами интеллектуальными и богословскими, всегда готовую раствориться в сектантском анархизме. Надо затем принять во внимание строгое и унизительное подчинение, которое царизм всегда налагал на церковь и которое превращало духовенство в своеобразную духовную жандармерию, действующую параллельно с жандармерией военной. Сколько раз во время пышных служб в Александро-Невской лавре или Казанском соборе я вспоминал слова Наполеона I: „Ар-

хиепископ эго—полицейский префект". Наконец, надо принять в расчет позор, которым в последние годы Распутин покрыл святейший синод и епископат. Скандалы преосвященного Гермогена, преосвященного Варнавы, преосвященного Василия, преосвященного Питирима и стольких других глубоко оскорбили верующих. В тот день, когда народ восстал, духовенство могло только безмолвствовать. Но, может быть, когда наступит реакция, деревенские батюшки, сохранившие общение с деревенским населением, снова заговорят.

Мне передали вчера, что акт отречения императора был составлен Николаем Александровичем Базили, бывшим вице-директором кабинета Сазонова, который в настоящее время управляет дипломатической канцелярией главной квартиры; акт был якобы передан по телеграфу 14 марта из Пскова в Могилев, следовательно еще до того, как комиссары Думы, Гучков и Шульгин, покинули Петроград. Тут вопрос истории, который интересно было бы выяснить!

А сегодня, в конце второй половины дня, мне сделал визит Базили, которого генерал Алексеев прислал с поручением к Временному Правительству.

— Ну, что же,—говорю я ему,—так это вы, оказывается, составили акт отречения императора?

Он восклицает, сделав энергичное движение:

— Я отнюдь не считаю себя автором акта, который подписал император. Текст, который я приготовил по приказу генерала Алексеева, сильно разнился от этого.

И вот что он рассказывает мне:

— Утром 14 марта генерал Алексеев получил от председателя Думы Родзянко телеграмму, извещавшую его о том, что правительственные учреждения перестали функционировать в Петрограде и что единственное

средство избежать анархии—добиться отречения императора в пользу своего сына. Страшный вопрос встал тут перед начальником штаба Верховного Командования. Не грозило-ли отречение царя расколоть или даже разложить армию? Надо было немедленно об'единить всех военачальников вокруг одного решения. Генерал Рузский, главнокомандующий северного фронта, уже энергично высказался за немедленное отречение. Генерал Алексеев лично склонен был к такому же выводу, но дело было такое серьезное, что он счел долгом опросить по телеграфу всех других гланокомандующих: генерала Эверта, генерала Брусилова, генерала Сахарова и великого князя Николая Николаевича. Они все ответили, что император должен отречься в кратчайший срок.

— Какого числа у генерала Алексеева были в руках все эти ответы?

— 15 марта утром... Вот тогда-то генерал Алексеев поручил мне сделать ему доклад об условиях, при которых основные законы империи разрешали царю сложить власть. Я скоро подал ему записку, в которой я заявлял и доказывал, что, если бы император отрекся, он должен был бы передать власть своему законному наследнику—царевичу Алексею. „Я так и думал,—сказал мне генерал. Теперь приготовьте мне поскорей манифест в этом смысле“. Я скоро принес ему проект, в котором я развил, как мог лучше, мысли моей заметки, все время стараясь выдвинуть на первый план необходимость продолжать войну до победы. При начальнике главного штаба был его главный сотрудник, его верный квартирмейстер, генерал Лукомский. Я читаю ген. Алексееву проект. Он прочитывает его вслух и безоговорочно одобряет. Лукомский тоже одобряет. Документ немедленно передается по телеграфу в Псков, чтобы

быть представленным императору... На следующий день, 15 марта, незадолго до полуночи, генерал Данилов, генерал-квартирмейстер северного фронта, вызывает к телеграфному аппарату своего коллегу из Верховного Главного Командования, чтобы сообщить ему решение его величества. Я как раз находился в кабинете Лукомского вместе с великим князем Сергеем Михайловичем. Мы оба бросаемся в телеграфное бюро, и аппарат начинает при нас функционировать. На печатной ленте, которая развертывается перед нами, я тотчас узнаю свой текст... *Возвещаем всем нашим верноподданным... В дни великой борьбы с внешним врагом и пр.* Но каково же удивление всех нас троих, когда мы увидели, что имя цесаревича Алексея заменено именем Михаила. Мы с отчаянием смотрим друг на друга, потому что у нас является одна и та же мысль. Немедленное воцарение цесаревича было единственным средством остановить течение революции, по крайней мере, удержать ее в границах конституционной реформы. Во-первых, право было на стороне юного Алексея Николаевича. Кроме того, ему помогли бы симпатии, которыми он пользуется в народе и в армии. Наконец, а это было самое главное, императорский престол ни на минуту не оставался бы незанятым. Если бы цесаревич был об'явлен императором, никто не имел бы права заставить его потом отречься. То, что произошло с великим князем Михаилом, было бы невозможно с этим ребенком. Самое большее, могли бы ссориться из-за того, кому предоставить регентство. И Россия имела бы теперь национального вождя... Тогда как теперь, куда мы идем?..

— Увы, я боюсь, что события скоро докажут, что вы правы.. Вычеркнувши имя своего сына в мани-

фесте, который вы ему приготовили, он бросил Россию в страшную авантюру.

Поговорив некоторое время на эту тему, я спрашиваю Базили:

— Видели вы императора после его отречения?

— Да... 16 марта, когда император возвращался из Пскова в Могилев, генерал Алексеев послал меня к нему навстречу, чтобы ввести его в курс создавшегося положения. Я встретил его поезд в Орше и вошел в его вагон. Он был совершенно спокоен; мне, однако, тяжело было смотреть на его землистый цвет лица и синеву под глазами. Изложив ему последние петроградские события, я позволил себе сказать ему, что мы, в Ставке, были в отчаянии оттого, что он не передал своей короны цесаревичу. Он ответил мне просто: „Я не мог расстаться со своим сыном“. Я узнал потом от окружавших его, что император прежде, чем принять решение, советовался со своим хирургом, профессором Федоровым: „Я приказываю вам,—сказал он,—отвечать мне откровенно. Допускаете вы, что Алексей может вылечиться“.—„Нет, ваше величество, его болезнь неизлечима“.—„Императрица давно так думает; я еще сомневался... Уже если бог так решил, я не расстанусь со своим бедным ребенком“... Через несколько минут подали обед. Это был мрачный обед. Каждый чувствовал, как сердце его сжимается; не ели, не пили. Император, однако, очень хорошо владел собою, спрашивал несколько раз о людях, входящих в состав Временного Правительства; но так как воротник у него был довольно низкий, я видел, как беспрерывно сжималось его горло... Я покинул его вчера утром в Могилеве и выехал в тот же вечер в Петроград.

*Понедельник, 19 марта.*

Николай Романов, как отныне называют императора в оффициальных актах и в прессе, просил у Временного Правительства: 1) свободного проезда из Могилева в Царское Село, 2) возможности проживать в Александровском дворце до выздоровления его детей, которые больны корью, 3) свободного проезда из Царского Села в Порт Романов на мурманском берегу.

Правительство дало согласие.

Милюков, от которого я получил эти сведения, полагает, что император будет просить убежища у короля английского.

— Ему следовало бы,—сказал я,—поторопиться с от'ездом. Не то неистовые из Совета могли бы применить по отношению к нему прискорбные прецеденты.

Милюков, принадлежащий немного к школе Руссо и будучи лично воплощенной добротой, охотно верящий в природную доброту рода человеческого, не думает, чтобы жизнь царя и царицы были в опасности. Если он желает видеть их от'езд, это скорее для того, чтобы избавить их от ареста и процесса, которые доставили бы много хлопот правительству. Он подчеркивает необычайную кротость, обнаруженную народом в течение этой революции, небольшое число жертв, мягкость, так скоро сменившую насилия, и пр.

— Это верно,—говорю я ему,—народ очень скоро вернулся к своей природной мягкости, потому что он не страдает и весь отдается радости быть свободным. Но пусть даст себя почувствовать голод, и насилия тотчас возобновятся...

Я цитирую ему столь выразительную фразу Редерера в 1792 году:

„Оратору достаточно обратиться к голоду, чтобы добиться жестокости“.

*Вторник, 20 марта.*

Манифест Временного Правительства обнародован сегодня утром.

Это—длинный, многословный, напыщенный документ, покрывающий позором старый режим, обещающий народу все блага равенства и свободы. О войне едва говорится: Временное Правительство будет верно соблюдать все союзы и сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить армии все необходимое для доведения войны до победного конца. Ничего больше. Я тотчас отправляюсь к Милюкову и говорю ему буквально вот что:

— После наших последних бесед я не был удивлен выражениями, в которых обнародованный сегодня утром манифест говорит о войне; я тем не менее возмущен ими. Не заявлена даже решимость продолжать борьбу до конца, до полной победы. Германия даже не названа. Ни малейшего намека на прусский милитаризм. Ни малейшей ссылки на наши цели войны... Франция тоже делала революцию перед лицом врага. Но Дантон в 1792 г. и Гамбетта в 1870 г. говорили другим языком... У Франции, однако, не было тогда никакого союзника, который скомпрометтировал бы себя для нее.

Милюков слушал меня очень бледный, совершенно смущенный. Подыскивая свои выражения, он возражает мне, что манифест предназначен специально для русского народа, что, впрочем, политическое красноречие пользуется теперь гораздо более умеренным словарем, чем в 1792 и 1870 гг. Тогда я прочитываю ему при-

зыв, с которым наши социалисты Гед, Санба и Альбер Тома обратились через меня к русским социалистам, и мне нетрудно дать ему почувствовать, какое горячее одушевление, какая энергия решимости, какая воля к победе слышатся в этом призыве [1]).

Милюков, повидимому, страдающий душой, пытается привести, по крайней мере, смягчающие обстоятельства: трудность внутреннего положения и пр. И в заключение говорит:

— Дайте мне время!

— Никогда время не было дороже, действие неотложнее... Не сомневайтесь в том, что мне очень тяжело говорить так с вами. Но момент слишком серьезен, чтоб придерживаться дипломатических евфемизмов. Вопрос, который пред нами встает или, вернее, нас гнетет: да или нет, хочет-ли Россия продолжать сражаться бок-о-бок со своими союзниками до окончательной и полной победы, оставаясь верной принятым обязательствам, без задней мысли... Ваш талант, ваше

---

[1]) Текст телеграммы г.г. Жюля Геда, Санба и Тома г. Керенскому, министру юстиции Временного Правительства:

*Париж, 18 марта 1917 г.*

Мы адресуем министру-социалисту обновленного русского государства наши поздравления и братские пожелания.

Мы с глубоким волнением приветствуем вступление рабочего класса и русского социализма в свободное управление их страной.

Еще раз, как нашим предкам великой Революции, вам предстоит обеспечить одним и тем же усилием независимость народа и защиту родины.

Войной, доведенной до конца, героической дисциплиной солдат-граждан, влюбленных в свободу, мы должны разрушить последнюю и одновременно самую страшную твердыню абсолютизма: прусский милитаризм.

Мы призываем здесь, с радостной уверенностью, к новому усилию русский народ, напрягший все свои силы для войны. Именно победа, которую мы завоюем завтра своим энтузиазмом, дав мир миру, в то же время навсегда утвердит его преуспеяние и свободу.

*Жюль Гед, Марсель Санба, Альбер Тома.*

патриотическое и почетное прошлое служат мне гарантией в том, что вы скоро дадите мне ответ, которого я от вас ожидаю.

Милюков обещает мне поискать в ближайшем будущем случая вполне успокоить нас.

Пополудни я отправляюсь погулять в центр города и на Васильевский остров. Порядок почти восстановлен. Меньше пьяных солдат, меньше шумных абнд, меньше автомобилей с забронированными пулеметами, переполненных исступленными безумцами. Но повсюду митинги на открытом воздухе или, лучше, на открытом ветре. Группы немногочисленны: двадцать, самое большее тридцать человек,—солдаты, крестьяне, рабочие, студенты. Один из них взбирается на тумбу, на скамью, на кучу снега и говорит без конца с размашистыми жестами. Все присутствующие впиваются глазами в оратора и слушают с каким-то благоговением. Лишь только он кончил, его заменяет другой, и этого слушают с таким же страстным, безмолвным и сосредоточенным вниманием. Картина наивная и трогательная, когда вспоминаешь, что русский народ веками ждал права говорить.

Прежде, чем вернуться домой, я еду выпить чаю у княгини Р., на Сергиевской. Красавица г-жа Д., „Диана Удона“, в костюме тайер и собольей шапочке, курит папиросы с хозяйкой дома. Князь Б., генерал С. и несколько постоянных посетителей приходят один за другим. Эпизоды, которые рассказывают, впечатления, которыми обмениваются, свидетельствуют о самом мрачном пессимизме. Но одна тревога преобладает, одно и то же опасение у всех: раздел земли.

— На этот раз мы от этого не уйдем... Что будет с нами без наших земельных доходов?

В самом деле, для русского дворянства земельная рента—главный, часто единственный источник его богатства. Предвидят не только легальный раздел земель, легальную экспроприацию, но насильственную конфискацию, грабеж, жакерию. Я уверен, что те же разговоры происходят теперь по всей России.

Но входит в салон новый визитер, кавалергардский поручик с красным бантом на груди. Он несколько успокаивает собрание, утверждая, с цифрами в руках.

— Чтобы утолить земельный голод крестьян,—говорит он,—нет надобности сейчас трогать наши поместья. С удельными землями (девяносто миллионов десятин), с церковными и монастырскими землями (три миллиона десятин). У нас есть, чем утолять в течение довольно долгого времени земельный голод мужиков.

Все соглашаются с этими доводами; каждый успокаивается при мысли, что русское дворянство не потерпит слишком большого ущерба, если император, императрица, великие князья и великие княгини, церковь, монастыри будут безжалостно ограблены. Как говорил Ла Рошфуко, „у нас всегда найдутся силы перенести несчастье другого".

Отмечаю мимоходом, что одна из присутствующих особ владеет в Волынской губернии поместьем в 300.000 десятин.

Вернувшись в посольство, я узнаю, что во Франции министерский кризис, и Бриан уступает свое место Рибо.

*Среда, 21 марта.*

Уже несколько дней ходил слух в народе, что „гражданин Романов" и его супруга „немка Александра" тайно подготовляли при содействии умеренных мини-

стров: Львовых, Милюковых, Гучковых и пр. реставрацию самодержавия. Поэтому Совет потребовал вчера немедленного ареста бывших царя и царицы. Временное Правительство уступило. Четыре депутата Думы: Бубликов, Грибунин, Калинин и Вершинин выехали в тот же вечер в Ставку в Могилев с мандатом привезти императора.

Что касается императрицы, то генерал Корнилов отправился сегодня с конвоем в Царское Село. По прибытии в Александровский дворец он был тотчас принят царицей, которая выслушала без всякого замешательства решение Временного Правительства; она просила только, чтобы ей оставили всех слуг, которые ухаживают за больными детьми, что ей и было разрешено. Александровский дворец отрезан теперь от всякого сообщения с внешним миром.

Арест императора и императрицы очень взволновал Милюкова; он хотел бы, чтобы король Англии предложил им убежище на британской территории, обязавшись даже обеспечить их неприкосновенность; он просил поэтому Бьюкенена телеграфировать немедленно в Лондон и настаивать, чтобы ему ответили очень *спешно*.

Это последний шанс спасти свободу и, может быть, жизнь этих несчастных. Бьюкенен тотчас возвращается к себе в посольство, чтоб передать своему правительству предложение Милюкова.

После полудня, проезжая по Миллионной, я замечаю великого князя Николая Михайловича. Одетый в цивильный костюм, похожий с виду на старого чиновника, он бродит вокруг своего дворца. Он открыто перешел на сторону Революции и сыплет оптимистическими заявлениями. Я его достаточно знаю, чтобы не сомневаться

в его искренности, когда он утверждает, что отныне падение самодержавия обеспечивает спасение и величие России; но я сомневаюсь, чтобы он долго сохранял свои иллюзии, и желаю ему, чтобы он не потерял их, как потерял свои иллюзии Филипп-Эгалитэ. Во всяком случае, что касается прошлого, он морально старался открыть глаза императору на близкую катастрофу; он недавно даже имел мужество обратиться к нему со следующим письмом, которое он сообщил мне сегодня утром:

„Ты часто выражал волю вести войну до победы. Но неужели же ты думаешь, что эта победа возможна при настоящем положении вещей?

Знаешь ли ты внутреннее положение империи? Говорят ли тебе правду? Открыли ли тебе, где находится корень зла?

Ты часто говорил мне, что тебя обманывают, что ты веришь лишь чувствам твоей супруги. А между тем, слова, которые она произносит,—результат ловких махинаций и не представляют истины. Если ты бессилен освободить ее от этих влияний, будь, по крайней мере, беспрерывно настороже против интриганов, пользующихся ею, как орудием. Удали эти темные силы, и доверие твоего народа к тебе, уже наполовину утраченное, тотчас снова вернется тебе.

Я долго не решался сказать тебе правду, но я на это решился с одобрения твоей матери и твоих двух сестер. Ты находишься накануне новых волнений. Я скажу больше: накануне покушения. Я говорю все это для спасения твоей жизни, твоего трона и твоей родины“.

*Четверг, 22 марта.*

Император прибыл сегодня утром в Царское Село.

Его арест в Могилеве не вызвал никакого инцидента; его прощание с офицерами, которые его окружали и из которых многие плакали, было банально, поразительно просто... Но приказ, которым он прощается с армией, не лишен величия:

„Я обращаюсь к вам в последний раз, столь дорогие моему сердцу солдаты. С тех пор, как я отказался от своего имени и от имени моего сына от русского трона, власть передана Временному Правительству, образованному по инициативе Государственной Думы.

Да поможет бог этому правительству повести Россию к славе и преуспеянию... Да поможет бог и вам, доблестные солдаты, защитить вашу родину от жестокого врага. В течение двух с половиной лет вы ежечасно выносили испытания тяжелой службы; много было пролито крови, сделаны были огромные усилия, и уже близок час, когда Россия и ее славные союзники общими усилиями сломят последнее сопротивление врага.

Эта беспримерная война должна быть доведена до окончательной победы. Кто думает в этот момент о мире—предатель России.

Я твердо убежден, что воодушевляющая вас безграничная любовь к нашей прекрасной родине не угасла в ваших сердцах. Да благословит вас бог и да поведет вас к победе великомученик Георгий".

Возвращаясь после визита на Адмиралтейскую набережную, я прохожу по улице Глинки, где живет великий князь Кирилл Владимирович, и вижу, что на его дворце развевается... красное знамя.

*Пятница, 23 марта.*

Бьюкенен заявил сегодня утром Милюкову, что король Георг, согласно с мнением своих министров,

предлагает императору и императрице убежище на британской территории; он отказывается обеспечить их неприкосновенность, но выражает надежду видеть их в Англии до конца войны. Милюков, повидимому, очень тронут этой декларацией, но грустно прибавляет:

— Увы! я боюсь, что слишком поздно.

В самом деле, со дня на день, я сказал бы, почти с часу на час, я вижу, как утверждается тирания Совета, деспотизм крайних партий, засилие утопистов и анархистов.

В виду того, что последние сообщения печати свидетельствуют о том, что в Париже питают странные иллюзии на счет русской Революции, я телеграфирую Рибо:

„Несмотря на величие фактов, совершившихся за последние десять дней, события, при которых мы присутствуем, по-моему, являются лишь прелюдией. Силы, призванные играть решительную роль в конечном результате Революции (например: крестьянские массы, священники, евреи, инородцы, бедность казны, экономическая разруха и пр.), еще даже не пришли в действие. Поэтому невозможно уже теперь установить логический и положительный прогноз о будущем России. Доказательством этого являются радикально противоречащие одно другому предсказания, которые я собрал от лиц, чья независимость суждения и ум внушают мне наибольшее доверие. По мнению одних, несомненно об'явление Республики. По мнению других, неизбежна реставрация империи в конституционных формах.

Но если ваше превосходительство готово удовольствоваться пока моими впечатлениями, которые насквозь проникнуты мыслью о войне, вот как мне представляется ход событий:

1) Когда придут в действие силы, на которые я только-что указал? До сих пор русский народ нападал исключительно на династию и на чиновничью касту. Вопросы экономические, социальные, религиозные не замедлят возникнуть. Это—вопросы страшные, с точки зрения войны, потому что славянское воображение, далекое от того, чтобы быть конструктивным, как воображение латинское или англо-саксонское, в высшей степени анархично и разбросано. Пока эти вопросы не будут решены, общественное мнение будет занято ими. А между тем, мы не должны желать, чтобы это решение было близко, потому что оно не пройдет без глубоких потрясений. Итак, нам приходится ждать того, что в течение довольно долгого периода усилие России будет ослаблено или ничтожно.

2) Готов ли русский народ продолжать борьбу до полной победы?—Россия содержит в себе столько различных рас и этнические антагонизмы в некоторых районах так обострены, что национальная идея далека от единства. Конфликт социальных классов тоже отражается на патриотизме. Так, например, рабочие массы, евреи, жители прибалтийских губерний, видят в войне лишь бессмысленную бойню. С другой стороны, войска на фронте и исконное русское население нисколько не отказались от своей надежды и своей воли к победе. Если бы я подчеркивал свою мысль, чтобы выразить ее рельефнее, я склонен был бы сказать: „В настоящей фазе Революции Россия не может ни заключить мира, ни вести войны".

Великий князь Кирилл Владимирович поместил вчера в „Петроградской Газете" длинное интервью, в котором нападает на свергнутых царя и царицу:

„Я не раз спрашивал себя,—говорит он:—не сообщница ли Вильгельма II бывшая императрица; но всякий раз я силился отогнать от себя эту страшную мысль".

Кто знает, не послужит ли скоро эта коварная инсинуация основанием для страшного обвинения против несчастной царицы. Великий князь Кирилл должен был бы знать и вспомнить, что самые гнусные клеветы, от которых пришлось Марии Антуанетте оправдываться перед революционным трибуналом, первоначально возникли на тонких ужинах графа д'Артуа.

Около пяти часов я отправляюсь к Сазонову в Европейскую гостиницу, где он уже три недели лечится от упорного бронхита. Я застаю его очень грустным, но не утратившим бодрости. Как я и ожидал, он видит в настоящих несчастьях России перст божий:

— Мы заслуживали кары... Я не думал, что она будет так сурова... Но бог не может хотеть, чтобы Россия погибла... Россия выйдет очищенной из этого испытания.

Затем он в суровых выражениях говорит об императоре:

— Вы знаете, как я люблю императора, с какой любовью я служил ему. Но никогда не прощу ему, что он отрекся за сына. Он не имел на это права... Существует ли какое бы то ни было законодательство, которое разрешило бы отказываться от прав несовершеннолетнего? Что же сказать, когда дело идет о самых священных, августейших правах в мире!.. Прекратить таким образом существование трехсотлетней династии, грандиозное дело Петра Великого, Екатерины II, Александра I!.. Какая слабость, какое несчастье!

Глаза его полны слез.

Вчера вечером гроб Распутина был тайно вынесен из склепа в часовне, где он был погребен в Царском Селе, и доставлен в Парголовский лес, верстах в пятнадцати к северу от Петрограда. Там, посреди прогалины, несколько солдат, под командой саперного офицера, устроили большой костер из сосновых ветвей. Отбив крышку гроба, они вытащили из него труп при помощи жердей, так как не решались прикоснуться к нему руками из-за его разложения, и не без труда втащили его на кучу дров. Затем, полив его керосином, зажгли. Сожжение продолжалось больше десяти часов, до самой зари. Несмотря на нестерпимо холодный ветер, несмотря на томительную продолжительность операции, несмотря на клубы едкого и зловонного дыма, вырывавшиеся из пылавшего костра, несколько сот мужиков всю ночь теснились вокруг костра, онемевшие, неподвижные, глядя с растерянным изумлением на святотатственное пламя, медленно пожиравшее старца-мученика, друга царя и царицы, „божьего человека“. Когда пламя сделало свое дело, солдаты собрали пепел и погребли его под снегом.

Изобревшие этот зловещий эпилог имеют предтеч в итальянском средневековье; ибо воображение человеческое не обновляет бесконечно форм выражения своих страстей и стремлений.

В лето 1266-е Манфред, незаконный сын Фридриха II, король-узурпатор обеих Сицилий, убийца, клятвопреступник, осквернивший себя симонией, еретик, запятнанный всеми преступлениями, отлученный от церкви, погиб в бою с Карлом Анжуйским на берегах Калоры, у Беневента. Его полководцы и солдаты, обожавшие его за его молодость, красоту, щедрость и обаятельность, устроили ему трогательные похороны на том

самом месте, на котором он испустил дух. Но год спустя папа Климент IV приказал возобновить против этого злодея, недостойного покоиться в святой земле, папскую процедуру анафемы и проклятия. По его приказанию, архиепископ Казенцы велел выкопать труп и провозгласил над этими неузнаваемыми останками беспощадный приговор, обрекающий отлученного аду: „Jn ignem aeternum judicamus...“ Служба совершилась ночью, при свете факелов, которые гасили один за другим до полного мрака, после чего разрозненные останки Манфреда были рассеяны по полю.

Эта трагическая и поэтичная сцена сильно взволновала современников; она даже внушила Данте одно из прекраснейших мест в „Божественной Комедии“. Поднимаясь на крупную гору чистилища, поэт видит тень молодого принца, которая приближается к нему, называет его по имени и говорит ему: „Я—Манфред, мои грехи были ужасны. Тем не менее, бесконечная благость божья так необ'ятно велика, что она принимает всех, кто обращается к ней. Если пастырь из Казенцы, который был послан Климентом для охоты за моими костями, сумел бы узреть милостивый лик божий, мои кости покоились бы по сие время близ моста, у Беневента, под тяжелым камнем. Теперь мочит их дождь, обдувает ветер на берегах реки, на которых рассеяли их, потушив факелы, архиепископ со своими священниками. Но, на проклятье им, божественная любовь не так далеко изгнана, чтобы не могла вернуться, пока достаточно жива еще в нас надежда, чтобы зацвести последним цветом“.

Я хотел бы иметь возможность предложить эту цитату бедной заключенной царице.

## IX. К анархии.

*Суббота, 24 марта.*

Совет узнал, что король Англии предлагает убежище императору и императрице на британской почве. По требованию „большевиков“, Временное Правительство вынуждено обещать не выпускать из пределов России свергнутых царя и царицу. Совет, кроме того, назначил комиссара для контроля за заключением императорской фамилии.

С другой стороны, Центральный Комитет Совета принял вчера следующие постановления:

1) Немедленное открытие переговоров с рабочими враждебных государств;

2) „Систематическое братание“ русских и неприятельских солдат на фронте;

3) Демократизация армии;

4) Отказ от всяких завоевательных планов.

Это нам обещает недурные дни.

В шесть часов я отправляюсь в Мариинский дворец с моими коллегами Бьюкененом и Карлотти, чтобы принять участие в церемонии оффициального признания Временного Правительства.

Это—прекрасное здание, подаренное некогда Николаем I своей любимой дочери, герцогине Лейхтенбергской, сделавшееся затем местопребыванием Государ-

ственного Совета, имеет уже другой вид. В вестибюле, где раньше благодушествовали лакеи в пышной придворной ливрее, оборванные, грязные, наглые солдаты курят, валяются на скамейках. С начала Революции большая мраморная лестница не подметалась. Тут и там разбитое стекло, царапина от пули на панно свидетельствуют о том, что на Исаакиевской площади происходил жаркий бой.

Нас никто не принимает, несмотря на торжественность акта, который мы будем совершать.

Я вспоминаю тут же церемонию „в августейшем присутствии его величества императора". Какой порядок! Какая пышность! Какая иерархия! Если бы обер-церемониймейстер барон Корф или его оруженосцы: Толстой, Евреинов, Куракин увидели бы нас теперь, они упали бы в обморок от стыда.

Приходит Милюков; он вводит нас в один салон, потом в другой, потом в третий, не зная, на чем остановиться, ища на стенах ощупью электрическую кнопку, чтобы осветить комнату.

— Здесь,—говорит он нам, наконец,—здесь, я думаю, нам будет удобно.

И он отправляется за своими коллегами, которые тотчас являются. Все они в рабочих пиджаках с портфелями под мышками.

После Бьюкенена и Карлотти, которые старше меня, я произношу торжественную фразу:

— Имею честь об'явить вам, господа, что правительство Французской Республики признает в вас Временное Правительство России.

Затем, по примеру моих английского и итальянского коллег, я приветствую несколькими теплыми фразами

новых министров; я настаиваю на необходимости продолжать войну до конца.

Милюков отвечает самыми успокоительными уверениями.

Его речь достаточно пространна, чтобы дать мне время рассмотреть этих импровизированных хозяев России, на которых тяготеет такая страшная ответственность. Одно и то же впечатление патриотизма, ума, честности остается от всех. Но какой у них обессиленный вид от утомления и забот! Задача, которую они взяли на себя, явно превосходит их силы. Как бы они не изнемогли слишком рано! Только один из них, кажется, человек действия: министр юстиции Керенский. Тридцати пяти лет, стройный, среднего роста, с бритым лицом, волосы ежиком, с пепельным цветом лица, с полуопущенными веками, из-под которых сверкает острый и горячий взгляд, он тем более поражает меня, что держится в стороне, позади всех своих коллег: он, повидимому, самая оригинальная фигура Временного Правительства и должен скоро стать его главной пружиной.

Одним из самых характерных явлений революции, только-что свергнувшей царизм, это—абсолютная пустота, мгновенно образовавшаяся вокруг царя и царицы в опасности.

При первом же натиске народного восстания все гвардейские полки, в том числе и великолепные лейб-казаки, изменили своей присяге в верности. Ни один из великих князей тоже не поднялся на защиту священных особ царя и царицы: один из них не дождался даже отречения императора, чтобы предоставить свое войско в распоряжение инсуррекционного правительства. Наконец, за несколькими исключениями, тем бо-

лее заслуживающими уважения, произошло всеобщее бегство придворных, всех этих высших офицеров и сановников, которые в ослепительной пышности церемоний и шествий выступали в качестве прирожденных стражей трона и присяжных защитников императорского величества. А между тем, долгом не только моральным, но военным, прямым долгом для многих из них было окружить царя и царицу в опасности, пожертвовать собой для их спасения или, по крайней мере, не покидать их в их великом несчастии.

Я наблюдал это еще сегодня вечером на интимном обеде у г-жи Р. По происхождению или по должности все приглашенные, человек двенадцать, занимали очень видные места в исчезнувшем режиме.

За столом, за первым же блюдом, смолкает гул отдельных разговоров. Завязывается общий разговор о Николае II. Несмотря на его настоящее тяжелое положение, несмотря на страшные перспективы его ближайшего будущего, все акты его царствования подвергаются самому суровому осуждению; его осыпают упреками за старое и недавнее прошлое. Так как я, тем не менее, выражаю сожаление по поводу того, что видел, как скоро его покинули его друзья, его гвардия и двор, г-жа Р. не утерпела:

— Да, это он нас покинул; он нас предал; он не исполнил своего долга; это он поставил нас в невозможность защищать его. Не его предали родня, гвардия и двор, а он предал весь свой народ...

Французские эмигранты рассуждали точно также в 1791 г.; они тоже полагали, что Людовик XVI, предавший королевское дело, должен был пенять лишь на себя за свое несчастье. И его арест, после бегства в Варенн, мало огорчил их. Один содержатель гости-

ницы в Брюсселе говорил одному из них, который, в виде исключения, оплакивал это событие: „Утешьтесь, мосье, этот арест—не такое большое несчастье. Сегодня утром у графа д'Артуа был, правда, вид несколько опечаленный; но другие господа, которые сидели с ним в экипаже, казались очень довольными“.

*Воскресенье, 25 марта.*

Я решил дать на этих днях банкет Временному Правительству, чтобы завязать с ним более близкие отношения и дать ему публичное выражение симпатии. Во всяком случае, прежде, чем разослать приглашения, я считал благоразумным неоффициально предупредить коекого из министров. И хорошо сделал... П., взявший на себя задачу позондировать почву, ответил мне сегодня, что моим вниманием очень тронуты, но боятся, что оно будет дурно истолковано крайними элементами, и просят меня отложить осуществление моего проекта.

Этой подробности достаточно было бы для того, чтобы показать, насколько Временное Правительство робко по отношению к Совету, как оно боится высказаться за союзников и войну.

Впрочем, на вибрирующий от патриотизма призыв, с которым французские социалисты обратились 18 марта к своим русским товарищам, Керенский недавно ответил телеграммой, которая, я надеюсь, не оставит у „французской демократии“ ни малейшей иллюзии о концепции, созданной себе „русской демократией“ об Аллиансе и о войне [1]).

---

[1]) Телеграмма русского министра юстиции, посланная Жюлю Геду, члену французской палаты депутатов в Париже:

Я глубоко тронут братским приветом, с которым вы вместе с Марселем Санба и Альбером Тома обратились ко мне.

Временное Правительство известило Совет о том, что, с согласия Бьюкенена, оно воздержалось от передачи императору телеграммы, которой король Георг предложил императорской фамилии убежище на британской территории.

Упорствуя, однако, в своем недоверии, Исполнительный Комитет Совета расставил „революционные" посты в Царском Селе и на всех расходящихся от него дорогах с целью помешать, чтобы царь и царица не были увезены тайком.

*Понедельник, 26 марта.*

Художник и историк искусства, Александр Николаевич Бенуа, с которым я поддерживаю частые и дружеские сношения, неожиданно зашел ко мне. Родом из французской семьи, поселившейся в России около 1820 года, это—один из образованнейших людей, каких я знаю здесь, и один из самых почтеннейших. Я провел много прелестных часов в его ателье на Васильевском острове в беседе с ним de omni re scibili et quibusdam aliis. Даже с точки зрения политической бе-

---

Мы никогда не сомневались в полной симпатии и моральной поддержке, которые мы встречаем в нашей борьбе со стороны французского социализма.

Русский народ свободен. Благодаря жертвам, принесенным рабочим классом и революционной армией, уничтожен русский царизм, который всегда служил оплотом всемирной реакции. Народ сам теперь будет строить свою жизнь.

Приветствуя героические усилия республиканской и демократической Франции для защиты родной земли в единодушной резолюции о доведении войны до конца, достойного демократии, русские социалисты верят в интернациональную солидарность трудовых классов в борьбе за победу и над реакционным и насильственным империализмом и за связанный с нею мир, столь необходимый для развития человеческой личности.

А. Керенский,

министр юстиции, товарищ председателя Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

седа с ним часто была для меня драгоценна, потому что у него много связей не только с цветом представителей искусства, литературы и университетской науки, но и с главными вождями либеральной оппозиции и „кадетской“ партии. Не раз я получал через него интересные сведения об этих слоях общества, куда еще недавно мне так был труден, почти воспрещен доступ. Его личное мнение, всегда основательное и глубокое, имеет тем больше цены в моих глазах, что он — в высшей степени характерный представитель того активного и культурного класса профессоров, ученых, врачей, публицистов, представителей искусства и литературы, который называется интеллигенцией.

Итак, он сегодня зашел ко мне около трех часов как раз, когда я собирался уйти. Он серьезен и садится с усталым жестом:

— Извините, что я вас беспокою. Но вчера вечером несколько моих друзей и я были взволнованы такими мрачными идеями, что я испытываю потребность сообщить их вам.

Затем в поразительной и, к несчастью, слишком верной картине он описывает мне результаты анархии в народе, апатии в правящих кругах и недисциплинированность в армии. И в заключение заявляет:

— Как ни тяжело для меня это признание, я думаю, что выполняю некий долг, заявляя вам, что война не может дольше продолжаться. Надо возможно скорее заключить мир. Конечно, я знаю, честь России связана ее союзами, и вы достаточно знаете меня для того, чтобы поверить, что я понимаю все значение этого соображения. Но необходимость — закон истории. Никто не обязан исполнять невозможное.

Я ему отвечаю:

— Вы только - что произнесли очень серьезные слова. Чтобы опровергнуть их, я стану на точку зрения совершенно об'ективную, как мог бы сделать человек нейтральный, беспристрастный и незаинтересованный, значит, оставляя в стороне моральный приговор, который Франция имела бы право вынести России... Прежде всего знайте, что что бы ни случилось, Франция и Германия будут вести войну до полной победы. Банкротство России, вероятно, затянуло бы борьбу, но не изменило бы результата. Как бы быстро ни пошло разрушение вашей армии, Германия не решится, однако, немедленно обнажить ваш фронт; ей нужны были бы, впрочем, значительные силы, чтобы обеспечить себе на вашей территории новые гарантии. Двадцати или тридцати дивизий, которые она могла бы снять с восточного фронта, чтобы усилить свой западный фронт недостаточно было бы для того, чтобы избавить ее от поражения. Затем можете не сомневаться, что в тот день, как Россия изменит своим союзникам они от нее откажутся. Следовательно, у Германии была бы полная свобода компенсировать на ваш счет жертвы, к которым вынудили бы ее с другой стороны. Я, конечно, не предполагаю, что вы возлагаете какую бы то ни было надежду на великодушие Вильгельма II... Вы потеряли бы таким образом, по меньшей мере, Курляндию, Литву, Польшу, Галицию и Бессарабию; я уже не говорю о вашем престиже на Востоке и о ваших планах на Константинополь. Что касается Франции и Англии, не забывайте, что у них остаются огромные гарантии по отношению к Германии: господство над морями, немецкие колонии, Месопотамия и Салоники... Наконец, ваши союзники обладают, сверх того, финансовым могуществом, которое будет удвоено, утроено

помощью Соединенных Штатов. Мы можем поэтому продолжать войну так долго, как понадобится... Итак, каковы бы ни были трудности настоящего момента, соберите вашу энергию и не думайте ни о чем, кроме войны. Дело идет не только о чести России; дело идет о ее благосостоянии, величии и, может быть, о ее национальной жизни.

Он продолжает:

— Увы! Я ничего не нахожу, чтобы вам ответить... А между тем, мы не в состоянии дольше продолжать войну. Право же, мы больше не в состоянии.

С этими словами он покидает меня со слезами на глазах. Вот уже несколько дней я везде констатирую тот же пессимизм.

*Вторник, 27 марта.*

Еще 14 марта, т. е. еще до отречения императора и образования Временного Правительства, Совет обнародовал приказ по армии, приглашающий войска немедленно приступить к выборам представителей в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Этот приказ, кроме того, устанавливал, что в каждом полку должен быть избран комитет, чтобы обеспечить контроль над употреблением всех родов оружия: винтовок, пушек, пулеметов, блиндированных автомобилей и пр.; ни в коем случае употребление этого оружия не могло дольше зависеть от офицеров. В заключение приказ отменял все внешние знаки отличия и предписывал, чтоб впредь „все недоразумения между офицерами и солдатами“ разбирались ротными комитетами. Этот великолепный документ, подписанный Соколовым, Нахамкесом и Скобелевым, в тот же вечер был разослан по телеграфу на все фронты; передача по телеграфу

была бы, впрочем, невозможна, если бы повстанцы не заняли с самого начала бюро военного телеграфа.

Как только Гучков вступил в управление военным министерством, он стал стараться заставить Совет отменить необычайный приказ, равносильный ни больше, ни меньше, как разрушению всякой дисциплины в армии.

После долгих переговоров Совет согласился заявить, что приказ не будет применен в войсках на фронте. Осталось, тем не менее, моральное действие от его опубликования. И по последним телеграммам генерала Алексеева, недисциплинированность делает страшные успехи в войсках на фронте.

Я с болью думаю о том, что немцы в восьмидесяти километрах от Парижа...

*Среда, 28 марта.*

Новый манифест Совета, который обращается на этот раз к „народам всего мира“. Это бесконечное извержение напыщенных слов, длинный мессианический дифирамб:

— Мы, рабочие и солдаты России, возвещаем вам великое событие, русскую Революцию, и обращаемся к вам с горячими пожеланиями... Наша победа—великая победа всемирной свободы и демократии... И мы прежде всего обращаемся к вам, братья-пролетарии германской коалиции. Сбросьте, следуя нашему примеру, ярмо вашей полу-самодержавной власти, не соглашайтесь более быть орудием завоевания в руках ваших королей, помещиков, банкиров и пр.

Я жду ответа германского пролетариата.

*Четверг, 29 марта.*

С момента крушения царизма все митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, архи-

ереи, иеромонахи, из которых состояла церковная клиентела Распутина, переживают тяжелые дни. Везде им пришлось увидеть, как против них восставали не только революционная клика, а еще и их пасомые, часто даже их подчиненные. Большинство из них более или менее добровольно сложили с себя свои обязанности; многие в бегах или в заключении.

После непродолжительного ареста петроградскому митрополиту высокопреосвященному Питириму удалось добиться разрешения отправиться для покаяния в один сибирский монастырь. Та же участь постигла московского митрополита, высокопреосвященного Макария, харьковского архиепископа преосвященного Антония, архиепископа Тобольского, преосвященного Варнаву, епископа черниговского, преосвященного Василия и пр.

*Пятница, 30 марта.*

Самый опасный зародыш, заключающийся в Революции, развивается, вот уже несколько дней, с ужасающей быстротой. Финляндия, Лифляндия, Эстляндия, Польша, Литва, Украина, Грузия, Сибирь требуют для себя независимости или, по крайней мере, полной автономии.

Что Россия обречена на федерализм, это вероятно. Она предназначена к этому беспредельностью своей территории, разнообразием населяющих ее рас, возрастающей сложностью ее интересов. Но нынешнее движение гораздо более сепаратистское, чем областное, скорее сецесионистское, чем федералистское; оно стремится ни больше, ни меньше, как к национальному распаду. Да и Совет всеми силами способствует этому. Как не соблазниться неистовым и глупцам из Таври-

ческого дворца разрушить в несколько недель то, что исторически создано в течение десяти веков.

Французская Революция начала с об'явления Республики **е д и н о й и н е д е л и м о й.** Этому принципу принесены были в жертву тысячи голов, и французское единство было спасено. Русская Революция берет лозунгом: Россия раз'единенная и раздробленная...

*Суббота, 31 марта.*

Анархическая пропаганда заразила уже большую часть фронта.

Со всех сторон мне сообщают о сценах возмущения, об убийстве офицеров, о коллективном дезертирстве. Даже на передовой линии фронта группы солдат покидают свои части, чтобы отправиться посмотреть, что происходит в Петрограде или в их деревнях.

*Воскресенье, 1 апреля.*

Новый военный губернатор Петрограда, генерал Корнилов, старается мало-по-малу взять в руки войска гарнизона. Задача тем более трудная, что большинство офицеров были убиты, лишены погонов или прогнаны. Он назначил на сегодня утром смотр на площади Зимнего дворца и, очень основательно, собрал лишь лучшие элементы, части, в которых дисциплина наименее пострадала.

В первый раз со времени падения императорского режима собираются значительные силы в регулярном строю.

Из окон министерства иностранных дел я присутствую на смотру вместе с Бьюкененом и Нератовым. Войска,—тысяч десять человек,—одеты довольно хорошо и проходят стройно. Очень мало офицеров.

Все оркестры играют Марсельезу, но медленным темпом, что делает ее зловещей. В каждой роте, в каждом эскадроне я отмечаю несколько красных знамен со следующими надписями: Земля и Воля!.. Земля Народу!.. Да здравствует Социальная Республика!.. На очень немногих я читаю: Война до победы! Над Зимним дворцом развевается огромное красное знамя...

Зрелище необыкновенно поучительное. С точки зрения военной, я так резюмирую свое впечатление: в войсках дух дисциплины не совсем исчез, но они думают меньше о своих военных обязанностях, чем о своих надеждах на политическое и социальное обновление.

С точки зрения исторической и художественной меня занимает контраст. Я напоминаю Бьюкенену и Нератову грандиозную сцену 2 августа 1914 г., когда император появился на балконе этого самого дворца после того, как поклялся на Евангелии и на святой иконе, что он не подпишет мира, пока будет хоть один неприятельский воин на русской территории. В этот торжественный момент я стоял с ним рядом: он был серьезен и сиял. Больше, чем сегодня, огромная площадь была полна толпой солдат, буржуа, рабочих, мужиков, женщин, детей,—и вся эта толпа, склонившись под благословением батюшки-царя, пела гимн „боже, царя храни“.

> О, времена ушедшие, о, блеск затменный,
> Закатные за горизонтом солнца!

Пакет газет, из которых самая свежая опоздала датой на одиннадцать дней, прибыл из Парижа и подтверждает представление, которое я себе составил по ежедневным резюме, передаваемым по телеграфу: французская публика в восторге от русской революции. Наша пресса лишний раз обнаружила недостаток меры

и здравого смысла. Конечно, раз исчезновение царизма— совершившийся факт, приходилось приноравливаться к новому режиму и скрыть досаду. Следовательно, французскому общественному мнению надлежало сделать вид, будто оно принимает русскую Революцию с доверием и симпатией. Но не надо Осанны! Совет и так уже очень возгордился. Эти чрезмерные похвалы и восхищение в конец вскружат ему голову. Тут виновна главным образом цензура, которой следовало охладить усердие хвалителей. Кроме того, из личного письма, полученного с той же почтой, я узнаю, что в кулуарах Палаты Депутатов, в салонах, в редакциях сэру Джоржу Бьюкенену приписывают честь, будто он вызвал революцию, чтобы положить конец немецким интригам, что неверно. Прибавляют, как и следовало ожидать, несколько критических замечаний по моему адресу; вспоминают, что когда-то французская дипломатия не колебалась в серьезных обстоятельствах прибегать к серьезным средствам, что она тогда не давала себя остановить пустым уважением к законности. Мне противопоставляют пример моего знаменитого предшественника, маркиза де Ла Шетарди, который в 1741 г. не постеснялся смело скомпрометировать себя связью с национальной партией, чтобы уничтожить немецкое влияние и возвести на императорский трон Елизавету Петровну... Скоро узнают, что революция была самым губительным ударом, какой можно было нанести русскому национализму.

Сегодня вечером у меня обедал принц Шипионе Боргезе, бывший радикальный депутат в Монте Читорно, только-что прибывший в Петроград со своей дочерью, принцессой Сантой, оба очень либеральные и интеллигентные, оба сгорающие от желания видеть своими

глазами революцию.... и какую революцию! Другие мои гости: Половцевы, княгиня София Долгорукая; граф Сергей Кутузов, граф Нани Мочениго, Поклевский и др.

Я говорю о хорошем впечатлении, которое оставил во мне смотр сегодня утром. Половцев и Поклевский сообщают мне, наоборот, печальные известия, полученные с фронта.

Принц Боргезе, с которым я долго беседовал после обеда, спрашивает меня, какие черты меня больше всего поражают в русской революции и больше всего отличают ее, по моему мнению, от западных революций. Я ему отвечаю:

— Прежде всего, примите в расчет, что русская революция едва началась и что известные силы, которым суждено сыграть в ней огромную роль, как-то: аграрные вожделения, расовые антагонизмы, социальный распад, экономическая разруха, еврейская страстность действуют пока еще скрыто. С такой оговоркой вот что меня больше всего поражает.

И я несколькими примерами иллюстрирую следующие пункты:

1. Радикальное различие психологии революционера латинского или англо-саксонского от революционера-славянина. У первого воображение логическое и конструктивное; он разрушает, чтобы воздвигнуть новое здание, все части которого он предусмотрел и обдумал. У второго оно исключительно разрушительное и беспорядочное; его мечта—воплощенная неопределенность.

2. Восемь десятых населения России не умеют ни читать, ни писать, что делает публику собраний и митингов тем более чувствительной к престижу слова, тем более покорной влиянию вожаков.

3. Болезнь воли распространена в России эпидемически: вся русская литература доказывает это. Русские неспособны к упорному усилию. Война 1812 года была сравнительно непродолжительна. Нынешняя война своей продолжительностью и жестокостью превосходит выносливость национального темперамента.

4. Анархия с неразлучными с ней фантазией, ленью, нерешительностью—наслаждение для русского. С другой стороны, она доставляет ему предлог к бесчисленным публичным манифестациям, в которых он удовлетворяет свою любовь к зрелищам и к возбуждению, свой живой инстинкт поэзии и красоты.

5. Наконец, огромное протяжение страны делает из каждой губернии центр сепаратизма и из каждого города очаг анархии; слабый авторитет, какой еще остается у Временного Правительства, совершенно этим парализуется.

— Но какое же против этого средство?—спрашивает меня Боргезе.

— Надо, чтобы социалисты союзных стран доказали своим товарищам из Совета, что политические и социальные завоевания русской Революции погибнут, если предварительно не будет спасена Россия.

*Понедельник, 2 апреля.*

Из телеграммы из Парижа я узнаю, что министр снабжения Альбер Тома будет послан с чрезвычайной миссией в Петроград. Его патриотизм, его талант и сверх того, его социалистические убеждения делают его, кажется мне, более квалифицированным, чем кто бы то ни было, чтобы заставить Временное Правительство и Совет выслушать кое-какие неприятные истины. С дру-

гой стороны, он близко увидит русскую революцию и возьмет под сурдинку странный концерт лести и похвал, который она вызвала во Франции.

Сегодня утром я был на интимном обеде у княгини Ж.

Невеселы. Разговор не клеится. Каждый поглощен своими тайными мыслями, которые мрачны. Один только Б. говорит без умолку и, как всегда, выражает свой пессимизм сарказмами.

— Какую радость, — восклицает он, — какую гордость испытываю я, гуляя теперь по городу! Я беспрерывно повторяю себе: отныне все эти дворники, все эти извозчики, все эти рабочие — мои братья... Сегодня утром я встретил банду пьяных солдат; мне хотелось прижать их к своему сердцу.

Повернувшись к князю Ж., он продолжает:

— Михаил Константинович, поторопитесь отказаться от вашего богатства. Погрузитесь вполне лойяльно в нищету. Отдавайте скорей ваши земли народу, пока он их не отнял у вас. Полагайте ваше счастье лишь в том, чтобы быть бедным и свободным.

Эта горькая ирония мало нравится аудитории.

Говоря более серьезно, Б. делает со мной обзор общего положения России, главных обозначившихся течений, страшных перспектив, которые открываются со всех сторон. Мы перебираем все вопросы политические, социальные, экономические, религиозные, этнические, которые уже в настоящий момент встают перед русским народом, не считая страшного вопроса войны, который ставит на карту самую жизнь России.

— Я предвижу, — говорю я, — длинный период анархии. После нее — диктатура.

— Да,—отвечает Б...—открылась новая эра в истории России, эра испано-американская.. О, Парфирио Диац, когда ты придешь?

Я, между прочим, рассказываю ему, что с воскресенья 25 марта в соборе Богоматери в Париже не поют больше Domine, salvum fac Imperatorem nostrum Nicolaum. После Domine, отныне: salvam fac Rempublicam. Ждут новой формулы для молитвы за Правительство, вышедшее из Революции.

— Формулу нетрудно найти, — возражает Б.:—Domine, salvam fac crapulam nostram ruthenam!

*Вторник, 3 апреля.*

Милюков очень смущен тем, что происходит в Кронштадте, большой морской крепости, защищающей подступы к Петрограду со стороны Финского залива.

Город (около 55000 жителей) не признает ни Временного Правительства, ни Совета. Войска гарнизона, насчитывающие не менее 20.000 человек, находятся в состоянии открытого возмущения. Перебив половину своих офицеров, они удерживают двести человек их в качестве заложников, которых они принуждают к самым унизительным работам, как: подметание улиц, черная работа в порту.

В Гельсингфорсе та же анархия.

В Шлиссельбурге город управляется повстанческой Коммуной, первым актом которой было договориться с союзом немецких военнопленных. По настояниям этого союза, человек шестьдесят пленных эльзас-лотарингцев, для которых я добился привилегированного положения, были подвергнуты суровому заключению.

В пять часов я делаю визит великому князю Николаю Михайловичу в его дворце, наполненном памятниками наполеоновской эпохи.

После Революции впервые я имею случай беседовать с ним.

Он корчит из себя оптимиста; я на это отвечаю лишь молчанием. Он, впрочем, настаивает не больше, чем полагается, и, чтобы я не считал его слишком ослепленным событиями, он изрекает следующий осторожный вывод:

— Пока такие серьезные люди и патриоты, как князь Львов, Милюков и Гучков останутся во главе Правительства, я буду преисполнен надежды. Если они не устоят, это будет скачок в неизвестность.

— В первой главе бытия эта неизвестность обозначена точным названием.

— Каким названием?

— Тогу-богу, что значит хаос.

*Среда, 4 апреля.*

Вчера министр юстиции Керенский отправился в Царское Село лично проконтролировать охрану бывших царя и царицы. Он нашел все в порядке.

Граф Бенкендорф, обер-гофмаршал, князь Долгоруков, гофмаршал, г-жа Нарышкина, обер-гофмейстерина, г-жи Буксгевден и Гендрикова, фрейлины, наконец, швейцарец, наставник цесаревича Жильяр делят заключение со своими монархами. Г-жа Вырубова, которая тоже жила в Александровском дворце, была схвачена, увезена в Петроград и заключена в Петропавловскую крепость в знаменитый Трубецкой бастион.

Керенский беседовал с императором. Именно он спросил его, правда ли, как утверждали немецкие га-

зеты, что Вильгельм II несколько раз советовал ему повести более либеральную политику.

— Как раз наоборот!—воскликнул император.

Беседа продолжалась в самом любезном тоне. Керенский, в конце-концов, даже был очарован приветливостью, естественно, излучающейся из Николая II, и он несколько раз спохватывался, что называл его:

— Государь...

Императрица, напротив, замкнулась в своей холодности.

От'езд г-жи Вырубовой не подействовал на нее, по крайней мере, так, как можно было ожидать. После того, как она была так страстно, так ревниво привязана к ней, она вдруг взвалила на нее ответственность за все несчастия, постигшие императорскую фамилию в России.

Ненавистная Энона довела до остального!

*Четверг, 5 апреля.*

Я отправляю Рибо телеграмму:

„Некоторые петроградские газеты перепечатали статью из „Радикала“, доказывающую необходимость переменить представителя Республики в России. Не мне брать на себя инициативу выразить пожелание по существу вопроса. С другой стороны ваше превосходительство знает меня достаточно, чтобы быть уверенным, что в таких случаях мне чуждо всякое соображение личного характера. Но статья „Радикала“ налагает на меня долг сказать вам, что после того, как я имел высокую честь быть в течение более трех лет представителем Франции в Петрограде, в сознании, что я не щадил никаких усилий, я не испытал бы никакого огорчения, если бы меня освободили от моей тяжелой

задачи и что если бы правительство республики сочло полезным назначить мне преемника, я всеми силами содействовал бы смягчению перехода".

Несколько мотивов диктуют мне эту телеграмму.

Прежде всего, может быть, интересы службы требуют, чтобы я был уволен от своих обязанностей, ибо я пользовался доверием старого режима и не питаю никакого доверия к новому режиму. Затем я чувствую отсюда кампанию, которую должны вести против меня левые партии Палаты Депутатов. Если я должен быть отозван, я хочу, по крайней мере, забежать вперед; я всегда ценил афоризм Сент-Бева: „Надо покидать раньше, чем нас покинут"...

Сегодня большая церемония на Марсовом поле, где торжественно погребают жертвы революционных дней, „народных героев", „мучеников свободы". Длинный ров вырыт вдоль поперечной оси площади. В центре трибуна, задрапированная красным, служит эстрадой для правительства.

Сегодня с утра огромные, нескончаемые шествия с военными оркестрами во главе, пестря черными знаменами, извивались по городу, собрав по больницам двести десять гробов, предназначенных для революционного апофеоза. По самому умеренному расчету число манифестантов превышает девятьсот тысяч. А между тем, ни в одном пункте по дороге не было беспорядка или опоздания. Все процессии соблюдали при своем образовании, в пути, при остановках, в своих песнях, идеальный порядок. Несмотря на холодный ветер, я хотел видеть, как они будут проходить по Марсову полю. Под небом, закрытым снегом и разрываемым порывами ветра, эти бесчисленные толпы, которые медленно двигаются, эскортируя красные гробы,

представляют зрелище необыкновенно величественное. И, еще усиливая трагический эффект, ежеминутно в крепости грохочет пушка. Искусство инсценировки врожденно у русских.

Но что больше всего поражает меня, так это то, чего недостает церемонии: духовенства. Ни одного священника, ни одной иконы, ни одной молитвы, ни одного креста. Одна только песня: Рабочая Марсельеза.

С архаических времен святой Ольги и святого Владимира, с тех пор, как в истории появился русский народ, впервые великий национальный акт совершается без участия церкви. Вчера еще религия управляла всей публичной и частной жизнью; она постоянно врывалась в нее со своими великолепными церемониями, со своим обаятельным влиянием, с полным господством над воображением и сердцами, если не умами и душами. Всего несколько дней тому назад эти тысячи крестьян, солдат, рабочих, которых я вижу проходящими теперь передо мной, не могли пройти мимо малейшей иконы на улице без того, чтобы не остановиться, не снять фуражки и не осенить груди широким крестным знамением. А какой контраст сегодня! Но приходится ли этому удивляться? В калейдоскопе идей русский всегда ищет крайнее, абсолютное.

Мало-по-малу Марсово поле пустеет. Темнеет, с Невы надвигается бурый холодный туман. Площадь, снова ставшая пустынной, принимает зловещий вид. Возвращаясь в посольство опустелыми аллеями Летнего сада, я говорю себе, что я, может быть, был только свидетелем самых знаменательных фактов современной истории. То, что похоронили в красных гробах, это—

вся византийская и московская трагедия русского народа, это—все прошлое святой Руси...

*Пятница, 6 апреля.*

В то время, как войска на фронте с каждым днем все больше разлагаются под влиянием социалистической пропаганды, маленькая армия, которая сражается на границе Курдистана под начальством генерала Баратова, мужественно продолжает свое трудное дело.

Заняв Керманшах, затем Кизилраба, она недавно проникла в Месопотамию и соединилась с англичанами к северо-востоку от Багдада.

В общей раме войны эта блестящая операция имеет, очевидно, лишь эпизодическое значение; но это, может быть, последний подвиг, который историки смогут вписать в военные летописи России. (!)

*Суббота, 7 апреля.*

Вчера Соединенные Штаты об'явили войну Германии.

Мы поздравляем друг друга, Милюков и я, с этим событием, которое отнимает у германских держав последний шанс на спасение. Я настаиваю пред ним на том, чтобы Временное Правительство распространило в неограниченном количестве во всех слоях населения России прекрасное послание, с которым президент Вильсон обратился к Конгрессу и которое кончается так:

„Оставаться нейтральным дальше невозможно, когда поставлены на карту мир всего мира и свобода народов. Итак, мы вынуждены принять бой с естественным врагом мира и свободы. Мы пожертвуем для этого нашей жизнью, нашим состоянием, всем, что мы имеем, в гордом сознании, что настал, наконец, день, когда

Америка может пролить свою кровь за благородные принципы, из которых она возникла".

В то время, как американская демократия говорит таким великолепным языком, русская революция окончательно утрачивает чувство патриотического долга и национальной чести.

Сегодня пополудни бывший гвардейский Волынский полк, который первый возмутился 12 марта и коего пример увлек остальной гарнизон, организовал в Мариинском театре концерт в пользу жертв Революции. Было послано очень корректное приглашение послам Франции, Англии и Италии. Мы решили пойти на этот концерт, чтобы не казалось, будто мы презираем новый режим: впрочем, Временное Правительство принимает участие в торжестве.

Как преобразился Мариинский театр! Могли ли когда-либо его искусные машинисты осуществить такую чудесную перемену декораций! Все императорские гербы, все золотые орлы сорваны; капельдинеры сменили пышную придворную ливрею на жалкие серые пиджаки.

Зал переполнен. Публика: буржуа, студенты, солдаты. Военный оркестр занимает сцену; солдаты Волынского полка размещены на заднем плане.

Нас вводят в левую ложу авансцены, которая была ложей императорской фамилии, где я видел столько раз великого князя Бориса, великого князя Димитрия, великого князя Андрея, апплодирующими Кшесинской, Карсавиной, Спесивцевой. Напротив, в ложе министра Двора, собрались все министры в простых пиджаках. И я вспоминаю старого графа Фредерикса, такого расшитого, такого любезного, который в настоящее время содержится под стражей в одной больнице и, страдая

тяжелой болезнью мочевого пузыря, вынужден подвергаться самым унизительным операциям в присутствии двух тюремщиков. Я вспоминаю также его супругу, симпатичную графиню Гедвигу Алоизовну, которая просила у меня убежище в моем посольстве и находится в агонии в лазарете; генерала Воейкова, коменданта императорских дворцов, заключенного в крепости,—всех этих блестящих ад'ютантов, конногвардейцев и кавалергардов, которые тепёрь погибли, находятся в заключении или в бегах.

Но интерес всего зала сосредоточен на большой императорской ложе против сцены, ложе торжественных спектаклей. В ней сидят человек тридцать: старые мужчины, несколько старых дам, лица серьезные, худые, странно выразительные, незабываемые, удивленно озирающие публику. Это герои и героини терроризма, которые еще двадцать дней тому назад жили в ссылке в Сибири, в заключении, в Шлиссельбурге или в Петропавловской крепости. Тут: Морозов, Лопатин, Вера Фигнер, Вера Засулич и пр. Я с ужасом думаю о всех физических страданиях и нравственных мучениях, перенесенных в молчании, погребенных забвением, которые представляет эта группа. Какой эпилог для „Записок“ Кропоткина, для „Воспоминаний из Мертвого Дома“ Достоевского!

Концерт начинается Марсельезой, которая теперь сделалась русским гимном. Зал дрожит от апплодисментов и криков: „Да здравствует Революция“. Ко мне обращены несколько криков: „Да здравствует Франция“.

Затем длинная речь министра юстиции Керенского. Искусная речь, в которой тема о войне затушевана социалистической фразеологией; дикция резкая, отрывистая; жест редкий, неожиданный, повелительный. Воль-

шой успех, который вызывает выражение удовольствия на бледном, напряженном лице оратора.

В следующем затем антракте Бьюкенен говорит мне:

— Пойдем засвидетельствовать почтение правительству в его ложу. Это произведет хорошее впечатление.

Лишь только кончился антракт, мы вернулись в свою ложу.

Шопот симпатии и какого-то благоговения проносится по залу; какая-то безмолвная овация.

Это — Вера Фигнер появилась на сцене, на месте дирижера оркестра. Очень простая, с гладко причесанными седыми волосами, одетая в черное шерстяное платье с белой косынкой, она похожа на знатную старую даму. Ничто не обнаруживает в ней страшной нигилистки, какой она была некогда, во время своей молодости. Она, впрочем, из хорошей семьи, близкой к знати.

Тоном спокойным, ровным, без малейшего жеста, без малейшего повышения голоса, без единого знака, в котором промелькнули бы резкость или напыщенность, горечь злопамятности или гордости победы, она поминает бесчисленную армию всех тех, кто безвестно пожертвовал жизнью для настоящего торжества Революции, кто анонимно погиб в государственных тюрьмах и на каторге в Сибири. Мартиролог развертывается как литания, как мелания. Последние фразы, произнесенные более медленно, имеют непередаваемый оттенок грусти, покорности, жалости. Может быть, одна только славянская душа способна на такой резонанс. Похоронный марш, тотчас после ее речи исполненный оркестром, как будто служит продолжением речи, патетический эффект которой переходит таким образом в религиозную эмоцию. Большинство присутствующих пла-

чут. В следующем затем антракте мы уходим, так как об'являют, что Чхеидзе, оратор „трудовой“ группы, будет говорить против войны, что ожидаются споры и пр. Здесь нам больше не место. Затем, воспоминание, которое оставила в нас эта церемония, слишком редкого качества: не будем его портить.

В пустых кулуарах, по которым я прохожу торопливо, мне так и кажется, будто я вижу призраки моих элегантных знакомых, которые столько раз приходили сюда баюкать свои мечты фантазиями танца и были последним очарованием навсегда исчезнувшего общества.

*Воскресенье, 8 апреля.*

Исчисляют приблизительно в один миллион количество лиц, присутствовавших в прошлый четверг на похоронной церемонии на Марсовом поле. Гражданский характер похорон не вызвал никакого народного протеста. Одни только казаки заявили, что совесть запрещала им принять участие в похоронах без образа Христа, и остались в своих казармах.

Но на следующий день странное беспокойство распространилось среди простонародья, в особенности, среди солдат,—чувство, в котором были: осуждение, угрызение совести, смутная тревога, суеверные предчувствия. Теперь сомнений не было: эти похороны без икон и попов были святотатством. Бог покарает за это. А, казаки это поняли! Они не дали себя вовлечь в эту преступную авантюру; они всегда смекают!... И потом, не нечестие ли выкрасить гробы в красный цвет? Есть лишь два христианских цвета для гробов: белый и желтый; это так известно, что об этом даже не упоминается в катехизисе. Таким образом, этим дьявольским измышлением выкрасить гробы в красный цвет осквернили покой-

ников. Этого только не доставало!.. Вся церемония на Марсовом поле, должно быть, была устроена евреями!...

Этот протест публичного мнения сделался настолько распространенным и сильным, что Временное Правительство сочло долгом дать ему удовлетворение. По его распоряжению священники пришли вчера прочитать заупокойные молитвы на могилах Марсова поля.

Сегодня вечером я обедал у г-жи П. Человек двенадцать приглашенных, все близких знакомых. Среди них ад'ютант великого князя Николая Николаевича, князь Сергей Б., который приехал с Кавказа.

В течение всего вечера общий, очень оживленный разговор, в котором каждый выражает свое мнение о ходе событий. Вот что я удержал в памяти из этого экспансивного и априорного совещания:

„Положение много ухудшилось в последнее время. Страна, взятая во всей совокупности, не примет позорного мира, каким был бы мир сепаратный. Но она совершенно потеряла интерес к войне и интересуется лишь внутренними вопросами и прежде всего—вопросом аграрным.. Надо, в самом деле, признаться, что война не имеет больше цели для русского народа. Константинополь, святая София, Золотой Рог? Но никто не думает об этой химере, кроме Милюкова, и то единственно потому, что он—историк... Польша? Она больше не имеет ничего общего с русским государством с тех пор, как Временное Правительство об'явило ее независимость. Ей, следовательно, придется одной осуществлять впредь свое территориальное единство; ей придется впредь принять девизом: Polonia farà da se.... Что касается Литвы, Курляндии и даже Лифляндии, на их будущее смотрят с абсолютным равнодушием под предлогом, что это—не русские области. Везде звучит

та же нота: в Москве и в Петрограде, в Киеве и Одессе; везде то же уныние, та же утрата национального и патриотического чувства... Армия производит впечатление не более утешительное. В гарнизонах внутри страны полная недисциплинированность, праздность, бродяжничество, дезертирство. До последнего времени войска на фронте сохраняли хороший дух. Недавнее поражение на Стоходе показало, что даже на передовых линиях войска потеряли нравственную спайку, ибо нет никакого сомнения, что один полк отказался сражаться... Что сказать о беспорядке, который царит в общем управлении, в службе транспорта, в продовольствии, в промышленности?..“

На попытки мои опровергнуть кое-какие из этих пессимистических утверждений г-жа П. отвечает:

— Не создавайте себе иллюзии. Несмотря на все громкие фразы оффициальных речей, война умерла. Только чудо могло бы ее воскресить.

— Не может ли это чудо придти из Москвы?

— Москва не лучше Петербурга.

*Понедельник, 9 апреля.*

Вот уже несколько дней идет оживленная полемика между Временным Правительством и Советом, точнее между Милюковым и Керенским, о „целях войны“.

Совет требует, чтобы Правительство немедленно сговорилось с союзниками относительно открытия мирных переговоров на следующих основаниях:

„Ни аннексии, ни контрибуции, свободное самоопределение народов“.

Я настраиваю, как могу, Милюкова, указывая ему на то, что требования Совета равносильны отпадению

России и что если бы дали этому произойти, это было бы вечным позором для русского народа:

— У вас есть,—говорю я,—более десяти миллионов человек под оружием; вы пользуетесь поддержкой восьми союзников, из которых большинство пострадало гораздо больше, чем вы, но более, чем когда-либо, полны решимости бороться до полной победы. К вам прибывает девятый союзник и какой? Америка! Эта ужасная война была начата за славянское дело. Франция полетела вам на помощь, ни на миг не торгуясь из-за своей поддержки... И вы первые оставите борьбу!

— Я до такой степени согласен с вами,—протестует Милюков,—что, если бы требованиям Совета суждено было восторжествовать, я тотчас отказался бы от власти.

Прокламация Временного Правительства к русскому народу, опубликованная сегодня утром, пытается устранить затруднение, скрывая под туманными формулами свое намерение продолжать войну.

Я указываю Милюкову на неопределенность и робость этих формул; он мне отвечает:

— Я считаю большим успехом, что вставил их в прокламацию. Мы вынуждены быть очень осторожны по отношению к Совету, ибо мы не можем еще рассчитывать на гарнизоны для нашей защиты.

И, действительно, Совет—хозяин Петрограда.

*Среда, 11 апреля.*

У меня обедают: лидер „кадетской" партии, Василий Маклаков, княгиня София Долгорукая, принц Шипионе Боргезе, художник и критик искусства Александр Николаевич Бенуа.

Маклаков, видевший ближе, чем кто-либо, революцию, рассказывает нам ее зарождение:

— Никто из нас,—говорит он,—не предвидел огромности движения; никто из нас не ждал подобной катастрофы. Конечно, мы знали, что императорский режим подгнил, но мы не подозревали, чтобы это было до такой степени. Вот почему ничего не было готово. Я говорил вчера об этом с Максимом Горьким и Чхеидзе: они до сих пор еще не пришли в себя от неожиданности.

— В таком случае, — спрашивает Боргезе, — это воспламенение всей России было самопроизвольное?

— Да, вполне самопроизвольное.

Я замечаю, что в 1848 г. революция точно так же не удивила никого больше, чем вождей республиканской партии: Ледрю-Роллена, Армана Марраста, Луи Блана; я прибавляю:

— Нельзя никогда предсказать, что извержение Везувия произойдет в такой-то день, в такой-то час. Это уже много, если различают предварительные признаки, отмечают первые сейсмические волны, возвещают, что извержение неизбежно и близко. Тем хуже для обитателей Помпеи и Геркуланума, которые не довольствуются этими предупреждениями [1]).

---

В Царском Селе присмотр за бывшим царем и царицей становится суровее. Император все еще необычайно индифферентен и спокоен. С спокойным, беззаботным видом он проводит день за перелистыванием газет, за курением папирос, за комбинированием

[1]) Русские социалисты в 1917 году были также захвачены врасплох, как и французские республиканцы в 1848 г. В реферате, прочитанном г. Керенским в Париже 12 марта 1920 года, он заявляет, что его политические друзья собрались у него 10 марта 1917 года и единодушно пришли к заключению, что революция в России невозможна. Через два дня царизм был свергнут. (См. „Journal du peuple“, от 14 марта 1920 г.).

пасьянсов или играет с детьми. Он как будто испытывает известное удовольствие от того, что его освободили, наконец, от бремени власти.

Диоклетиан в салоне, Карл V в Сан-Юсте не был более безмятежным. Императрица, наоборот, находится в состоянии мистической экзальтации; она беспрерывно повторяет:

— Это бог посылает нам это испытание. Я принимаю его с благодарностью для моего вечного спасения.

Случается, однако, что она не в состоянии подавить вспышки своего негодования, когда видит, как исполняются суровые приказания, отнимающие у императора даже в ограде дворца всякую свободу движения. Иногда это часовой, преграждающий ей путь при входе в какую-нибудь галлерею; иногда это гвардейский офицер, который после того, как пообедал вместе с императором, приказывает ему вернуться в свою комнату. Николай II повинуется без единого слова упрека. Александра Федоровна становится на дыбы и возмущается как от оскорбления; но она скоро овладевает собой и успокаивается, прошептав:

— Это тоже мы должны перенести!.. Христос разве не выпил чаши до дна?

*Суббота, 14 апреля.*

Три французских депутата-социалиста — Мутэ, Кашен и Лафон, — прибыли вчера из Парижа через Берген и Торнео; они приехали проповедывать Совету благоразумие и патриотизм. Два члена Labour Party, О'Града и Торн, сопровождают их.

Мутэ — адвокат; Кашен и Лафон — преподаватели философии; О'Гради — столяр-краснодеревец, Торн —

свинцовых дел мастер. Таким образом, французский социализм представлен интеллигентами, классиками по образованию; английский социализм—людьми ремесла matter-of-fact-men. Теория—с одной стороны, реализм—с другой.

Мои три компатриота явились сегодня утром ко мне в кабинет. Мы прекрасно спелись друг с другом на счет задачи, которую им предстоит здесь выполнить. Главное, что их беспокоит, это вопрос о том, способна ли Россия продолжать войну и можно ли еще надеяться с ее стороны на усилие, которые позволило бы нам осуществить нашу программу мира. Я им излагаю, что если они сумеют снискать доверие Совета, если они поговорят с ним с благожелательной твердостью, если им удастся доказать ему, что судьба Революции связана с судьбой войны, русская армия сможет опять играть важную роль, роль массы, если не активного фактора, в наших стратегических планах. Что касается нашей программы мира, мы должны будем, очевидно, приноровить ее к новым условиям задачи. Со стороны Запада я не вижу никакой причины отказаться от наших претензий и умерить наши надежды, так как американская помощь должна приблизительно компенсировать слабость русской помощи. Но со стороны Восточной Европы и Малой Азии нам придется, без сомнения, пожертвовать кое-какими из наших грез. Я, впрочем, полагаю, что если мы сумеем за это взяться, если наша дипломатия во-время проделает эволюцию, которая, рано или поздно станет неизбежной, эта жертва не обойдется Франции слишком дорого. Они об'являют, что вполне согласны со мною.

В час они пришли в посольство позавтракать в интимном кругу. Все, что они мне сообщают о со-

стоянии французского общественного мнения, удовлетворительно.

Видя их в моих салонах, я думаю о том, какое странное и парадоксальное зрелище представляет их присутствие. Двадцать пять лет социалистическая партия не перестает нападать на франко-русский союз, а сегодня три социалистических депутата приехали защищать его... от России.

Расставшись со мной, они отправляются на Марсово поле возложить венок на могилу жертв Революции, как некогда посланцы французской Республики отправлялись в Петропавловскую крепость возложить венок на могилу Александра III. Как писал Сент-Бев: „Надо только жить, чтобы видеть все и противоположное всему“.

*Воскресенье, 15 апреля.*

По православному календарю сегодня воскресенье, первый день Пасхи. Святая неделя не была отмечена никакими инцидентами, никакими нововведениями, кроме того, что театры, закрывавшие свои двери на все последние пятнадцать дней поста, оставались открытыми до святой среды.

Этой ночью все петроградские церкви отправляли с обычной пышностью торжественную службу Воскресения. За отсутствием митрополита Питирима, уже заключенного в монастырь в Сибири, архиерейское служение совершил в Александро-Невской Лавре преосвященный Тихон, архиепископ ярославский, а два викарных епископа—преосвященный Геннадий и преосвященный Вениамин—служили в Исаакиевском и Казанском соборах. Толпа, теснившаяся в этих двух больших соборах, была не меньше, чем в предыдущие годы.

Я отправился в Казанский собор. Это было то же зрелище, что и при царизме, та же величественная пышность, та же литургическая торжественность. Но я никогда еще не наблюдал такого интенсивного выражения русского благочестия. Вокруг меня большинство лиц поражали выражением горячей мольбы или удрученной покорности. В последний момент службы, когда духовенство вышло из сиявшего золотом иконостаса и раздался гимн: „Слава святой Троице! Слава во веки! Наш Спаситель Христос воскрес!“, волна возбуждения подняла верующих. И, в то время, как они, по обычаю, целовались, повторяя: „Христос воскрес“, я видел, что многие из них плакали.

Мне сообщают, что зато в рабочих кварталах—на Коломенской, на Галерной, на Выборгской стороне—несколько церквей были пусты.

Французские социалистические депутаты и их английские товарищи были приняты сегодня пополудни Советом.

Прием был холодный, даже до того холодный, что Кашен растерялся и, чтобы сделать возможным разговор, счел долгом „выбросить балласт“. А этот „балласт“ был ни больше, ни меньше, как Эльзас-Лотарингия, возвращение коей Франции не только не было заявлено, как право, но представлено, как простая возможность, подчиненная всякого рода условиям, как, например, плебисцит. Если в этом состоит вся помощь, которую наши депутаты приехали оказать мне, они лучше бы сделали, если бы воздержались от своей поездки.

В этом же заседании Совета Плеханов, прибывший из Франции одновременно с французскими и английскими делегатами, появился в первый раз после сорока лет изгнания перед русской публикой.

Плеханов—благородная фигура революционной партии, основатель русской социал-демократии; это от него русский пролетариат услышал первые призывы к единению и организации. Ему поэтому была устроена триумфальная встреча, когда он третьего дня вечером вышел из вагона на Финляндском вокзале и Временное Правительство явилось оффициально приветствовать его.

Точно так же, когда он сегодня явился в Таврический дворец, со всех сторон раздались приветствия. Но когда он заговорил о войне и открыто взял себе титул социалиста-патриота и заявил, что у него так же мало охоты покориться тирании Гогенцоллернов, как и деспотизму Романовых, наступило глубокое молчание, и шопот пробежал по многим скамьям.

*Понедельник, 16 апреля.*

Я просил трех социалистических депутатов придти ко мне сегодня утром и указал им на опасность слишком примирительных заявлений, до которых договорился вчера один из них перед Советом. Кашен мне отвечает:

— Если я говорил так, так это потому, что, говоря вполне искренно, я не мог поступить иначе. Вместо того, чтобы принять нас, как друзей, нас подвергли настоящему допросу, и в таком тоне, что я предвидел момент, когда мы будем вынуждены уйти.

Так как они должны сегодня опять быть в Таврическом дворце, они обещают мне по возможности взять назад свои вчерашние уступки.

Когда я в полдень пришел в министерство иностранных дел, Милюков тотчас заговорил со мной об этих прискорбных уступках.

— Как хотите вы,—говорит он мне,—чтобы я боролся с претензиями наших большевиков, если французские социалисты сами отказываются от борьбы.

*Вторник, 17 апреля.*

Министр юстиции Керенский завтракает в посольстве вместе с Кашеном, Мутэ и Лафоном.

Керенский принял мое приглашение лишь с тем условием, чтобы он мог уйти, как только завтрак будет кончен, потому что он должен в два часа отправиться в Совет. Важно, чтобы он вошел в контакт с моими тремя депутатами.

Разговор тотчас заходит о войне. Керенский излагает то, что составляет сущность его разногласия с Милюковым, а именно: союзники должны пересмотреть их программу мира, чтобы приноровить ее к концепции русской демократии. Идеи, которые он развивает для обоснования своего тезиса, идеи „трудовой" партии, которую он представлял в Думе и которая является по преимуществу партией крестьян, партией, девиз которой: Земля и Воля. С указанной оговоркой он энергично высказывается за необходимость продолжать борьбу с немецким милитаризмом.

Мы его слушаем, не слишком ему возражая. Я, впрочем, догадываюсь, что в глубине души все мои гости-социалисты согласны с ним. Что касается меня, то, не зная еще, какую позицию поручено занять Альберу Тома по отношению к русскому социализму, я соблюдаю осторожность.

Едва подали кофе, как Керенский поспешно отправляется в Совет, где апостол интернационального марксизма, знаменитый Ленин, прибывший из Швейцарии

через Германию, совершит свое политическое возвращение.

*Среда, 18 апреля.*

Милюков говорит мне сегодня утром с сияющим видом:

— Ленин вчера совершенно провалился в Совсте. Он защищал тезисы пацифизма с такой резкостью, с такой бесцеремонностью, с такой бестактностью, что вынужден был замолчать и уйти освистанным... Уже он теперь не оправится.

Я ему отвечаю на русский манер:

— Дай бог!

Но я боюсь, что Милюков лишний раз окажется жертвой своего оптимизма. В самом деле, приезд Ленина представляется мне самым опасным испытанием, какому может подвергнуться русская Революция.

*Четверг, 19 апреля.*

Генерал Брусилов обратился к князю Львову со следующей любопытной телеграммой:

„Солдаты, офицеры, генералы и чиновники Юго-Западной армии, собравшись, постановили довести до сведения Временного Правительства свое глубокое убеждение, что местом созыва Учредительного Собрания должна быть, по всей справедливости, первая столица русской земли. Москва освящена в народном сознании важнейшими актами нашей национальной истории; Москва исконно русская и бесконечно дорога русскому сердцу. Созвать Учредительное Собрание в Петрограде, в этом городе, который по своему чиновничьему и международному характеру всегда был чужд русской жизни, было бы жестом нелогичным и неестественным, противным всем стремлениям русского народа. Я от всей души присоединяюсь к этой резолюции и заявляю,

в качестве русского гражданина, что считаю конченным петербургский период русской истории.

*Брусилов*".

*Пятница, 20 апреля.*

Французские социалистические депутаты несколько охладевают к русской Революции с тех пор, как наблюдают ее вблизи. Пренебрежительный прием, встреченный ими со стороны Совета, несколько охладил их восхищение. Они сохраняют, однако, огромную дозу иллюзий: они еще верят в возможность гальванизировать русский народ „смелой демократической политикой, ориентированной на интернационализм".

Я попытаюсь доказать им их заблуждение:

— Русская Революция по существу анархична и разрушительна. Предоставленная самой себе, она может привести лишь к ужасной демагогии черни и солдатчины, к разрыву всех национальных связей, к полному развалу России. При необузданности, свойственной русскому характеру, она скоро дойдет до крайности: она неизбежно погибнет среди опустошения и варварства, ужаса и хаоса. Вы не подозреваете огромности сил, которые теперь разнузданы... Можно ли еще предотвратить катастрофу такими средствами, как созыв Учредительного Собрания или военный переворот? Я сомневаюсь в этом. А между тем, движение еще только начинается. Итак, можно более или менее овладеть им, задержать, маневрировать, выиграть время. Передышка в несколько месяцев имела бы капитальную важность для исхода войны... Поддержка, которую вы оказываете крайним элементам, ускорит окончательную катастрофу.

Но я скоро замечаю, что проповедую в безвоздушное

пространство: мне недостает красноречия Церетелли и Чхеидзе, Скобелевых и Керенских[1]).

*Суббота, 21 апреля.*

Когда Милюков недавно уверял меня, что Ленин безнадежно дискредитировал себя перед Советом своим необузданным пораженчеством, он лишний раз был жертвой оптимистических иллюзий.

Авторитет Ленина, кажется, наоборот, очень вырос в последнее время. Что не подлежит сомнению, так это—то, что он собрал вокруг себя и под своим начальством всех сумасбродов революции; он уже теперь оказывается опасным вождем.

Родившийся 23 апреля 1870 г. в Симбирске, на Волге, Владимир Ильич Ульянов, называемый Лениным, чистокровный русак. Его отец, мелкий провинциальный дворянин, занимал место по учебному ведомству. В 1887 году его старший брат, замешанный в дело о покушении на Александра III, был присужден к смертной казни и повешен. Эта драма дала направление всей жизни молодого Владимира Ильича, который в это время кончал курс в Казанском университете: он отдался душой и телом революционному движению. Низвержение царизма сделалось с этих пор его навязчивой идеей, а евангелие Карла Маркса—его молитвенником. В январе 1897 года присматривавшая за ним

[1]) В газете „L'Heure", от 5 июня 1918 г., Марсель Кашен так резюмировал наши разговоры:

„В то время, как мы, Мутэ и я, говорили ему, что необходимо сделать еще усилие в демократическом направлении, чтобы попытаться поднять на ноги Россию, г. Палеолог пессимистически отвечал нам: Вы создаете сами себе иллюзию, полагая, что этот славянский народ оправится. Нет! Он с этого момента осужден на разложение. В военном отношении вам больше нечего ждать от него. Никакое усилие не может его спасти: он идет к гибели; он следует своему историческому пути, его подстерегает анархия. И на долгие годы, никто не может представить себе, что будет с этим народом... Что касается нас, мы не хотели так отчаиваться в славянской душе"

полиция сослала его на три года в Минусинск, на Верхнем Енисее, у монгольской границы. По истечении срока ссылки ему разрешено было выехать из России и он поселился в Швейцарии, откуда он часто приезжал в Париж. Неутомимо деятельный, он скоро нашел пламенных последователей, которых он увлек культом интернационального марксизма. Во время бурных волнений 1905 года он в известный момент думал, что настал его час и тайно прибыл в Россию. Но кризис круто оборвался; то была лишь прелюдия, первое пробуждение народных страстей. Он снова вернулся в изгнание.

Утопист и фанатик, пророк и метафизик, чуждый представлению о невозможном и абсурдном, недоступный никакому чувству справедливости и жалости, жестокий и коварный, безумно гордый, Ленин отдает на службу своим мессианистическим мечтам смелую и холодную волю, неумолимую логику, необыкновенную силу убеждения и уменье повелевать.

Судя по тому, что мне сообщают из его первых речей, он требует революционной диктатуры рабочих и крестьянских масс; он проповедует, что у пролетариата нет отечества и от всей души желает поражения русской армии. Когда его химерам противопоставляют какое-нибудь возражение, взятое из действительности, у него на это есть великолепный ответ: „Тем хуже для действительности". Таким образом, напрасный труд хотеть ему доказать, что, если русская армия будет уничтожена, Россия окажется добычей в когтях немецкого победителя, который, вдоволь насытившись и поиздевавшись над ней, оставит ее в конвульсиях анархии. Суб'ект тем более опасен, что говорят, будто он целомудрен, умерен, аскет. В нем есть,—каким я его себе представляю,—черты Саванароллы, Марата, Бланки и Бакунина.

---

## X. Миссия г. Альбера Тома.

*Воскресенье, 22 апреля.*

Сегодня вечером, в одиннадцать часов, Альбер Тома прибыл на Финляндский вокзал с большой свитой офицеров и секретарей.

С того же поезда сходят человек двадцать известных изгнанников, прибывших из Франции, Англии, Швейцарии. Вокзал поэтому убран красными знаменами. Плотная толпа теснится у всех выходов. Многочисленные делегаты с алыми знаменами размещены у входа на платформу, и „красная гвардия", заменяющая городскую милицию, расставляет на платформе цепи из прекраснейших образчиков апашей, с красными галстухами, с красными повязками, коими гордится город Петроград.

Лишь только показался поезд, разражается буря приветствий. Но вокзал едва освещен, холодный туман висит в воздухе, хаос багажа и тюков громоздится тут и там до самого полотна так, что это возвращение изгнанников одновременно торжественно и мрачно.

Милюков, Терещенко и Коновалов пришли со мной встречать французскую миссию. После оффициальных приветственных речей я веду Альбера Тома к своему экипажу среди всеобщей овации.

Это зрелище, столь непохожее на то, что он видел в 1916 году, приводит в волнение его революционные

фибры. Он обводит вокруг сверкающими глазами. Несколько раз он говорит мне:

— Да, это—Революция во всем ее величии, во всей ее красоте....

В Европейской гостинице, где ему отведено помещение, мы беседуем. Я ввожу его в курс того, что произошло с тех пор, как он покинул Францию; я об'ясняю ему, насколько положение сделалось серьезным за две последние недели; я рассказываю ему о конфликте, возникшем между Милюковым и Керенским; я, наконец, выдвигаю соображения, которые заставляют нас, по-моему, поддерживать министерство иностранных дел, так как оно представляет политику Алльянса.

Альбер Тома внимательно слушает меня и возражает:

— Мы очень должны остерегаться, чтобы не задеть русскую демократию... Я приехал сюда именно для того, чтобы выяснить все это... Мы возобновим нашу беседу завтра.

*Понедельник, 23 апреля.*

Я собираю за завтраком вокруг Альбера Тома: Милюкова, Терещенко, Коновалова, Нератова и мой персонал.

Трое русских министров высказывают оптимизм. Говорят о дуализме, который проявляется в правительстве. Милюков об'ясняет со своим обычным добродушием и большой широтой идей конфликт, возникший между ним и Керенским. Альбер Тома слушает, задает вопросы, говорит мало и разве только для того, чтобы оказать русской революции огромный кредит доверия или воздать красноречивую дань восхищения.

Когда мои гости ушли, Альбер Тома предлагает мне побеседовать наедине в моем кабинете. Там он с дружеской серьезностью говорит мне:

— Г. Рибо доверил мне письмо для вас, предоставив мне выбрать момент, когда я должен буду вручить его вам. Ваш характер внушает мне слишком глубокое уважение, и я поэтому немедленно вручаю его вам.

Оно датировано 13 апреля. Я читаю его без малейшего удивления. Вот оно:

*Париж, 13 апреля 1917 г.*

„Господин посол.

Правительство полагало, что полезно будет послать в Петроград с чрезвычайной миссией министра вооружения и военной промышленности. Вы мне сообщили, что Альбер Тома, благодаря воспоминаниям, которые он оставил в России, и влиянию, которое он может иметь в известных кругах, будет хорошо принят Временным Правительством и, в особенности, г. Милюковым.

Чтобы он мог действовать вполне свободно, прошу вас соблаговолить приехать в отпуск во Францию, сговорившись с ним относительно времени вашего от'езда. Вы передадите дела посольства г. Дульсе, который будет вести их в качестве уполномоченного до назначения вам преемника.

Правительству казалось, что положение, которое вы занимали при императоре, сделает для вас затруднительным исполнение ваших обязанностей и при нынешнем правительстве. Вы отдаете себе отчет, что для нового положения нужен новый человек, и вы мне заявили с чувством, коего деликатность я ценю в полной мере, что вы готовы стушеваться в интересах государ-

ства, не взирая ни на какие личные соображения. Я считаю долгом поблагодарить вас за это доказательство бескорыстия, которое отнюдь не удивляет меня с вашей стороны, и сказать вам в то же время, что мы не забудем великих заслуг, оказанных вами нашей родине.

Когда вы вернетесь во Францию, мы вместе посмотрим, какой пост мы можем вам предложить, приняв во внимание в возможно широкой мере ваши интересы и ваши личные отношения.

Благоволите принять, мой дорогой посол, уверение в моем глубоком уважении и моих лучших чувствах.

*А. Рибо*".

Окончив чтение, я говорю Альберу Тома:

— Это письмо не содержит ничего, с чем бы я не соглашался или чем бы не был тронут. До моего от'езда, который мне кажется, трудно назначить раньше 10 мая, я по мере моих сил буду помогать вам.

Он горячо пожимает мне руки и говорит:

— Я никогда не забуду, с каким достоинством вы держали себя и буду счастлив засвидетельствовать это в телеграмме, которую я сегодня же отправляю правительству республики.

Затем, составив со мной программу визитов и работы, он удаляется.

***Вторник, 24 апреля.***

Я пригласил своих английского и итальянского коллег позавтракать с Альбером Тома.

Карлотти заявляет, что вполне присоединяется к моему мнению, когда я утверждаю, что мы должны поддерживать Милюкова против Керенского и что было бы

важной ошибкой не противопоставить Совету политического и морального авторитета союзных правительств. Я делаю вывод:

— С Милюковым и умеренными Временного Правительства у нас есть еще шансы задержать успехи анархии и удержать Россию в войне. С Керенским обеспечено торжество Совета, а это значит разнуздание народных страстей, разрушение армии, разрыв национальных уз, конец русского государства. И, если отныне развал России неизбежен, не станем, по крайней мере, помогать этому.

Поддерживаемый Бьюкененом, Альбер Тома категорически высказывается за Керенского:

— Вся сила русской демократии в ее революционном порыве. Керенский один не способен создать с Советом правительства, достойного доверия.

*Среда, 25 апреля.*

Мы обедали сегодня вечером, Альбер Тома и я, в английском посольстве. Но уже в пол-восьмого Тома появляется на пороге моего кабинета: он пришел сообщить мне длинную беседу, которую он имел сегодня пополудни с Керенским и главной темой которой был пересмотр „целей войны“.

Керенский энергично настаивал на необходимости приступить к такому пересмотру, согласно постановлению Совета; он полагает, что союзные правительства потеряют всякий кредит в глазах русской демократии, если они не откажутся открыто от своей программы аннексий и контрибуций.

— Признаюсь,—говорит мне Альбер Тома,—что на меня произвело сильное впечатление сила его аргументов и пыл, с каким он их защищал...

Затем Тома, пользуясь метафорой, которой недавно пользовался Кашен, Тома заключил:

— Мы будем вынуждены выбросить балласт.

Но уже около восьми часов. Мы отправляемся в английское посольство.

Другие приглашенные: князь Сергей Белосельский с супругой, княгиня Мария Трубецкая, г. и г-жа Половцовы и пр.

Альбер Тома говорит любезности и нравится своим воодушевлением, своим остроумием, своим метким и колоритным языком, полным отсутствием позы.

Однако, раза два-три я замечаю, что его откровенность выиграла бы, если бы была скромнее, менее экспансивной, более замаскированной. Так, например, он слишком охотно подчеркивает свое революционное прошлое, свою роль в стачке железнодорожников в 1911 г., сладострастное удовлетворение, которое он испытывает, чувствуя себя здесь в атмосфере народного урагана. Может быть, он говорит так только для того, чтобы не казалось, будто он отрекается от своего политического прошлого.

*Четверг, 26 апреля.*

Милюков меланхолично заявил мне сегодня утром:

— А ваши социалисты не облегчают моей задачи.

Затем он рассказывает, что Керенский в Совете хвастается, что обратил их всех в свою веру, даже Альбера Тома, и что уже считает себя единственным хозяином внешней политики.

— Так, например, знаете вы, какую он со мной сыграл штуку? Он напечатал в газетах в форме оффициозного „сообщения“, что Временное Правительство готовит ноту к союзным державам с точным изложе-

нием своих взглядов на цели войны. И я, министр иностранных дел, из газет узнаю об этом мнимом решении Временного Правительства... Вот как со мной обращаются! Очевидно, стараются принудить... Я подниму сегодня вечером этот вопрос в совете министров.

Я оправдываю, как могу, поведение социалистических депутатов, приписывая им лишь примирительные мысли.

Час спустя я снова встречаюсь с Альбером Тома в посольстве, куда Коковцев пришел присоединиться к нам за завтраком. Так же, как и вчера вечером, он с удовольствием рассказывает анекдоты из бурного периода своего политического прошлого. Но воспоминания, которые он сообщает, еще точнее, еще обстоятельнее. Он уже не только старается не иметь такого вида, будто он отрекается от своей прежней деятельности; он старается показать, что если он и министр правительства республики, то в качестве представителя социалистической партии. Всегда корректному Коковцеву мало нравятся эти истории, которые шокируют его инстинкты порядка и дисциплины, его культ традиции и иерархии.

После их ухода я задумался над ориентацией, которую Альбер Тома все больше дает своей миссии и решаюсь послать Рибо следующую телеграмму:

„Если, как я того боюсь, русское правительство станет от нас добиваться пересмотра наших прежних соглашений об основах мира, мы, по-моему, должны будем без колебания об'явить ему, что мы энергично стоим за сохранение этих соглашений, заявив еще раз наше решение продолжать войну до окончательной победы.

Если мы не отклоним переговоров, к которым вожди социал-демократической партии, и даже г. Керенский,

надеются нас склонить, последствия этого могут оказаться непоправимыми.

Первым результатом будет то, что такие люди Временного Правительства, как: князь Львов, г. Гучков, г. Милюков, г. Шингарев и пр., которые так мужественно борются, силясь пробудить русский патриотизм и спасти Аллианс, уйдут. Тем самым мы парализуем силы, которые в остальной стране и в армии еще не заражены пацифистской пропагандой. Эти силы слишком медленно реагируют на деспотическое засилие Петрограда, потому что они плохо организованы и разбросаны; они представляют, тем не менее, резерв национальной энергии, который может оказать огромное влияние на дальнейший ход войны.

Решительный тон, который я позволяю себе рекомендовать вам, конечно, рискует привести, как к крайнему последствию, к разрыву Аллианса. Но, как ни важна эта возможность, я предпочитаю ее последствиям двусмысленных переговоров, которые социалистическая партия готовится, как мне говорили, предложить нам. В самом деле, в случае, если бы мы вынуждены были продолжать войну без участия России, мы могли бы извлечь из победы, на счет нашей отпадающей союзницы, совокупность в высшей степени ценных выгод. И эта перспектива уже в сильнейшей степени волнует многих русских патриотов. В противном случае я боюсь, что Петроградский Совет быстро сделается хозяином положения и, при содействии пацифистов всех стран, навяжет нам общий мир".

Прежде, чем отправить эту телеграмму, я считаю долгом прочитать ее Альберу Тома и отправляюсь к нему в Европейскую гостиницу до обеда.

Он слушает меня без удивления, потому что знает мои идеи; но с первых же слов лицо его становится суровым и нахмуренным. Когда я кончил, он сухо заявил:

— Мое мнение радикально противоположное... Вы очень хотите послать эту телеграмму?

— Да, потому я уже много об этом думал.

— Тогда пошлите, но пусть она будет последней.

Я ему об'ясняю, что до того дня, когда я буду формально освобожден от своих обязанностей, мой долг— продолжать осведомлять правительство.

— Все, что я могу сделать, чтобы не мешать вам в вашей миссии, это—воздержаться от действий.

Я прибавляю:

— Я убежден, что вы вступили на неверный путь. Поэтому, когда мы одни, я стараюсь вас осведомить и не скрываю ничего из того, что думаю. Но перед посторонними, уверяю вас, я всегда стараюсь представить ваши идеи в наилучшем свете.

— Я это знаю и благодарю вас за это.

В момент, когда я покидаю его, он показывает мне на столе несколько книг, в том числе стихотворения Альфреда де-Виньи.

— Эти томы,—говорит он мне,—мои обычные товарищи в пути. Вы видите, что я их хорошо выбираю.

Мы расстаемся, дружески пожав друг другу руки.

*Пятница, 27 апреля.*

Желая выяснить, какого тона ему держаться, Альбер Тома обращается к Рибо с длинной телеграммой:

„Я допустил г. Палеолога послать еще вчерашнюю телеграмму, где он возвращается к своей гипотезе близкого отпадения России и рекомендует правитель-

ству твердый тон. Эта телеграмма будет последней. Я надеюсь впредь один, за своей ответственностью, осведомлять правительство и устанавливать с ним политику, которой нужно держаться.

Каковы бы ни были затруднения, страшные затруднения, в которых бьется Временное Правительство, как ни силен напор социалистов-противников аннексий, мне кажется, ни судьбе войны, ни судьбе Аллианса ничто не угрожает.

Вот каково, по моему мнению, в точности положение.

Социалисты требуют от правительства и в частности от г. Керенского пред'явления дипломатической ноты, которой союзникам предлагалось бы пересмотреть совокупность их целей войны. Г. Милюков думает, что он не может уступить. Между этими двумя тенденциями правительство колеблется. Мне кажется, я могу постараться поискать временное решение, которое, во-первых, позволило бы, что я считаю капитальным, теперешнему правительству избегнуть потрясения и развал.

Даже если бы г. Милюкову не суждено было бы победить, а Временному Правительству сделать нам предложение о пересмотре соглашения, я умоляю о том, чтобы не волновались. Мы, без сомнения, будем еще свидетелями инцидентов, может быть, беспорядков. Но все те, кто находится в контакте с революционной армией, подтверждают мне, что постепенно происходит реальное улучшение положения.

При нашем поощрении и нашей активности революционный патриотизм может и должен проявиться. Не надо, чтобы неосторожная политика отвратила его от нас".

Альбер Тома, которого я еще раз видел днем, говорит мне:

— Я хотел хорошо оттенить противоположность наших тезисов. В общем, нас разделяет то, что в вас нет веры в могущество революционных сил, тогда как я абсолютно верю в них.

— Я готов допустить, что у латинских и англо-саксонских народов революционные силы обладают иногда изумительным могуществом организации и обновления. Но у народов славянских они могут быть лишь растворяющими и разрушающими: они роковым образом приводят к анархии.

Сегодня вечером я обедал в Царском Селе у великого князя Павла и княгини Палей. Нет никого, кроме своих: молодой великой княгини Марии Павловны второй, Владимира Палей и двух девочек, Ирены и Натальи.

После революции я в первый раз возвращаюсь в этот дом.

Великий князь носит генеральский мундир, с крестом св. Георгия, но без императорского вензеля, без ад'ютантских аксельбантов. Он сохранил свое спокойное и простое достоинство; во всяком случае, его похудевшее лицо как бы выгравировано скорбью. Княгиня все трепещет от боли и отчаяния.

День за днем, час за часом мы общими силами восстанавливаем пережитые трагические недели.

В салонах, когда мы идем к столу, нас на мгновенье останавливает одна и та же мысль. Мы смотрим на это пышное убранство, на эти картины, эти ковры, это обилие мебели и дорогих вещей... Зачем все это теперь? Что станется со всеми этими редкостями и богатствами?... Со слезами на глазах бедная княгина говорит мне:

— Скоро, может быть, этот дом, в который я вложила столько своего, будет у нас конфискован...

Весь остаток вечера проходит очень грустно, ибо великий князь и его супруга смотрят так же пессимистически, как и я.

Княгиня рассказывает мне, что третьего дня, проходя у решетки Александровского парка, она видела издали императора и его дочерей. Он развлекался тем, что разбивал палкой с железным наконечником лед в одном из бассейнов. Это развлечение продолжалось больше часа. Солдаты, тоже смотревшие через решетку, кричали ему: „А что будешь делать через несколько дней, когда лед растает?“ Но император был слишком далеко, чтобы услышать.

Великий князь, в свою очередь, рассказывает мне:

— Заключение несчастных царя и царицы стало таким строгим, что мы не знаем почти ничего о том, что они думают, что они делают... Однако, на прошлой неделе я имел случай поговорить о них с отцом Васильевым, который перед тем совершал пасхальную службу в дворцовой часовне. Он сказал мне, что его несколько раз оставляли одного с императором для того, чтобы дать последнему возможность выполнить свои религиозные обязанности, и что он сначала нашел его очень мрачным, удрученным, с глухим голосом, с трудом находящим свои слова. Но после причастия в святой четверг император внезапно оживился. И это даже вдохновило его два дня тому назад на очень трогательный жест. Вы знаете, что в пасхальную ночь, после службы Воскресения, все православные целуются друг с другом, повторяя „Христос воскресе“... Так в эту ночь дежурный офицер и несколько человек из охраны пробрались за императорской фамилией в дворцовую часовню. Когда служба кончилась, император подошел к их группе, которая держалась в отдалении,

и, желая видеть в них лишь братьев о Христе, он всех их набожно облобызал в губы.

В десять часов я уехал обратно в Петроград.

*Суббота, 28 апреля.*

Как говорил мне третьего дня Милюков, французские социалисты, во главе с Альбером Тома, заняты здесь хорошей работой.

Сбитые с толку оскорбительной холодностью, с которой упорно относится к ним Совет, они надеются его смягчить, очаровать уступками, поклонами, лестью. Их последнее изобретение: поставить в зависимость от плебисцита возвращение Франции Эльзас-Лотарингии. Они забывают, что в 1871 г. Германия не согласилась на плебисцит; они притворяются, будто не понимают, что народный опрос, организованный немецкой властью, был бы неизбежно подтасован, что первым условием свободного голосования было бы изгнание германцев за Рейн, что надо, следовательно, прежде всего, победить во что бы то ни стало. Наконец, они как будто не знают, что Франция, требуя Эльзас-Лотарингию, преследует исключительно восстановление права.

Русское общество (я говорю о высшем обществе) интересно наблюдать теперь.

Я наблюдаю в нем три течения общественного мнения или, вернее, три моральные позиции по отношению к Революции.

В принципе, вся старая клиентела царизма, все фамилии, которые по происхождению или положению содействовали блеску императорского режима, остались верны свергнутым царю и царице. Я, тем не менее, констатирую, что я почти никогда не слышу заявле-

ния этой верности без прибавления суровых, язвительных, полных раздражения и злобы слов о слабости Николая II, о заблуждениях императрицы, о губительных интригах их камарильи. Как всегда бывает, в партиях, оттесненных от власти, бесконечно тратят время на припоминание совершившихся событий, на решение вопроса о том, на кого падает ответственность, на пустую игру ретроспективных гипотез и личных попреков. Политически, с этой группой, как бы она ни была многочисленна, скоро считаться не будут, потому что она с каждым днем больше замыкается в воспоминаниях и интересуется настоящим лишь для того, чтобы осыпать его сарказмами и бранью.

Все же в этих самых социальных слоях я получаю время от времени и другое впечатление. Это чаще всего в конце вечера, когда уйдут неудобные и легкомысленные гости, и беседа становится интимнее. Тогда в скромной, сдержанной и серьезной форме рассматривают возможность примирения с новым режимом. Не тяжкая ли ошибка не поддерживать Временного Правительства? Не значит ли это играть в руку анархистам, отказывая нынешним правителям в поддержке консервативных сил?.. Такая речь встречает обыкновенно лишь слабый отклик: она, тем не менее, честна и мужественна, ибо внушена высоким патриотизмом; она вызвана чувством общественных нужд, сознанием смертельных опасностей, угрожающих России. Но насколько мне известно, никто из тех, кого я слышал рассуждающими так, еще не осмелился перейти Рубикон.

Я, наконец, различаю в высших кругах общества третью позицию по отношению к новому порядку. Чтобы хорошо описать ее, нужно было бы, по крайней мере, забавное остроумие и острое перо Ривароля.

Я намекаю на тайную работу известных салонов, на проделки некоторых придворных, офицеров или сановников, ловких и честолюбивых: можно видеть, как они пробираются в передние Временного Правительства, предлагая свое содействие, выпрашивая себе поручения, места, бесстыдно выставляя на вид влияние примера, каким служило бы их политическое обращение, спекулируя со спокойным бесстыдством на престиже своего имени, на бесспорной ценности своих административных или военных талантов. Некоторые, кажется мне, выполнили с замечательной ловкостью выворачивание тулупа наизнанку. Как говорил Норвен в 1814 г., „я не знал, что змеи так скоро меняют кожу“. Нет ничего, что так, как Революция, обнажило бы перед нами дно человеческой натуры, открыло бы перед нами подкладку политического маскарада и изнанку социальной декорации.

*Воскресенье, 29 апреля.*

С тех пор, как началась революционная драма, не проходит дня, который не был бы отмечен церемониями, процессиями, представлениями, шествиями. Это— беспрерывный ряд манифестаций: торжественных, протеста, поминальных, освятительных, искупительных, погребальных и пр. Славянская душа с пылкой и неуравновешенной чувствительностью, с глубоким чувством человеческой солидарности, с такой сильной наклонностью к эстетической и художественной эмоции любуется и наслаждается ими. Все общества и корпорации, все группировки,—политические, профессиональные, религиозные, этнические,—являлись в Совет со своими жалобами и пожеланиями.

В понедельник Светлой недели, 16 апреля, я встретил недалеко от Александро-Невской лавры длинную вереницу странников, которые шли в Таврический дворец, распевая псалмы. Они несли красные знамена, на которых можно было прочитать: „Христос Воскресе! Да здравствует свободная церковь!“ Или: „Свободному народу свободная демократическая церковь“.

Таврический сад видел за своей оградой процессии евреев, мусульман, буддистов, рабочих, работниц, учителей и учительниц, молодых подмастерьев, сирот, глухонемых, акушерок. Была даже манифестация проституток... О, Толстой! Как продолжил бы он „Воскресение“?

Сегодня инвалиды войны, в количестве многих тысяч, будут протестовать против пацифистских теорий Совета. Впереди военный оркестр. В первом ряду развеваются алые знамена с надписями: „Война за свободу до последнего издыхания!“ или: „Слава павшим! Да не будет их гибель напрасной!“ или еще: „Посмотрите на наши раны. Они требуют победы!“ или, наконец: „Пацифисты позорят Россию. Долой Ленина!“.

Зрелище героическое и жалкое.

Самые здоровые раненые тащатся медленно, кое-как размещенные шеренгами; большинство перенесли ампутацию. Самые слабые, обвитые перевязками, рассажены в повозках. Сестры Красного Креста ведут слепых.

Эта скорбная рать как бы резюмирует весь ужас, все увечья и пытки, какие может вынести человеческая плоть. Ее встречают религиозной сосредоточенностью, перед ней обнажаются головы, глаза наполняются слезами; женщина в трауре, рыдая, падает на колени.

На углу Литейного проспекта, где толпа гуще и рабочий элемент многочисленнее, раздаются аплодисменты.

Увы! я очень боюсь, что не один из этих зрителей, которые только-что аплодировали, устроит сегодня вечером овацию Ленину. Русский народ апплодирует всякому зрелищу, каков бы ни был его смысл, если только он волнует его чувствительность и воображение.

*Понедельник, 30 апреля.*

Анархия поднимается и разливается с неукротимой силой прилива в равноденствии.

В армии исчезла какая бы то ни было дисциплина. Офицеров повсюду оскорбляют, издеваются над ними, а если они сопротивляются, их убивают. Исчисляют более чем в 1200000 человек количество дезертиров, рассыпавшихся по России, загромождающих вокзалы, берущих с бою вагоны, останавливающих поезда, парализующих, таким образом, весь военный и гражданский транспорт. В особенности неистовствуют они на узловых станциях. Прибывает поезд: они заставляют пассажиров выйти, занимают их места и заставляют начальника станции пускать поезд в том направлении, в котором им угодно ехать. Иной раз это—поезд, наполненный солдатами, отправляемыми на фронт. На какой-нибудь станции солдаты выходят, организуют митинг, контр-митинг, совещаются час-два, затем в конце-концов, требуют, чтобы их везли обратно к месту отправления.

В администрации—такой же беспорядок. Начальники потеряли всякий авторитет в глазах своих служащих, которые, впрочем, большую часть своего времени заняты словоизвержением в советах или манифестациями на улицах.

Полиции, бывшей главной, если не единственной, скрепой этой огромной страны, нигде больше нет, ибо

„красная гвардия", род муниципальной милиции, организованной в некоторых больших городах,—сборище деклассированных и апашей. И так как все тюрьмы были отворены, чудо, что не регистрируют больше насилий над личностью и собственностью.

Между тем, аграрные беспорядки растут, в особенности в губерниях: Курской, Воронежской, Тамбовской и Саратовской.

Одним из самых любопытных признаков всеобщей неурядицы является отношение советов и их сторонников к военнопленным. В Шлиссельбурге пленные немцы оставлены на свободе в городе. В пяти верстах от фронта один из моих офицеров видел группы пленных австрийцев, которые прогуливались совершенно свободно. Наконец, что еще лучше, в Киеве губернский с'езд пленных немцев, австро-венгерцев и турок потребовал и добился, чтобы к ним применили „восьмичасовой рабочий день".

*Вторник, 1 мая.*

По православному календарю сегодня 18 апреля; но Совет решил фиктивно согласоваться с западным стилем, чтобы быть в гармонии с пролетариатом всех стран и проявить международную солидарность рабочего класса, несмотря на войну и иллюзии буржуазии.

Несколько дней уже подготовляется колоссальная манифестация на Марсовом поле. Погода не благоприятствует. Серое небо; резкий, пронзительный ветер. Нева, начавшая было таять, снова сковала свои льдины.

С утра по всем мостам, по всем улицам стекаются к центру шествия: шествия рабочих, солдат, мужиков, женщин, детей; впереди высоко развеваются красные знамена, с большим трудом борющиеся с ветром.

Порядок идеальный. Длинные извилистые вереницы двигаются вперед, останавливаются, отступают назад, маневрируют так же послушно, как толпа статистов на сцене.

Около одиннадцати часов я отправляюсь на Марсово поле с моими секретарями Шанбрен и Дюлон.

Огромная площадь похожа на человеческий океан, и движения толпы напоминают движение зыби. Тысячи красных знамен полощутся над этими живыми волнами.

Около двенадцати расставленных тут и там военных оркестров бросают в воздух звуки Марсельезы, чередующиеся с оперными и балетными мотивами; для русских нет торжества без музыки.

Нет также торжества без речей; поэтому Совет расположил на известном расстоянии один от другого грузовые автомобили, задрапированные красной материей и служащие трибунами. Ораторы следуют без конца один за другим, все люди из народа, все в рабочем пиджаке, в солдатской шинели, в крестьянском тулупе, в поповской рясе, в длинном еврейском сюртуке. Они говорят без конца, с крупными жестами. Вокруг них напряженное внимание; ни одного перерыва, все слушают, неподвижно уставив глаза, напрягая слух, эти наивные, серьезные, смутные, пылкие, полные иллюзии и грез слова, которые веками прозябали в темной душе русского народа. Большинство речей касается социальных реформ и раздела земли. О войне говорят, между прочим, и как о бедствии, которое скоро кончится братским миром между всеми народами. За час с тех пор, как я гуляю по Марсову полю, я насчитал около тридцати двух знамен с надписями: „Долой войну!“, „Да здравствует интернационал!“, „Мы хотим свободы, земли и мира“....

Возвращаясь в посольство, я встречаю Альбера

Тома в сопровождении „русских товарищей"; его лицо сияет от революционного энтузиазма. Он бросает мне мимоходом восклицание:

— Какая красота!... Какая красота!...

Это, действительно, прекрасная картина; но я больше наслаждался бы ее красотой, если бы не было войны, если бы Франция не страдала от вторжения, если бы германцы не были, вот уже тридцать два месяца, в Лилле и Сен-Кантене.

До самого вечера продолжаются шествия на площади Марсова поля, и ораторы беспрерывно сменяют один другого на задрапированных красным трибунах.

Этот день оставляет во мне глубокое впечатление; он знаменует конец известного социального порядка и гибель известного мира. Русская революция состоит из слишком противоположных, бессознательных, необработанных элементов, чтобы можно было уже теперь определить ее историческое значение и силу ее общего всераспространения. Но если принять во внимание всемирную драму, которая служит ей рамой, есть, может быть, основание применить к ней слова, сказанные здесь же Жозефом де-Местр о французской революции: „Это—не революция, это—эпоха".

*Среда, 2 мая.*

Сегодня вечером в Михайловском театре организован „концерт-митинг"; сбор за места пойдет в пользу бывших политических заключенных. Присутствовали многие из министров; Милюков и Керенский будут говорить. Я сопровождаю Альбера Тома в большую ложу против сцены, бывшую императорскую.

После симфонической прелюдии Чайковского Милюков произносит речь, весь об'ятый трепетом патрио-

тизма и энергии. С верху до партера сочувственно аплодируют.

Его заменяет на сцене Кузнецова. Замкнутая в своей трагической красоте, она начинает своим страстным, за душу хватающим голосом большую арию из „Тоски". Ей горячо аплодируют.

Не успела еще публика успокоиться, растрепанная, зловещая, дикая фигура высовывается из бенуарной ложи и неистово кричит:

— Я хочу говорить против войны, за мир!

Шум. Со всех сторон кричат:

— Кто ты?.. Откуда ты?.. Что ты делал до революции?

Он колеблется отвечать. Затем, скрестив на груди руки и как бы бросая вызов зале, он вдруг заявляет:

— Я вернулся из Сибири; я был на каторге.

— А!... Ты политический преступник?

— Нет, я уголовный; но моя совесть чиста.

Этот ответ, достойный Достоевского, вызывает неистовый восторг:

— Ура! Ура!.. Говори! Говори!...

Он прыгает из бенуара. Его подхватывают, подымают и через кресла оркестра несут на сцену.

Возле меня Альбер Тома вне себя от восторга. С сияющим лицом он хватает меня за руку и шепчет на ухо:

— Какое беспримерное величие!... Какая великолепная красота!...

Каторжник принимается читать письма, полученные им с фронта и уверяющие, что немцы спят и видят, как бы побрататься с русскими товарищами. Он развивает свою мысль, но он говорит неумело, не находит слов. Зала скучает, становится шумной.

В этот момент появляется Керенский. Его приветствуют, его умоляют говорить сейчас же.

Каторжник, которого больше не слушают, протестует. Несколько свистков дают ему понять, что он злоупотребляет терпением публики, оставаясь на сцене. Он делает оскорбительный жест и исчезает за кулисами.

Но до Керенского какой-то тенор исполняет несколько популярных мелодий из Глазунова. Так как у него очаровательный голос и очень тонкая дикция, публика требует исполнения еще трех романсов.

Но вот на сцене Керенский; он еще бледнее обыкновенного; он кажется измученным усталостью. Он немногими словами опровергает аргументацию каторжника его же доводами. Но как будто другие мысли проходили у него в голове и он неожиданно формулирует следующее странное заключение:

— Если мне не хотят верить и следовать за мной, я откажусь от власти. Никогда не употреблю силы, чтобы навязать мои убеждения... Когда какая-нибудь страна хочет броситься в пропасть, никакая сила человеческая не может помешать ей, и тем, кто находится у власти, остается одно: уйти...

В то время, как он с разочарованным видом уходит со сцены, я думаю о его странной теории и мне хочется ему ответить: „Когда какая-нибудь страна хочет броситься в пропасть, долг ее правителей не уходить, а помешать этому, хотя бы рискуя жизнью".

Еще номер оркестра, и Альбер Тома берет слово. В короткой и сильной речи он приветствует русский пролетариат и превозносит патриотизм французских социалистов; он заявляет о необходимости победы именно в интересах будущего общества и пр.

По крайней мере, девять десятых публики не пони-

мают его. Но его голос так звонок, его глаза так горят, его жесты так красивы, что ему аплодируют в кредит и с увлечением.

Мы выходим под звуки Марсельезы.

*Четверг, 3 мая.*

Под давлением Совета, Керенского и, к несчастию, также Альбера Тома, Милюков решился сообщить союзным правительствам манифест, изданный 9 апреля, в котором русскому народу излагается взгляд правительства свободной России на цели войны и который резюмируется пресловутой формулой: „ни аннексий, ни контрибуций". Но он добавил еще об'яснительное примечание, которое в умышленно неопределенном расплывчатом стиле исправляет, по возможности, выводы манифеста.

Совет заседал целую ночь, заявлял о своей решимости добиться того, чтобы это примечание было взято обратно и чтобы „обезвредить Милюкова". Это—острый конфликт с правительством.

С утра улицы оживляются. Повсюду образуются группы, импровизируются трибуны. Около двух часов манифестации становятся более серьезными. У Казанского собора произошла стычка между сторонниками и противниками Милюкова; последние одерживают верх.

Скоро из казарм выходят полки; они проходят по городу, крича „Долой Милюкова"... „Долой войну"...

Правительство беспрерывно заседает в Мариинском дворце, твердо решившись на этот раз не склоняться больше перед тиранией крайних. Один Керенский воздержался от участия в этом совещании, считая, что его обязывает к такой осторожности его звание товарища председателя Совета.

Вечером волнение усиливается. У Мариинского

дворца двадцать пять тысяч вооруженных людей и огромная толпа рабочих.

Положение правительства критическое, но его твердость не ослабевает. С высоты балкона, откуда видны Мариинская и Исаакиевская площади, Милюков, генерал Корнилов, Родзянко мужественно уговаривают толпу.

Вдруг распространяется слух, что верные правительству царскосельские полки идут на Петроград. Совет как будто верит этому, ибо он поспешно рассылает распоряжение прекратить манифестации. Что будет завтра!

Я думал об ужасной ошибке, которую делает Альбер Тома, поддерживая Керенского против Милюкова. Его упорствование в том, что можно было бы назвать „революционной иллюзией", заставило меня сегодня вечером отправить Рибо следующую телеграмму:

„Возможность совершающихся событий и чувство моей ответственности заставляют меня просить вас подтвердить мне прямым и нарочным приказом, что, согласно инструкций г. Альбера Тома, я должен воздержаться от сообщения вам известий".

*Пятница, 4 мая.*

Сегодня утром, около десяти часов, Альбер Тома, по обыкновению, пришел в посольство; я ему тотчас сообщил свою вчерашнюю телеграмму.

Он разражается гневом. Ходит взад и вперед, осыпая меня язвительными словами и оскорблениями...

Но буря слишком сильна, чтобы продолжаться долго.

После некоторого молчания он дважды пересекает салон, скрестив руки, сдвинув брови, шевеля губами,

как будто говоря про себя. Затем, спокойным тоном, с лицом, принявшим обычное выражение, спрашивает меня:

— В общем, в чем упрекаете вы мою политику?

— Я не испытываю,—говорю я,—никакой неловкости, отвечая вам. Вы—человек, воспитанный на социализме и революции; у вас, кроме того, очень тонкая чувствительность и ораторское воображение. А здесь вы попали в среду очень разгоряченную, волнующую, очень пьянящую. И вы захвачены окружающей обстановкой.

— Разве же вы не видите, что я все время держу себя в узде?

— Да, но есть минуты, когда вы не владеете собой. Так, в прошлый вечер, в Михайловском театре...

Наша беседа продолжается в таком тоне доверчиво и свободно; впрочем, каждый из нас остается при своем мнении.

В бурный вчерашний день правительство, несомненно, одержало верх над Советом. Мне подтверждают, что царскосельский гарнизон грозил двинуться на Петроград.

Пополудни манифестации снова начинаются.

В то время, как я около пяти часов пью чай у г-жи П., на Мойке, мы слышим большой шум со стороны Невского, затем треск выстрелов. У Казанского собора бой.

Возвращаясь в посольство, я встречаю вооруженные толпы, завывающие: „Да здравствует Интернационал! Долой Милюкова! Долой войну“.

Кровавые столкновения продолжаются вечером.

Но, как и вчера, Совет пугается. Он боится, что Ленин его превзойдет и заменит. Он боится также, как бы не двинулись царскосельские войска; он по-

этому поспешно расклеивает призыв к спокойствию и порядку „чтобы спасти Революцию от угрожающего ей потрясения“.

В полночь спокойствие восстановлено.

*Суббота, 5 мая.*

Город опять принял обычный вид.

Но, судя по вызывающему тону крайних газет, победа правительства непрочна; дни Милюкова, Гучкова, князя Львова сочтены.

*Воскресенье, 6 мая.*

Беседа с крупным металлургистом и финансистом Путиловым; мы обмениваемся мрачными прогнозами на счет неизбежных последствий настоящих событий.

— Русская революция,—говорю я,—может быть только разрушительной и опустошительной, потому что первое усилие всякой революции направлено на то, чтобы освободить народные инстинкты; инстинкты русского народа по существу анархичны... Никогда я не понимал так хорошо пожелания Пушкина, которое внушила ему авантюра Пугачева: „Да избавит нас бог от того, чтобы мы снова увидели русскую революцию, дикую и бессмысленную“.

— Вы знаете мой взгляд на это. Я полагаю, что Россия вступила в очень длительный период беспорядка, нищеты и разложения.

— Вы, однако, не сомневаетесь, что Россия, в конце концов, опомнится и оправится?

Серьезно помолчав, он продолжает с странно сверкающим взглядом:

— Господин посол, я отвечу на ваш вопрос персидской притчей... Была некогда на равнинах Хоросана великая засуха, от которой жестоко страдал скот.

Пастух, видя, как чахнут его овцы, отправился к известному колдуну и сказал ему: „Ты такой искусный и могущественный, не мог ли бы ты заставить траву снова вырасти на моих полях?“ — „О, ничего нет проще! — отвечал тот. — Это будет тебе стоить лишь два тумана“. Сделка сейчас же была заключена. И волшебник тотчас приступил к заклинаниям. Но ни на завтра, ни в следующие дни не видно ни маленького облачка на небе; земля все больше высыхала; овцы продолжают худеть и падать. В ужасе пастух возвращается опять к колдуну, который расточает ему успокоительные слова и советы на счет терпения. Тем не менее, засуха упорно держится; земля становится совершенно бесплодной. Тут пастух в отчаянии опять бежит к колдуну и со страхом спрашивает его: „Ты уверен, что заставил траву вырасти на моих полях?“ — „Совершенно уверен; я сто раз делал вещи гораздо более трудные. Итак, я тебе гарантирую, что твои луга снова зазеленеют... Но я не могу тебе гарантировать, что до тех пор не погибнут все твои овцы“.

*Понедельник, 7 мая.*

На мою телеграмму от 3 мая Рибо отвечает просьбой, чтобы Альбер Тома и я изложили ему наши мнения.

— Формулируйте ваши тезисы, говорит мне Альберт Тома; а затем я формулирую свои, и пошлем их в таком виде правительству.

Вот мой тезис:

„1. Анархия распространяется по всей России и надолго парализует ее. Ссора между Временным Правительством и Советом уже самой своей продолжительностью создает их обоюдное бессилие. Отвращение к

войне, отказ от всех национальных стремлений, исключительное внимание к внутренним вопросам все яснее обозначаются в общественном мнении. Такие города, как Москва, которые вчера еще были центром патриотизма, заражены. Революционная демократия оказывается неспособной восстановить порядок в стране и организовать ее для борьбы.

2. Должны ли мы открыть России новый кредит доверия, предоставить ей новые сроки?—Нет, ибо при самых благоприятных условиях она не в состоянии будет вполне ликвидировать свой союзный долг раньше многих месяцев.

3. Рано или поздно, более или менее полный паралич русского усилия заставит нас изменить решения, к которым мы пришли, по восточным вопросам. Чем раньше, тем лучше, ибо всякое продолжение войны грозит Франции ужасными жертвами, которые Россия давно уже больше не компенсирует в своей стране.

4. Итак, нам приходится, не откладывая дальше, очень конспиративно искать способ склонить Турцию к тому, чтобы она предложила нам мир. Эта идея неизбежно исключает всякий ответ на последнюю ноту Временного Правительства, потому что ответ возобновил бы в некотором роде, соглашения, которые, по вине России, сделались неосуществимыми".

А вот тезис Альбера Тома:

„1. Я признаю, что положение трудное и неопределенное, но не отчаянное, как думает, повидимому, г. Палеолог.

2. Я думаю, что наилучшая политика—оказать новой России кредит доверия, в котором мы не отказывали России старой.

3. Дело правительства—решить на счет восточной

политики, которую предлагает ему г. Палеолог. Я довольствуюсь замечанием, что момент, может быть, плохо выбран для новых крупных дипломатических комбинаций на Востоке. Но зато мне хотелось бы констатировать, что, советуя не отвечать на последнюю ноту Временного Правительства, г. Палеолог тоже стремится к пересмотру соглашений. Я, с своей стороны, не против идеи искать очень конспиративно способ склонить Турцию к тому, чтобы она предложила нам мир. Единственная разница между г. Палеологом и мной та, что я верю еще в возможность вернуть Россию к войне провозглашением демократической политики, а г. Палеолог полагает, что нет больше никакого способа добиться этого.

4. Наш дружелюбный спор дает возможность правительству получить более полное представление о ситуации. Я настаиваю на мысли, что предлагаемая мною политика и благоразумнее, и более соответствует реальным фактам; она, впрочем, не исключает турецкого проекта, но она стремится осуществить его в согласии с новой Россией, а не против нее".

*Вторник, 8 мая.*

Прощальный визит великому князю Николаю Михайловичу.

Как далек он от великолепного оптимизма, который он проявлял в начале нового режима! Он не скрывает от меня своей тоски и печали. Однако, он сохраняет надежду на близкое улучшение, за которым последует затем общее отрезвление и окончательное выздоровление.

Но в то время, как он проводит меня через салоны в вестибюль, в голосе его слышится волнение.

— Когда мы опять увидимся,—говорит он мне,—что будет с Россией?.. Увидимся мы еще когда-нибудь?.

— Вы очень мрачны, ваше высочество.

— Не могу же я забыть, что я висельник!

*Среда, 9 мая.*

Я уже отмечал, что четыре делегата французского социализма—Альбер Тома, Лафон, Кашен и Мутэ—получили университетское и классическое образование, что делает их особенно чувствительными к действию красноречия, к чарам риторики и дикции. Отсюда странное влияние, которое оказывает на них Керенский.

Я признаю, впрочем, что молодой трибун Совета необыкновенно красноречив. Его речи, даже самые импровизированные, замечательны богатством языка, движением идей, ритмом фраз, широтой периодов, лиризмом метафор, блестящим бряцаньем слов. И какое разнообразие тона! Какая гибкость позы и выражения! Он поочереди надменен и прост, льстив и запальчив, повелителен и ласков, сердечен и саркастичен, насмешлив и вдохновен, ясен и мрачен, тривиален и торжественен. Он играет на всех струнах; его виртуозность располагает всеми силами и всеми ухищрениями.

Простое чтение его речей не дает никакого представления о его красноречии, ибо его физическая личность, может быть, самый существенный элемент чарующего действия его на толпу. Надо пойти его послушать на одном из этих народных митингов, на которых он выступает каждую ночь, как некогда Робеспьер у якобинцев. Ничто не поражает так, как его появление на трибуне с его бледным, лихорадочным, истерическим, изможденным лицом. Взгляд его то притаившийся, убегающий, почти неуловимый за полузакры-

...ами веками, то острый, вызывающий, молниеносный. Те же контрасты в голосе, который—обычно глухой и хриплый—обладает неожиданными переходами, великолепными по своей пронзительности и звучности. Наконец, временами, таинственное вдохновение, пророческое или апокалиптическое, преобразует оратора и излучается из него магнитическими токами. Пламенное напряженное лицо, неуверенность или порывистость его слов, скачки его мысли, сомнабулическая медленность его жестов, его остановившийся взгляд, судороги его губ, его торчащие волосы делают его похожим на мо...ана или галлюцинирующего. Трепет пробегает тогда по аудитории. Всякие перерывы прекращаются; всякое сопротивление исчезает; все индивидуальные воли растворяются; все собрание охвачено каким-то гипнозом.

Но что за этим театральным красноречием, за этими ...гами трибуны и эстрады?—Ничего, кроме утопии, комедиантства и самовлюбленности!

*Четверг, 10 мая.*

Супруга графа Адама Замойского, приехавшая вчера из Киева, рассказывает мне, что она не решается вернуться в свой родовой замок в Печаре, в Подольской губернии, где она проживала после занятия Польши, ибо среди крестьян царит опасное возбуждение.

— До сегодня,—говорит она мне,—они были очень привязаны к моей матери, которая, впрочем, осыпала их благодениями. После революции все изменилось. Мы видим, как они собираются у замка или в парке, намечая широкими жестами планы раздела. Один хочет взять лес, прилегающий к реке; другой оставляет себе сады, чтобы превратить их в пастбища. Они спорят так часами, не переставая даже, когда мы, моя

мать, одна из моих сестер или я, подходим к ним.

То же настроение умов проявляется в других губерниях; деятельная пропаганда, которую ведет Ленин среди крестьян, начинает, значит, приносить свои плоды.

В глазах мужиков великая реформа 1861 г., освобождение крестьян от крепостной зависимости, всегда была лишь прелюдией к общей экспроприации, которой они упорно ждут уже столетия; в самом деле, они считают, что раздел всей земли, черный передел, как его называют, должен быть произведен в силу естественного, неписанного, элементарного права. Заявление, что скоро пробьет, наконец, час высшей справедливости, было хорошим козырем в игре апостолов Ленина.

*Пятница, 11 мая.*

Завтракал в итальянском посольстве с Милюковым, Бьюкененом, председателем румынского совета министров Братиано, прибывшим в Петроград для совещания с Временным Правительством, князем Шипионе Боргезе, графом Моцениго и пр.

Впервые у меня такое впечатление, что Милюков поражен в своем бодром оптимизме, в своей воле к вере и борьбе. На словах он проявляет почти такую же уверенность, как и раньше, но глухой звук его голоса и его изможденное лицо обнаруживают его тайную скорбь. Мы все поражены этим.

После завтрака Братиано со страхом говорит мне:

— Скоро мы потеряем Милюкова... Затем придет очередь Гучкова, князя Львова, Шингарева... Тогда русская революция погрузится в анархию. И мы, румыны, погибнем.

Слеза навертывается у него на глазах, но тотчас же он поднимает голову и овладевает собой.

Карлотти и князь Боргезе также не скрывают своего беспокойства. Паралич русской армии неизбежно освободит большое число австрийских и германских дивизий. Но будут ли эти дивизии переброшены в Трентино или на Ивонцо, чтобы возобновить с еще большей силой страшное наступление прошлого мая?

*Суббота, 12 мая.*

Группа моих русских друзей уже очень разбросана. Одни переехали в Москву, в надежде найти там более спокойную атмосферу. Другие уехали в свои имения, полагая, что их присутствие морально хорошо повлияет на их крестьян. Некоторые, наконец, эмигрировали в Стокгольм.

Мне удалось еще, тем не менее, собрать сегодня вечером на прощальный обед человек двенадцать.

Лица озабочены; разговор не клеится; меланхолия носится в воздухе.

Перед уходом все мои гости выражают одну и ту же мысль: „Ваш от'езд означает для нас конец известного порядка вещей. Поэтому мы сохраним о вашем посольстве долгую память“.

Вести из русской армии очень плохие. Братание с германскими солдатами распространено по всему фронту.

*Воскресенье, 13 мая.*

После нескольких прощальных визитов в домах, расположенных вдоль Английской набережной, я прохожу мимо фальконетовского памятника Петру Великому. Без сомнения, у меня в последний раз перед глазами великолепное видение царя—завоевателя и законодателя, этот шедевр конной скульптуры; я поэтому останавливаю экипаж.

За три с половиною года, с тех пор как я живу на берегах Невы, я никогда не уставал любоваться повелительным изображением славного самодержца, надменной уверенностью его лица, деспотической властностью его жеста, великолепным устремлением его вздернутого на-дыбы коня, чудесной жизнью, вдохнутой во всадника и коня, пластической красотой, величием архитектурной декорации, служащей фоном.

Но сегодня мною владеет одна мысль. Если бы Петр Алексеевич воскрес на миг, какой жестокой скорбью терзался бы он, видя, как совершается или готовится разрушение его дела, отказ от его наследства, отречение от его мечтаний, распад империи, конец русского могущества.

*Понедельник, 14 мая.*

Военный министр Гучков подал в отставку, об'явив себя бессильным изменить условия, в которых осуществляется власть,—„условия, угрожающие роковыми последствиями для свободы, безопасности, самого существования России".

Генерал Гурко и генерал Брусилов просят освободить их от командования.

Отставка Гучкова знаменует ни больше, ни меньше, как банкротство Временного Правительства и русского либерализма. В скором времени Керенский будет неограниченным властелином России... в ожидании Ленина.

*Вторник, 15 мая.*

Милюков дает мне прощальный завтрак, на который он пригласил маркиза Карлотти, Альбера Тома, Сазонова, Нератова, Татищева и др.

Отставка Гучкова и его тревожный клич омрачают все лица.

Тон, каким Милюков благодарит меня за оказанное ему мною содействие, показывает мне, что он тоже чувствует себя осужденным.

Уже несколько недель Временное Правительство торопило Сазонова отправиться вступить в управление посольством в Лондоне. Он уклонялся, слишком основательно встревоженный тем, что оставлял на родине, и политикой, которую ему будут диктовать из Петрограда. По настоянию Милюкова, он решается, наконец, отправиться в путь.

Мы уедем вместе, завтра утром.

Британское адмиралтейство должно прислать в Берген курьерский авизо и два контр-миноносца, чтобы перевезти нас в Шотландию.

*Белоостров, среда, 16 мая 1917 г.*

Приехав сегодня утром на Финляндский вокзал, я нахожу Сазонова у отведенного нам вагона. Он серьезным тоном заявляет мне;

— Все изменилось; я уже не еду с вами... Смотрите, читайте!

И он протягивает мне письмо, которое ему только-что принесли, письмо, датированное этой самой ночью и которым князь Львов просит его отложить свой от'езд, так как Милюков подал в отставку.

— Я уезжаю, а вы остаетесь. Не символ ли это?

— Да, это конец целой политики... Присутствие Милюкова было последней гарантией верности нашей дипломатической традиции. Зачем бы я теперь поехал в Лондон?.. Я боюсь, что будущее скоро докажет г. Альберу Тома, какую он сделал ошибку, приняв так открыто сторону Совета против Милюкова.

Стечение друзей, пришедших проститься со мной, кладет конец нашей беседе.

Два французских социалистических депутата, Кашен и Мутэ, и два делегата английского социализма, О'Гради и Торн, входят в поезд; они пришли прямо из Таврического дворца, где они провели всю ночь на совещании с Советом.

Поезд отходит в 7 часов 40 мин.

*Гапаранда, четверг, 17 мая 1917 г.*

Весь вчерашний день поезд проезжал по „тысячеозерной" Финляндии.

Как далеко от России мы почувствовали себя, лишь только переехали границу! Повсюду, в каждом городе, в самой незначительной деревушке, вид домов с ясными стеклами окон, с светло окрашенными решетчатыми ставнями, с сверкающими плитами тротуаров, с содержимыми в порядке оградами говорили о чистоте, уходе, порядке, домашней экономии, чувстве комфорта и домашнего уюта. Под серым небом поля казались очаровательно свежими и разнообразными, в особенности, под вечер, между Тавастгусом и Таммерфорсом. Молодая зелень лесов, возделанных полей и лугов; быстрые журчащие речки; прозрачные озера, отливающие темными отражениями.

Сегодня утром, возле Улеаборга, природа сделалась суровой. Снежные пятна испещряют тут и там бесплодную степь, на которой худосочные березы с трудом борются с неприветливым климатом. Речки быстрые, как поток, несут огромные льдины.

Кашен и Мутэ заходят побеседовать ко мне в вагон.

Мутэ, который с момента нашего от'езда из Петрограда, был молчалив и озабочен, внезапно говорит мне:

— В сущности, русская революция права. Это не столько политическая, сколько интернациональная революция. Буржуазные, капиталистические, империалистические классы создали во всем мире страшный кризис, который они неспособны разрешить. Мир может быть осуществлен только на основании принципов Интернационала. Мой вывод очень ясен; я думал об этом всю эту ночь: французские социалисты должны отправиться на конференцию в Стокгольм, чтобы добиться общего собрания Интернационала и подготовить общие основы мира.

Кашен возражает:

— Но если германская социал-демократия отвергнет приглашение Совета, это будет катастрофой для русской революции. И Франция будет вовлечена в эту катастрофу!

Мутэ возражает:

— Мы довольно долго оказывали кредит царизму; мы не должны скупиться на доверие новому режиму. А Совет нам заявил, что если Антанта пересмотрит лойяльно свои цели войны, если у русской армии будет сознание, что она сражается отныне за искренно демократический мир, это вызовет во всей России великолепное национальное воодушевление, которое гарантирует нам победу.

Я стараюсь ему доказать, что это утверждение Совета не имеет значения, потому что Совет уже бессилен овладеть народными страстями, которые он разжег:

— Посмотрите, что происходит в Кронштадте и Шлиссельбурге, т. е. в тридцати пяти верстах от Петрограда. В Кронштадте Коммуна распоряжается городом и фортами; две трети офицеров были убиты; сто двадцать офицеров до сих пор сидят под замком, а

сто пятьдесят принуждают каждое утро подметать улицы. В Шлиссельбурге тоже распоряжается Коммуна, но при помощи германских военнопленных, организовавших союз и предписывающих законы заводам. Перед этим недопустимым положением Совет остается бессильным. Я допускаю в лучшем случае, что Керенскому удастся восстановить немного дисциплину в войсках и даже гальванизировать их. Но как, какими средствами, сможет он реагировать на административную организацию, на аграрное движение, на финансовый кризис, на экономическую разруху, на повсеместное распространение забастовок, на успехи сепаратизма?... Поистине, на это не хватило бы Петра Великого.

Мутэ спрашивает меня:

— Так вы считаете, что русская армия впредь не способна ни на какое усилие?

— Я думаю, что русскую армию можно еще снова взять в руки и что она в состоянии будет даже скоро предпринять некоторые второстепенные операции. Но всякое интенсивное и длительное действие, всякое сильное и выдержанное наступление впредь невозможно для нее вследствие анархии внутри. Вот почему я не придаю значения национальному воодушевлению, которое обещал вам Совет; это—пустой жест. Паломничество в Стокгольм не имело бы другого результата, кроме деморализации и разделения союзников.

Около половины первого дня поезд останавливается у нескольких ветхих бараков, среди пустынного и унылого пейзажа, залитого бурым светом: это—Торнео.

Пока производятся полицейские и таможенные формальности, Кашен говорит нам, указывая на красное

знамя, развевающееся над вокзалом,—знамя, вылинявшее, поблекшее, изорванное:

— Нашим революционным друзьям следовало бы раззориться на менее поношенное знамя для водружения на границе!

Мутэ, смеясь, замечает:

— Не говори о красном знамени; ты огорчишь посла.

— Огорчить меня? Нисколько! Пусть русская революция примет какое-угодно знамя, хотя бы даже черное, только бы это была эмблема силы и порядка. Но посмотрите на эту когда-то пурпурную тряпку. Это, действительно, символ новой России: грязная, расползающаяся кусками тряпка.

Река Торнео, служащая границей, еще покрыта льдом. Я перехожу ее пешком, следуя за санями, которые увозят мой багаж в Гапаранду.

Мрачная процессия двигается нам навстречу: это—транспорт русских тяжело-раненых, которые возвращаются из Германии через Швецию. Перевозочные средства, приготовленные для их приема, недостаточны. Поэтому сотни носилок стоят прямо на льду, а на них эти жалкие человеческие обломки трясутся под жидкими одеялами. Какое возвращение в отечество!.. Но найдут ли они даже отечество?

Конец.




# ОГЛАВЛЕНИЕ.

